



# Виктор Шендерович СХЕВЕНИНГЕН

п о в е с т и   и   р а с с к а з ы

В книгу вошли новая повесть Виктора Шендеровича, а также повести и рассказы прошлых лет. Они наверняка удивят тех, кто знаком с именем автора только по его «телевизионной» биографии. Это – совсем другой Шендерович...

- [Виктор Шендерович](#)
  - 
  - [Ожог в области солнечного сплетения](#)
  - [Схевенинген](#)
    - [Олег, Оля и Милька](#)
    - [Ингрид и Марко](#)
    - [Олег](#)
    - [Курт](#)
    - [Оля и Милька](#)
  - [В чужом городе](#)
  - [Крыса](#)
  - [Ветер над плацем](#)
  - [Увольнение](#)
  - [День из жизни](#)
  - [Роки](#)
  - [Принципиальная схема](#)
  - [«Пора, брат, пора...»](#)
  - [Сливы для дочки](#)
  - [Мероприятие по линии шефского сектора](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
  - [Шестидесятая годовщина](#)
  - [Человек с плаката](#)
  - [Дорога](#)
  - [Синдром Степанова](#)
  - [Музыка в эфире](#)
  - [Вечное движение](#)
  - [Жизнь масона Циперовича](#)
  - [Стена](#)
  - [Кинотеатр повторного фильма](#)
  - [Тайм-аут](#)
    - [Глава I](#)
    - [Глава II](#)
    - [Глава III](#)
    - [Эпилог](#)
  - [Из последней щели](#)
    - [I](#)
    - [II](#)

- [III](#)
  - [IV](#)
  - [Приложение](#)
  - [Эпилог](#)
  - [От переводчика](#)
  - [Лужа](#)
  - [Трын-трава](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
-

# **Виктор Шендерович**

## **Схевенинген (сборник)**

© Виктор Шендерович, 2009

© Валерий Калныньш, дизайн, 2009

© «Время», 2009

# Ожог в области солнечного сплетения

Где-то в середине восьмидесятых моя приятельница, проходившая практику в журнале «Дружба народов», попросила меня почитать рукопись некоего молодого автора, который безуспешно пытается пробить броню московских редакций. Вот и в «Дружбу» его принесло, да, впрочем, так и отнесло... А жаль – «симпатичный мальчик из хорошей семьи». Я согласилась, по излишней своей мягкости, и в баре ЦДЛ мне была передана тощая папка. Прямо там, за столиком, я ее открыла, чтобы пробежать глазами первые два-три абзаца и закрыть тему – обычно так, по занятости, я решала вопрос со всеми симпатичными мальчиками и девочками. Я начала читать и... И застряла. Это был рассказ про то, как военнослужащие советской армии от скуки живьем сожгли крысу. Рассказ был замечательным, отстраненным, безнадежным, совершенно непроходным. Прочитав его, хотелось выть. Вообще, после прочтения оставался ожог где-то в области солнечного сплетения.

Я унесла папку домой. Перечитала «Крысу». Прочитала остальные несколько рассказов, повесть «Тайм-аут». У этого симпатичного мальчика из хорошей семьи было своеобразное, несоветское чувство юмора, того сорта, когда, отсмеявшись, хочется повеситься. Эти рассказы будоражили совесть – тот странный орган, который никому из докторов еще не удалось пальпировать.

Мне все это было очень близко.

Так мы познакомились с Виктором Шендеровичем.

В то время он жил, по-видимому, очень стесненно, даже скудно. Помню, как в столовой издательства «Советский писатель» – а мы и туда забрели в моих безуспешных попытках пристроить эту рукопись – он взял один лишь компот за 4 копейки, и стакан на подносе в высокомерном одиночестве подплывал к кассе...

Не знаю, чем он тогда подрабатывал. Рассказы его опубликовать так и не удалось.

...Прошло двадцать лет, как пишут в романах. За это время много чего случилось – кончилась советская власть, я эмигрировала и живу в Иерусалиме, Шендерович стал знаменит, но вовсе не своей прозой.

Вроде пора уже издать эту книгу.

Перед тем, как написать эти несколько фраз, я перечитала рукопись. Ощущения, черт возьми, остались все теми же: настоящая проза, лаконичная исчерпывающая фраза, точные диалоги, юмор, почти незаметно вживленный в ткань, и в конце – отзвук глубокой печали. Что же это? Выходит, дело-то было вовсе не в советской идеологии, не в том, востребованы или не востребованы были ею эти рассказы и повести. А в том, что по-прежнему испытываешь бессилие и страх перед тупой машиной государственного насилия, в том, что человек беспомощен и мал, в том, что он теплый, живой, боится боли и унижений и хочет счастья. А когда это счастье рядом, он не замечает его, не ценит, и лишь оглянувшись назад, слабо различает милые лица и пытается расслышать родные голоса...

Удивительно вот что: те поистине гомеопатические дозы смешного, которые допускает известный сатирик Шендерович на страницы своей прозы. По себе знаю – для этого требуется изрядное мужество. Это все равно, что знаменитому тенору взяться за исполнение баритональной партии. Трудно не потому, что не потянешь диапазона, а потому, что слушатели ждут от тебя присущих тебе фиоритур.

В этом смысле издание книги такой прозы – поступок.

*Дина Рубина*

*Петру Вайлю*

– Боже мой! – сказала Оля и крепко сжала Милькину руку, и он споткнулся, пытаясь оглянуться на ходу. Но мамина ладонь мягкой шорой встала у его щеки, заслонив от ужаса, который обжег их секунду назад.

– Черт возьми, – пробормотал отец и все-таки обернулся.

Женщина бросалась к идущим вдоль моря, как только что бросилась к ним; она что-то спрашивала и отмеряла ладонью рост. Это был рост его сына, чуть-чуть повыше, и хотя Олег видел Мильку секунду назад, он инстинктивно глянул в его сторону снова.

Милька стоял рядом – в блещущем, словно постановочном, свете закатного солнца, бившем из-под декоративной тучки; стоял маленький, испуганный, живой. Все было в порядке, и только женщина в темном до колен платье выкрикивала имя своего сына, и бросалась к людям, идущим вдоль берега, и о чем-то умоляла их, отмеряя в воздухе рост мальчика, которого нигде не было.

Люди останавливались, рывками оглядывали пейзаж, растерянно разводили руками, шли дальше; через несколько шагов снова останавливались, смотрели, качали головами... Но что можно было сделать?

Олег отвернулся.

– Пошли. – Он тихонько провел пальцем по лопатке жены. – Идем.

– Ужас, – сказала Оля через несколько секунд.

Они шли к молу, как шли полминуты назад, вдоль играющей на солнце кромки прибоя, но мир уже рухнул за их спинами и дышал теперь в затылки смертным холодом.

– Может, еще найдется, – сказал отец маме, и мальчик понял: это было сказано для него.

– Да, может быть, играет где-то с мальчишками, – сказала мама плоским голосом. Ее рука твердо лежала на плече, уводила прочь.

Над молотом, то зависая, то ныряя и выходя из пике, с треском скакал воздушный змей; мальчишки чеканили мячик, и длинные тени нарезали пляж, на котором почти ничего не изменилось.

Освежив пропотевшее побережье, бриз обернулся бухающим о камни штормом, – с убегающей пенкой волны и киношным разлетом брызг в контражуре солнца; бриз выманил на променады обитателей курортного городка – сняв туфли и закатав брючины, они вышли пройтись перед ужином до мола и обратно, догоняя собственные косые тени... Теряя силу, вода омывала лодыжки и уходила в море, легким росчерком меняя сюжеты на песке.

В одну секунду все это стало блестящей оберткой ужаса. Из воздуха разом выкачали счастье, которым только что был наполнен этот вечер, – и как глупо и странно было теперь идти к этому молу! Молча упереться в гору камней и побрести назад.

Беда легла на берег, и нельзя было сделать вид, что ее нет. Но отец попытался.

– Пойдем в «Пианину», – сказал он. – По соку, да?

«Пианиной» было маленькое кафе «Royal» на улочке за церковью; они ходили туда покупать улитки с изюмом и пить шоколад. Быстро отомкнув ларчик папиной шутки, Милька смеялся в первый раз до коликов, и потом всякий раз всхрюкивал, наслаждаясь фокуснической подменой предмета, дурацким женским родом папиной «пианины», окончательно превращавшим короля в толстую тетку. Но сейчас любимая шутка оцарапала душу – Милька в секунду разгадал папину хитрость.

Отец уже вышагивал прочь от моря. Сухой песок поскрипывал под ступнями, и тени уходили вбок, и две сливались в одну: мамы и сына.

– Я сейчас, – услышала Оля, и ладонь ощутила пустоту. И ее током, впрок, пронизал безумный страх оттого, что Милька сам решает теперь, когда выскользнуть из ее руки. И ничего нельзя было с этим сделать, только молиться.

Оля молилась несколько раз в жизни – своими словами прося кого-то, чтобы все было хорошо. В адресата она не верила, но были минуты, когда ничего другого не оставалось.

Мальчик бежал обратно к морю, в котором, разгребая руками серые массы волн, тяжело ходила женщина. Она звала сына, но имя тонуло в гуле шторма. Толпа на берегу густела, и конная полиция уже спешивалась неподалеку.

Полицейские что-то кричали женщине в волнах, говорили в рацию, опрашивали зевак. Какой-то серфингист, в черной полуспушенной коже комбинезона, указывал свободной рукой в сторону мола. Женщина в набрякшей одежде вышла из волн и без сил опустилась на линии прибоя, и Олег обмер, потому что узнал ее.

Этим утром они переезжали в другую гостиницу. Милька, груженный своим рюкзаком, катил мяч по горбатой дорожке, идущей вдоль домов – и наткнулся-таки на людей. Женщина, ловко выставив руку, спружинила столкновение, и мячик покатился прочь.

– Сорри! – крикнул Олег и добавил по другому адресу. – Милька, получишь по шее!

Женщина улыбнулась, растянув кожу на скуластом лице, и показала большой палец: все в порядке. До смешного похожий на нее мальчишка – та же веснушчатая порода, длинная кость и скулы – метнулся вбок, догнал мяч и, ловко развернувшись, в одно касание отпасовал его Мильке, но круглый ударился в столбик ограды и поскакал вниз по улице.

Женщина крикнула что-то укоризненное своему сыну, и теперь уже Олег симметричным движением показал большой палец – и они рассмеялись.

Сейчас, в набухшем водой платье, она сидела на линии прибоя и невидящим взглядом обводила стоящих вокруг. Олег еще раз обшарил пляж: глаза уже знали, кого искать. Но долгового мальчишки нигде не было.

Оля вдруг повернулась и молча ткнулась лицом в мужнино плечо.

Милька тоже узнал ее и стоял, словно закаменев, – только его чувства разом впечатывали всё. Огненный порез заката под тучкой, резкий крик чайки, женщину на песке, сморщенный, полоскаемый прибоем подол ее платья, полицейского, буквы на шевроне, равнодушный взгляд коня, повернувшего голову к морю, бурчащий чужим языком звук рации. Новый крик чайки закольцевал растянувшееся мгновение.

– Идем, – услышал он над собою. – Мы не можем помочь, Милька. Не надо смотреть. Идем.

– Ничего они не вернут, – сказал Олег, вороша вилкой листья латука.

Они сидели в ресторане. Шторм утих почти мгновенно, и море мерно покачивалось теперь за широкой полосой пляжа. Свет еще разливался по побережью – ровный, прощальный свет.

– Ну и черт с ними, – сказала Оля. – Забыли.

– Ага, забыли... – Олег подцепил тушку креветки. – Пятьсот евро, и день отдыха насмарку!

– Я тебя научу. – Оля отпилила сантиметровый кусочек спаржи. – Берешь плохую мысль, запаковываешь и несешь на почту. И отсылаешь на кудыкину гору. А сам живешь себе.

– И не вспоминаю про пятьсот евро? Оля рассмеялась.

– Про пятьсот! – мрачно напомнил Олег и, растопытив пятерню, значительно повел бровями. Он валял дурака, но осадок от подпорченного отдыха прочно лежал на дне души.

Обещанный отель «три звезды» на берегу моря обернулся каморкой с подтекающим унитазом, стойким запахом хлорки и видом на задний двор другого отеля. Прозлившись



целый день и дважды поссорившись, наутро они переехали в другую гостиницу, и теперь Олег больше всего злился на собственную скупость – не надо было заселяться в этот клоповник, не пропал бы день.

– За нас, жадных склеротиков! – Оля приподняла широкий бокал, в котором, как море, покачивалось красное вино, и наклонила его к мужу. Он тоже приподнял бокал и отглотнул немного. Вино было терпким и душистым и примиряло со всем, что есть.

– Ладно, – сказал он. – Иду на почту, отправляю посылку.

– Вот и отлично.

– Потом возвращаюсь в Москву, иду в агентство и душу эту гадину голыми руками.

– Ну все, хватит!

Мгновенно постарев, как всегда в минуты разлада, Оля отрешенно глядела теперь куда-то вбок. Опять он не уловил перемены ветра в ее душе... Этот ветер менялся без объявления, и все метеослужбы мира не могли тут ничего предсказать.

– Хорошо, тогда убью вот этого, – Олег кивнул на скрипача. Наглец, обосновавшись между ресторанами, уже полчаса пилил мимо нот, брал измором и не щадил ни один народ – цыганочка, соли мио, розамунда.

Снять напряжение не удалось. Олег устало выдохнул, бумкнув губами, – и натолкнулся на глаза сына.

Милька сидел в отдалении, кутаясь в куртку. Отдернув взгляд, он принялся ковырять пальцем песчаный холмик перед собою. Олег окликнул его, но Милька словно не расслышал, а только еще тщательнее занялся холмиком.

– Ты не замерз, крыскин? – спросила мама. Милька молча помотал головой.

– Он у нас не из дерева, – заметил Олег после паузы, и Оля наконец повернула к нему печальные умные глаза.

– В кого бы это? – усмехнулась она.

Запах мяса ударил в ноздри за секунду до того, как у стола возник официант в фирменном черном фартуке и красной косынке.

– Отлично! – воскликнул Олег с преувеличенной радостью в голосе. – Милька, давай к нам!

Но Милька снова помотал головой.

Фигура того мальчишки стояла у него перед глазами: как он паснул мячик и как присел потом, смущенный срезкой, скривив смешную рожицу. И как рассмеялся отец вместе с той женщиной.

А вечером отец уходил вдоль берега, как будто всё это его не касалось. Они с мамой шли чуть позади, и ее ладонь нежно обнимала стриженный затылок, словно желая окончательно удостовериться, что Милька тут и с ним ничего не случилось. Потом отец обернулся, и они начали обсуждать, идти ли в номер или сразу ужинать, и в какой ресторан, и папа сказал: давай ударим по мясу.

И вдруг обнял маму, и ее рука на плече мальчика обмякла. И уже родители шли вдвоем, а Милька брел сзади.

В ресторане родители сели так, чтобы Милька оказался спиной к столу, и его опять резануло, что это они специально. Мама спросила, какой салат он будет, и Милька сказал: мне все равно. Хорошо, сказала мама, возьмем один с креветками, один со спаржей, а там посмотрим, да?

Мне все равно, повторил Милька.

А когда папа опять заговорил про эти пятьсот евро, что-то непосильное сдавило Милькино горло. «Я поброжу, ладно?» – сказали его губы. «Только куртку надень».

Он выбрался из-за стола и побрел по песку. Ослепительная полоса солнца, покачиваясь на волнах, уходила к горизонту. Море, проглотившее мальчика, тоже делало вид, что ничего не случилось. Он исподволь оглянулся. Официант в красной косынке, чуть наклонившись, наливал вино в бокал. Отец сделал глоток и кивнул, довольный пробой... Жизнь, как ни в чем не бывало, текла сквозь побережье под ровным светом уходящего солнца; музыкант, отчаянно фальшивя, пилил на скрипке, и смуглый маленький человечек с вязанкой коротких роз бродил вдоль столиков, беря кавалеров на слабо.

Потом подул ветер, принес с собою запах какой-то травы; прибежал и ткнулся в Милькину шею влажным носом, и тут же отбежал на окрик хозяина игручий медношерстный сеттер. На сеттера Милька не обиделся – ведь тот ничего не знал про утонувшего мальчика.

Солнце уже погружалось в море, и Мильке вдруг стало страшно оттого, что сейчас совсем стемнеет – как будто, пока был свет, все еще могло закончиться хорошо.

Он знал, что когда-нибудь умрет, но это «когда-нибудь» не имело отношения к тому дню, в котором он просыпался. То, что это может произойти вот так, вдруг, поразило его. И еще поразило, что ничего в мире не изменится. Наяривал круги пестрый воздушный змей на леске, и сеттер носился по пляжу, и все смеялись. И, в сговоре со всеми, папа с мамой чокались бокалами с красным вином.

Милькино сердце отяжелело. Он решил, что не будет с ними ужинать, а когда спросят, почему, ответит: не хочу, и никто его не заставит. А потом ляжет в постель голодный и будет гордо молчать, глядя в потолок. И вдруг он увидел, что отец смотрит на него, и испуганно отдернул глаза и начал ковырять пальцем песчаный холмик.

– Милька! – услышал он, но сделал вид, что не услышал.

– Ты не замерз, крыскин? – ласково спросила мама. И Милька молча помотал головой, стараясь не заплакать. Черноволосый красавец-официант в красной косынке на плечах появился в проходе с дымящимися кусками мяса на доске и, ловко обогнув вошедшую пару, устремился к родителям.

Пара, чуть поколебавшись, выбрала столик; мужчина отодвинул ей кресло, она села – и вдруг он склонился над ней, и женщина запрокинула лицо навстречу его губам.

Она откликнулась на него мгновенно и глубоко – в уличном муравейнике, в кафе, в лифте. Был ли в этот момент в лифте кто-нибудь еще, значения не имело. Он любил проверять свою власть над нею: в самый неподходящий момент мог провести пальцем по полоске плоского живота над джинсами, и готово дело – она закрывала глаза и вся подавалась к нему.

Он был крупный красивый хищник и уже давно мог позволить себе выбирать добычу, и делал это в охотку – это была вторая забава его жизни. Первой была живопись: Марко давно и удачно промышлял на этих просторах. Впрочем, удача – объяснение для простаков; Марко знал, что будет в цене завтра. В юности он рисовал сам, но вкуса оказалось больше, чем таланта, и в гору его повели работы приятеля. Редкий разгильдяй, тот малевал картинки для блошиного рынка – и Марко первый разглядел в них то, что потом стало «трендом».

Он любил приводить в трепет этими словечками местных студенток и досужих туристок – в галереях, насованных, как соты, в улы старых амстердамских домов. Любил вылавливать у полотен, быстро обматывать легчайшей паутиной разговора и уволлакивать в мастерскую, где, кроме подлинного Магритта и кучи забавного барахла, имелся старый диван, таивший в себе свойство проламываться посреди процесса, – что придавало штатному коитусу характер неповторимой страсти.

Именно этот вид коллекционирования стал для Марко канвой жизни. Он собирал девиц и дамочек; пару раз удавалось организовать в мастерскую групповые экскурсии; однажды Марко завалил на диван видную фрау из Европарламента и под ритмичный скрип старого станка с холодноватым интересом прислушивался к своим политическим ощущениям...

Ему, в сущности, давно было скучно, но привычка и весенний воздух Амстердама брали свое.

Шарфик на пиджак, по первому апрельскому солнышку, он вел отработанным маршрутом, в сторону Магритта и дивана, две ноги с попкой. К ним прилагался пухлый, громко смеявшийся ротик. Ротик потребовал немедленного мохито, и они зашли в бар на Кайзерграхт, и Марко взял ей мохито и обреченно сел рядом.

Ротик пил и без умолку щебетал, – и Марко вдруг ясно почувствовал, что ничего этого не хочет. Ни ножек, ни попки, ни тем более ротика с щебетом.

А хочет, чтобы эта дура исчезла вместе со своим зеленым пойлом, а с ним за столиком – не этим, выбранным подальше от глаз в барном чреве, а снаружи, над лодкой возле моста, – сидела женщина, которую он любит. И чтобы она смотрела на канал, и блики играли на прекрасном лице, а он смотрел на нее. И чтобы они молчали и было хорошо.

Он даже увидел это в виде холста – канал, велосипеды, прицепленные к ограде, двое за столиком, блики на ее лице. Пожалуй, это мог быть неизвестный Сислей.

Но Марко никого не любил, и его тоже – никто. С тех пор, как адвокаты вытащили его, немного контуженного, из-под развалин первого брака, он не позволял никому близко подходить к той черте, за которой женщина вправе требовать чего-либо, кроме презерватива до и душа после. Ни одна из многочисленных любительниц прекрасного не переступила порог его квартиры. Статус отношений он не подчеркивал, но содержал в строгости. Диван в мастерской – и достаточно.

– Слушай, – сказал он. – Ты допила?

– Невтерпеж, да? – сказал ротик и громко рассмеялся. Его губы сложились, чтобы сказать «пошла вон», но он успел отредактировать текст.

– Что-о?

– Пошла вон, – все-таки сказал он.

– Дурак, – сказала хозяйка попки. И всосав с донышка остаток мохито, с грохотом встала. – Дурак! – объявила она на весь бар. И вышла.

Марко аккуратно допил свой эспрессо, невозмутимо рассмотрел рисунок на чашечке и уместил ее точно во впадинке блюдца. Затем протер салфеткой кофейный след и положил салфетку в пепельницу. И лишь тогда поднял глаза.

На него уже не смотрели. В баре ничего не изменилось – лишь детина у двери оставил в покое игровой автомат и вышел поглядеть вслед ногам с попкой. И только официантка за стойкой смотрела на Марко во все свои серые глаза.

Пойманная с поличным, девушка не отдернула этих теплых глаз, а улыбнулась и развела руками, извиняясь то ли за собственный внимательный взгляд, то ли, от имени всех баб, за эту дуру.

И он усмехнулся и тоже развел руками: мол, бывает.

И тут уже она отвела глаза – и с той же тщательностью, с какой он оттирал кофейное пятно, начала драить пивной кран. А он все смотрел на нее. Потом оставил на столике деньги и вышел – и, выходя, обернулся. Снова пойманная с поличным, официантка рассмеялась и качнула головой.

Марко махнул ей рукой и завернул за угол.

Он прошелся вдоль каналов, радуясь свободе. В мастерской с наслаждением рухнул в продавленное кресло и несколько минут сидел так, осматривая новыми глазами свой сексуальный бункер. Он давно не был тут один – и вдруг рассмеялся, сообразив это. Если перевесить доски с офортами на потолок, подумал Марко, то днем можно будет рассматривать серию прямо из кресла, закинув голову. Свет падает правильно.

Он закинул голову и пару минут рассматривал потолок. Обнаружил трещинку в углу. Встал и трещинку рассмотрел. Зашел на кухню, взял с блюдца крекер, сжевал его, запил водой из чайника. Потом постоял немного, вышел из мастерской и пошел обратно в тот бар.

Она сразу увидела его и замерла с пустой чашкой в руке, и кипятик несколько секунд бился из аппарата в поддон. Мимо того же кретина у автомата Марко прошел к стойке и, чувствуя лопатками его взгляд, сел и попросил кофе.

– Эспрессо? – спросила она.

– Все равно, – ответил он, и официантка залилась краской и отвернулась.

Тонкий профиль, нежная склоненная шея под мальчиковой стрижкой. Марко опустил голову, чтобы сглотнуть волнение незаметно. Посмотрел на ее пальцы, увидел обручальное кольцо. Девушка поставила кофе и быстро глянула на него внимательными глазами, и Марко подумал: нет, не показалось.

– Дурак вернулся, – сказал он заготовленную фразу.

Она рассмеялась легким смехом и закрыла лицо руками.

Когда потом они бережно перебирали по секундочкам тот день, Ингрид говорила: именно тогда она поняла, что пропала. Или – нашлась.

В глазах у этого человека стояла печаль. Большой, уверенный в себе самец, он прокладывал дорогу к ее нутру совершенно неотвратно, но не было в нем мужского деревянного хамства, от которого Ингрид переставала быть женщиной.

Она перестала ею быть в замужестве. После нескольких сеансов утомительной физкультуры супруг с полным знанием предмета сообщил Ингрид, что она совершенно фригидна, и дальнейшая семейная жизнь с его стороны проходила под знаком досады. Восемь лет Ингрид чувствовала себя бракованным товаром, который подсунили порядочному человеку и не возвращают в магазин только из-за просроченной гарантии.

В дни, когда на людях они изображали счастливую пару, она уставала так, что валилась в постель почти без сознания. А Йохан был неизменно вежлив и аккуратен, и продолжал всюду водить ее с собой, по-хозяйски приобнимая и поглаживая, и добавлял деньги из своей зарплаты, и эта точность подчеркивала его незыблемую порядочность. А когда он возвращался домой поздно, то сам выглядел хмурым и обиженным – приличный человек, вынужденный изменять жене, чтобы отдать долг физиологии. Не ангел же бесплотный! Он закаменел в своей страдающей добродетели, а она лишь молила бога, чтобы ее дефект не был виден всему миру.

Иногда она подходила к зеркалу и пыталась договориться с собой. В конце концов, живут же люди без музыкального слуха или без ноги. Ну, вот так получилось – не чувствует. Ей было уже двадцать девять, и она знала, что это с ней насовсем. Знала до той минуты, когда этот мужчина – крупный, чуть тяжеловатый, с первым проблеском седины на висках – вернулся, сел за стойку и посмотрел на нее своими темными глазами.

Он не повел ее в мастерскую.

Боясь спугнуть – не ее, а вот это легкое полузабытое волнение, он пригласил Ингрид встретиться. Даже замужняя женщина имеет право поужинать, сказал он. И она ответила после легкой паузы: имеет.

– Когда? – спросил он, и она ответила «не знаю». Она боялась, что он скажет «сегодня». Ингрид знала, что мужчины устроены иначе, и глупо было бы возмущаться по этому поводу, но так не хотелось ей оказываться в одном дне с гладкой кобылкой, дующей мохито.

– Тогда завтра, – сказал он.

– Завтра я заканчиваю поздно, – сказала она. – А в четверг свободна.

– Это хорошо, – улыбнулся он. И она снова почувствовала, что неудержимо краснеет – от того, как легко вскрыл он потайной ящичек в слове «свободна».

Она с первой секунды чувствовала его власть над собой. Он куда-то вел, и ей не нужно было знать маршрута. Рыжий Михель с кухни с интересом поглядывал за происходящим у стойки, и она сама увидела все это со стороны, и удивилась не меньше Михеля.

А наутро был странный день.

Мужчина не приходил – он и не должен был приходить, они договорились на четверг! – но она все время поглядывала на дверь. Ей казалось, что все видят ее насквозь. Вчерашнее вдруг предстало перед глазами Ингрид злой шуткой, и она похолодела. Ну конечно! – самолюбивый плейбой решил отыгаться. Склеить свидетельницу поражения и тем отомстить женскому роду. И не было в этих глазах никакой печали, ничего не было, что она себе выдумала.

Раствориться самой и растворить в себе другого – это ведь женское описание любви. У мужчин все то же самое называется «трахнуть».

Марко не приходил. Ну да, зачем я ему без секса? – злилась Ингрид. Я у него назначена на завтра, а на сегодня найдется другая. У такого самца. Она вспомнила девицу с мохито и чуть не заплакала.

И тут он зашел и сел за столик чуть поодаль.

У Марко тоже был странный день. Он проснулся с ощущением, что предстоит что-то приятное. Пойдя по следу вчерашнего дня, быстро нащупал бар, мальчиговую стрижку над наклоненной шеей, теплые глаза из-под челки и свое волнение. Вспомнил имя. Да, завтра! Что именно «завтра», Марко не додумал, но это был сюжет, и это было главное. У ближайших дней появлялась перспектива – имело смысл вставать, раздвигать шторы, принимать душ...

Он хотел ее и знал, что добьется – уже добился, в сущности. Предстоящие кошки-мышки

были приятной игрой, и самое приятное в этой игре заключалось в том, что девушка его волновала.

Он вынес на крыльцо красный раскладной стул и сел вполоборота к каналу – с ноутбуком и чашкой чая с тостом, сам себе официант. Пару часов старательно придумывал себе дела: писал мейлы, приводил в порядок картотеку... Потом пошел размять ноги, и ноги повели его к тому бару.

Марко рассмеялся, обнаружив себя уже на подходе: это становилось интересным.

Она была взволнована каким-то другим, тяжелым волнением. Увидела – подалась к нему глазами – и тут же их отвела. Рыжий парень, подошедший взять заказ, был, кажется, в теме, изучал его в открытую; впрочем, вполне дружелюбно. Марко взял темного пива с какой-то ерундой на закуску.

Ингрид не смотрела в его сторону, и следа вчерашней легкости не было в ней. Марко чертыхнулся про себя – зачем пришел? Договорились и договорились, позвонил бы завтра! Но возможности отмотать пленку назад не было и, достав мобильный, он исподволь кликнул ее номер, вбитый под именем «Ингрид – бар».

С тех пор как в мобильнике завелись женские имена, не вызывавшие никаких ассоциаций, Марко начал завязывать себе узелки на память: «Эрика-выставка», «Елена-Роттердам»... Голова старела быстрее остального организма. Прогуливаясь недавно по каналам, он остановился и стоял как вкопанный минуты две, ибо вдруг ясно вспомнил, что лет двадцать назад в этом самом дворе, у водосточной трубы, уестествоил какую-то фройлен.

Марко безошибочно узнал это место, вспомнил двор, угол и водосток – вспомнил все, кроме фройлен, от которой не осталось ни имени, ни лица, ни ощущений. Надо начинать пить что-нибудь, кроме виски и «Хейнекена», хмыкнул он тогда...

Ингрид взяла трубку и замерла, глядя в экран мобильного. Потом подняла глаза на Марко – и рассмеялась наконец вчерашним смехом, легко и счастливо. И сказала «алло».

– Ну, слава богу, – сказал он в трубку, глядя в серые лучистые глаза над барной стойкой. – Добрый день.

– Добрый, – сказала трубка и ее губы.

Назавтра они отправились в городок в полчасе езды от Амстердама – Марко давно держал его в запасе на такой романтический случай.

Она ехала как в невесомости. Утром муж объявил, что они идут к его тетке: у той вышла новая книжка, с презентацией чуть ли не в мэрии. Старая гримза, как заводная, выпускала брошюры, посвященные рецептам семейной гармонии: гранты делали тему неиссякаемой.

Услышав про вечернее мероприятие, Ингрид ничего не ответила, да ее ни о чем и не спрашивали. Несколько минут она формулировала, механически переставляя посуду из сушки на кухонную полку, потом сформулировала и, зайдя к мужу в кабинет, сказала, что не пойдет. А на ожидаемое «почему» ответила:

– У меня другие планы.

– Нельзя ли поинтересоваться, что за планы? – подняв голову от компьютера, с безукоризненной иронией в голосе произнес Йохан.

И она ответила:

– Меня пригласили на ужин.

И, дав сказанному осесть, вышла.

Самая большая хитрость заключается иногда в умении вовремя сказать правду. Муж так и остался сидеть у компьютера, и в некотором смысле завис сам – из кабинета не раздавалось ни звука. Потом она услышала, как он вышел в коридор, но к ней не вошел и, постояв, вернулся к себе.

И вот она ехала куда-то с человеком, которого не знала еще позавчера. Ехала – и боялась ему разонравиться.

– Куда мы едем?

– Только чур не трусить, – ответил Марко.

– Я не трушу, – сказала Ингрид.

– Ну и зря. – Красиво очерченные губы вытянулись в трубочку, предвкушение улыбки. – Может, я маньяк.

– Я видела, – ответила она.

– А-а, – сказал он. – Ну, ей повезло, она успела уйти. – И, помолчав, добавил: – А вы попались.

– Ну вы нахал, – сказала она.

– Извините. – Марко коротко глянул вбок и улыбнулся уже по-настоящему. – Глупая шутка.

«Красивый, – подумала она, – красивый и знает это. Что я делаю?»

– Мы едем в Моникендам, – продолжал он. – Это недалеко. Там а) тихо, б) кормят отличным угрем. Вы как насчет угря?

– Хорошо.

– И я хорошо.

В машине снова повисло молчание. Но о чем бы они ни говорили и ни молчали теперь, все было о них самих, и оба это понимали.

Ингрид исподволь разглядывала его руку на коробке передач. Сильная кисть, поросшая волосами. Она вдруг представила, как эта рука ложится на ее бедро, и еле задавила в горле стон, и с ужасом, счастьем и стыдом почувствовала, что вся промокла. И отвернулась, чтобы он не мог видеть ее лица.

Перевела дыхание, и только тогда услышала повисшую тишину.

– Что? Вы что-то спросили? – спросила Ингрид, чтобы незаметнее выйти из этого сладкого морока.

– Нет, – ответил он и улыбнулся, не поворачивая лица от дороги.

И она опять смутилась, подумав, что он догадался о причине паузы. Но он не догадался, а улыбался просто от удовольствия. Он давно не играл в эту игру и сто лет не ощущал себя частью сюжета.

В городке и впрямь было пусто. Время застыло тут, заветренное гулом моря и разрезаемое мерными ударами колокола. Если бы не спутниковые тарелки на домах и не витрины с предложениями недвижимости, век был бы неотличим от любого из прошедших. Неподвижный строительный монстр над верфью, с чайкой на стреле крана, смотрелся декорацией.

Если Моникендам и заметил уход войск герцога Альбы, то почти ничем этого не выдал.

В полупустом кафе переживал жизнь пьяница – пожелтевшие волосы, энная кружка пива, спаниель у ног. Не поднимая морды с пола, одним движением брови друг человека проводил вошедших печальным взглядом. Больше никому не было до них дела: пара стариков, он и она, неотрывно смотрели на море, как будто ждали какой-то вести с линии горизонта.

Чуткая официантка предложила Ингрид и Марко столик в углу террасы.

Они что-то выбрали и остались вдвоем, и она почувствовала, что счет пошел на минуты. Разговор скользил, не имея настоящей опоры. Они были одни, и мужчина, с которым она приехала сюда, смотрел ей прямо в глаза. Иногда она отворачивалась, и тогда – она чувствовала это – он ощупывал взглядом ее грудь под пуловером и шею. От его взгляда твердели соски, и она долго не поворачивала голову.

Официантка принесла салаты и снова удалилась, и Ингрид уже молила бога, чтобы этот человек поскорее поцеловал ее, чтобы ей не пришлось делать это самой.

Все случилось само и очень просто. Он отошел в туалет, она встала, чтобы перевести дух – вышла к причалу, смотрела на яхты, на море в просвете мачтовой рощицы и думала о нем... И обернулась, когда он уже подходил к ней. Официантка старалась зря: целоваться эти двое начали прилюдно.

Они летели в этот обрыв давно. Марко немного притормаживал из драматургического интереса, но, идя к столику, уже знал: сейчас. Возвращение в реальность оказалось, однако, совершенно непредвиденным: Ингрид разрыдалась и с минуту дрожала, вжавшись в него и наугад целуя в шею и подбородок.

Даже старик на террасе оторвался от линии горизонта.

– Тщ-щ... – как ребенку, испуганно шептал Марко, глядя по стриженному темечку и спине. – Тщ-щ. Все хорошо. Все хорошо.

И она часто закивала, не отрывая лица от его груди.

– У тебя все в порядке? – спросил муж. Спросил не сразу – дал себе время ее рассмотреть. Было около часа ночи. Спросил без выражения – ни заботы, ни презрения не было слышно в ровном голосе. Просто вопрос.

– Все хорошо, – так же без выражения ответила она. Внутри еще было тепло от него.

– Ну, я рад...

Это сказать без выражения не получилось, и муж, мгновение помедлив, вернулся в кабинет. Краешком своего существа – тем краешком, который не был заполнен случившимся – она пожалела Йохана. За холодной иронией съежилась растерянность.

Несколько дней Ингрид ждала развязки – ждала, что муж накричит, может быть, даже ударит, как ударил ее однажды в постели, устав колотиться в дверь, ключом от которой поленился обзавестись. Она почти хотела скандала. А он просто вывел ее за скобки, исключил из числа живущих.

Доброе утро. Вернусь к ужину. Большое спасибо. Спокойной ночи.

Она не искала случая поговорить, но готовила человеческие слова для того дня, когда он сам решится заговорить по-человечески. Она заранее мучалась поворотами этого разговора, но муж развязал узел по-другому.

В начале месяца выяснилось, что денег ей на счет не переведено. Она подождала еще несколько дней, а потом, затаив дыхание, позвонила в банк. Она боялась, что денежная заминка окажется недоразумением, но ей ответили именно то, на что она надеялась.

«Спасибо!» – радостно крикнула Ингрид, приведя в полное замешательство операционистку. За двадцать лет работы в банке та впервые услышала радость в голосе человека, узнавшего, что денег нет и не предвидится.

Как славно! Не надо мучаться, объясняться, искать слова. Ее просто сняли с дотации – не о чем и разговаривать. Ингрид шла по улице и нараспев повторяла слово «свобода». Все, что измеряется деньгами, – недорогая цена.

С Марко она встречалась теперь почти каждый день. Прикосновения его рук делали ее безумной. Она действительно теряла сознание, и уже ждала этого провала, но всякий раз он наступал неожиданно. Вот щелчок дверного замка, вот властная ладонь на плече, вот он рывком притягивает ее к себе, вот губы, вот четвероногим пауком, на ходу выдираясь из ремней и застежек, они добираются до постели, вот он грубо разворачивает ее, и его рука проходится по трепещущей спине, а потом – как будто тупой удар чем-то мягким по темечку, полный провал – и вот они уже лежат рядом, и ее тело вздрагивает дальним эхом его ударов.



И только отзвук последнего крика еще гуляет по стенам.

А сколько времени прошло и что было в промежутке – хоть у него спрашивай! Он-то сознания не терял, занимался ею хищно и умело, и его тяжелое дыхание ей в загривок – потом, когда все кончалось – было для нее небесной музыкой.

Кончалось, впрочем, ненадолго, а потом стены его спальни опять улетаели прочь.

Она начинала скучать по нему сразу. Марко высаживал ее за квартал до дома, у магазина ламп, и еще не успевал вернуться к себе, а телефон уже разрывался эсэмэсками. Она писала подробные бесстыжие нежности, и Марко чувствовал себя смущенным. Сюжет разворачивался в какую-то непредусмотренную сторону.

Для него все это было радостным приключением – не дежурным сексом, который он много лет практиковал как разновидность фитнеса, но все-таки именно приключением, сюжетом, игрой. Волнение, которое он испытывал, означало лишь то, что он жив и еще не стар, и сладкое потемнение ее глаз подстегивало в постели. Она была умницей, в ней жили такт и чувство юмора, с ней можно было молчать и не хотелось убить на второй минуте разговора. В ней была тонна нежности, и когда в кафе она брала в горсть и украдкой целовала его руки, и говорила: не отдам, – он отвечал ей весело-снисходительно: держись, девочка, держись крепче...

Но втайне удивлялся, конечно. Это было так непохоже на все, что Марко знал о женщинах и думал о себе... А о себе он думал, что он порядочный козел – и чего только не делали с ним женщины, но рук еще не целовал никто.

Ингрид вытеснила из его жизни дамочек и шлюшек, но ему и в голову не приходило поинтересоваться ее жизнью. Освеженный сеансом нежности, он переключался на другие сюжеты – выставки, торги, теннис. Мало ли интересного в жизни? А она, как наркоманка, подсела на его пальцы, на его запах, и начинала умолять о новой дозе через час после расставания.

И они встречались на завтра или через день – и из кафе снова ехали к нему, но он никогда не предлагал ей остаться. Чашка кофе – и доброжелательная, но вполне прозрачная пауза.

И она понимала: пора. Они спускались в гараж, и он отвозил ее на проклятый угол с лампами, и она выходила из машины. Это были ужасные минуты – когда он вез ее назад, уже не разговаривая, а едва поддерживая разговор; когда притормаживал на пристрелянном месте и прикладывал губами к щеке; когда уезжал, а она должна была идти в мертвое жилище к чужому мужчине.

В эти минуты Ингрид не понимала, кто она.

Май уже прогрел полукружья каналов, и открыла летний сезон одинокая женщина, сидевшая по целым дням с книжкой на подоконнике – в распахнутом окне на втором этаже, в доме напротив. Марко выносил на крыльцо красный складной стул, и они обменивались приветственными взмахами рук. Минуло полтора месяца с той поездки с Ингрид в Моникендам, когда он, уже успевший привыкнуть к ее затопляющей нежности, начал обнаруживать перемену погоды.

Она перестала писать нежные эсэмэски, похожие на повести, и хотя раньше они смущали его и даже раздражали, их исчезновение зацепило самолюбие... При встречах Ингрид курила, глядя куда-то вбок, а то вдруг жадно и пристально заглядывала ему в глаза, словно пытаясь там что-то рассмотреть.

– Что случилось? – спросил он однажды. И она покачала головой:

– Ничего.

– Муж? – глупо спросил он.

– Не муж, – ответила она.

С Йоханом все давно обрело каменную ясность. Когда их траектории в квартире пересекались, они проходили друг мимо друга парой призраков. Несколько раз Ингрид показалось, что в воздухе сгущается электричество, зреет разговор. – но история с банком, кажется, отрезала все пути для него самого.

Развод Йохан не предлагал – он всегда умел избежать лишних хлопот. Марко их тоже не хотел, и Ингрид ехала к нему, не понимая: кто она? Но его руки по-прежнему делали ее женщиной – она умирала и воскресала в его постели, и ей было страшно подумать, что это может исчезнуть из ее жизни.

Так прошли май и июнь, а потом что-то сломалось. Не сразу, а – вот как дает знать о себе лишний звук в машине – задолго до того, как полетит карбюратор.

Марко был в отличном настроении в тот день. Чутье и удача не покидали его, дела шли в гору. Никому не известный югослав, чьи картинки он скупал когда-то чуть ли не на вес и подсадил на контракт, стал полноценным «селебрити»; его имя гремело, и картинки шли теперь очень хорошо.

Марко как раз прикидывал, сколько принесет выставка этого Пешича, когда пришла ее эсэмэска. «Прости, я не приду».

Несколько секунд он смотрел в телефон, пытаясь понять размеры этого «не приду». Потом набрал номер. Номер был отключен.

Весь день он звонил, отвлекался на всякую всячину и снова набирал номер... Утром проснулся в тревожном раздражении и первым делом нашарил трубку. Номер был мертв.

Два дня он провел в общении с механическим голосом – с неизменной вежливостью тот сообщал о временной недоступности абонента. Марко поглядывал на телефон и все время проверял, включен ли звук. Как идиот, среди бела дня дважды объехал вокруг ее квартала, постоял у места постоянной высадки, вволю налюбовавшись ассортиментом ламп и светильников.

Он даже не знал, где она живет.

Марко вспоминал последнюю встречу, медленно перебирая четки того дня: где-то там было спрятано объяснение произошедшего, но он его не находил. Все было как обычно: сидели в кафе, делили пополам овощи-гриль – она любила цукини и всегда смешно-деловито выцепливала их с блюда; потом поехали к нему, и в постели все было хорошо, а потом. Да, что-то саднило в этом месте, но он не мог вспомнить, что именно, только почувствовал вдруг, как чувствуют болячку.

Он отзвонил приятелю и отменил теннис: ни к селу ни к городу был этот теннис сегодня.

В баре ее не было. Рыжий парень-официант замер посреди зала. Марко спросил про Ингрид. Она уволилась, сказал паренек, позавчера. И посмотрел ему в глаза, пожалуй, внимательнее, чем имел право. Спасибо, бесстрастно ответил Марко.

Он хотел спросить еще что-то, но не спросил, а только несколько минут сидел, пристукивая по стойке спичечным коробком. Стук-стук-шлеп, стук-стук-шлеп. Потом расплатился и вышел мимо игрового автомата. Внутри скреблась тоска, которой он не знал прежде.

Марко вдруг представил, что сейчас придет в мастерскую, посидит немного в кресле, разглядывая потолок с трещинкой, а потом вернется в бар, и она снова будет там, за стойкой. Представил, как она смутится при его появлении – наклон тонкой шеи, взгляд из-под челки... Как он скажет «дурак вернулся», и она рассмеется, и все будет хорошо. Он вдруг захотел ее – как-то совсем по-другому, глубоко, насовсем. Ее – и никого другого.

Марко стоял на мосту, продолжая вертеть в пальцах спичечный коробок, унесенный из

бара. Прямо под ним прошел катер с туристами, механический гид что-то рассказывал по-английски... Лица под стеклянной крышей сменились затылками, вода, разойдясь привычным клином, прошла по стенкам канала.

Марко аккуратно уместил коробок на перильцах ограды. Идти было некуда. То есть он был волен идти на все четыре стороны, но это и означало: некуда. Ничего делать он не мог, и отвлечься тоже не получалось. Мучаться – оказалось не состоянием, а занятием.

Чем ты занят? – Я мучаюсь.

Марко думал про Ингрид, в первый раз – именно про нее. Два месяца она занимала его сознание как приятный поворот сюжета. Волновала, возбуждала. Ему нравилось ощущать власть своих глаз и рук; он обожал брать ее, извлекая какие-то звериные звуки из этого маленького голодного существа; он любил в постели умело и осторожно вести ее, испуганную, по новым тропинкам – эти пейзажи он понимал еще лучше живописи.

Но снаружи от собственных ощущений Ингрид для него не существовало. Какой-то недоделанный муж, какие-то курсы, какая-то мама в Гааге. Или в Гронингеме? Какая разница? Не стоит умножать сущности сверх необходимого. Ему давно понравилась эта фраза и, не имевший толкового образования, он запомнил ее и любил щегольнуть при случае. Да-да, «бритва Оккама», не стоит умножать сущности! А сущностью был он сам, сорокалетний состоятельный красавец, мечта всех баб.

И вдруг – эта эсэмэска, и глухо отключенный телефон, и эта поникшая спина, и взгляд в щелку двери... Вот оно! Он замер: четки того дня застыли на верной костяшке.

Ингрид шла в ванную, держа в руках одежду, – и вдруг остановилась перед холстом в гостиной.

– Как здорово! – выдохнула она. – Смотрю каждый раз. Как хорошо! Кто это?

И он ответил: Ходлер.

– Вот, – вдруг огорчилась Ингрид. – А я даже имени не знаю. Расскажешь?

– Про Ходлера?

– Да.

– Что рассказывать? – Он сидел голый на кровати, ища носок. – Ну художник такой.

Марко едва сдерживал раздражение. Они провели в постели больше времени, чем он рассчитывал – она требовала новой нежности, и он повелся за ее ласками, а теперь сидел опустошенный, и в мобильном светился непринятый звонок – судя по номеру, из Парижа, и он вдруг вспомнил, что еще утром должен был отправить бумаги насчет выставки Пешича, и не отправил, и все это надо было теперь успеть до конца рабочего дня – отзванивать, проверять договор, отправлять факс.

И как назло, куда-то запропастился носок, а она стояла голая посреди гостиной и просила рассказать про Ходлера. Как можно рассказать про Ходлера? С какого места?

– Солнышко, – сказал он, – прости, у меня дела. Иди, иди.

И махнул рукой в сторону ванной комнаты. И она пошла в ванную. Сейчас, стоя у играющего бликами канала, Марко вдруг ясно увидел эту секунду: светлую гостиную с диагональю солнца по паркету, свой жест и ее, съезжившуюся, как от удара. И короткий взгляд, когда закрывала дверь.

Она вышла уже одетой и сказала:

– Я могу добраться сама.

– Ну что ты, – сказал Марко. Он уже успел вернуть звонок и копался с факсом – полуголый и без одного носка.

Он, конечно, отвез ее до привычного угла, к лампам. Она всю дорогу молчала, а он уже думал о своем. И, кажется, ничего не сказал ей на прощанье.

Марко со свистом втянул в себя воздух и поморщился, как от зубной боли. Шумно выдохнув, схватил коробок и с силой запустил им в канал.

Чувство вины поселилось в нем – он изучал его, как баран новые ворота. Он брел вдоль каналов, садился в кафешках и пытался начать думать; но думать не получалось, и он снова брел куда глаза глядят...

Мама в Гааге. Или не в Гааге? Черт возьми, он даже не знает ее фамилии!

...Мужчина, стоявший на мосту, вдруг выругался, и пожилая дама, проезжавшая мимо на велосипеде, от неожиданности вильнула колесом. С трудом выровняв велосипед, она поехала дальше, а мужчина негромко, но уверенно сообщил своему отражению в канале: – Идиот.

Уже третий день Ингрид жила так: на ночь выпивала вина и высыпалась до отвала, а утром садилась на трамвай и ехала к морю. Мама ни о чем не спрашивала, и они, не сговариваясь, играли в игру под названием «машина времени». Как будто обеим сейчас на пятнадцать лет меньше и у Ингрид нет еще никакого мужа, а есть школьные каникулы и любимые клубничные мюсли на завтрак.

И море, не знающее возраста, в нескольких трамвайных остановках.

По побережью время прошлось заметнее, чем по маминой квартирке: везде понастроили апартаменты, и плоские коробки домов нависли над пляжем. Продолжая игру в машину времени, Ингрид выходила из трамвая возле старого Гранд-отеля и сразу шла насквозь, к морю, оставляя за спиной все, с чем была несогласна.

Если бы всегда можно было оставлять это за спиной...

Она научилась жить в доме мужа, не выходя из скафандра, – но второго скафандра у нее не было. Тоо much, вспомнилось вдруг из школьного английского, too much... Чересчур. Она запрещала себе вспоминать тот последний день с Марко, но скоро поняла: этот призрак будет входить, когда захочет.

Как он сидел, наполненный внезапным раздражением... Как она остановилась у той картины. Ей хотелось внимания после всего, что он делал с нею; обычного внимания, просто улыбки, вопроса: как ты? И чтобы его глаза были с ней хотя бы пять минут, потому что вопрос «Как ты?» иногда требует подробного ответа.

Но он, еще голышом, схватился за свой мобильный – и, коротким жестом отправленная в душ, она вдруг почувствовала себя шлюхой.

Тот невероятный день в городке у моря, тепло его глаз, ветер новой жизни – все ушло куда-то, просело, потеряло цвет. Как-то очень быстро все стало обыденным. Отлаженный график свиданий, даже овощи-гриль те же. Ее покормили, привезли в койку и отымели, и до следующего раза она должна исчезнуть. Душ, чашка кофе, отвоз на угол, поцелуй в щечку – были его уступкой правилам приличия, и ни сантиметра за пределами этикета ей не полагалось.

Она была никто.

А потом возвращалась домой – и была совсем никто. А она так не считала.

Ингрид сидела в ресторанчике на пляже и смотрела на море. Хозяин кафе знал ее девчонкой, и ей было хорошо под его присмотром. Дочка хозяина помаленьку выросла в старшекласницу с красивой грудью; рядом с ней уже роились местные акселераты, и она смешно королевствовала ими.

Ее будут любить, подумала Ингрид, попытаюсь разглядеть судьбу девочки в карих глазах. Если повезет. А если не повезет, будут просто трахать и жестом отсылать в душ.

Кровь снова бросилась Ингрид в лицо. Ничего она не могла поделать со своей тоской и

обидой, ничего не помогало! Никакое море, никакие мамины мюсли. Глупо! Глупо прятаться и играть в дочки-матери. Но и оставаться в Амстердаме было невозможно.

Она снова вспомнила то, что, как кино, уже несколько дней крутилось перед глазами. Марко притормозил на углу, она сказала «пока», и он кивнул – совсем автоматически. Ноги повели Ингрид домой; на пороге она сообразила, что надо было где-нибудь пересидеть пару часов, но было поздно. Поворачивая ключ, она молила, чтобы Йохана не оказалось дома, но он словно почуял запах ее унижения. Вышел в прихожую, посмотрел прямо в лицо – и передергиванием узких плеч обозначил такую брезгливость, что она заревела.

Солнце начало припекать. Море волновалось; раздолье для серфингистов, а купающихся немного. Впереди маячил еще один огромный пустой день; стрелки застыли на трех, еле-еле, по минутке, отпиливая кусочки от этой вареной макаронины.

Ингрид понимала, что давно пора перестать мучить себя прошедшим, но не находила никакой опоры для настоящего. Бухгалтерские курсы? икебана? тусовки с подружками? – глупо. Дома у нее не было. Не было, в сущности, и денег. Что-то мог дать развод, но от одной мысли о переговорах с этим брезгливым чужим человеком, адвокатах, процессе – ее начинало мутить. Никаких адвокатов! Она взрослая и не калека. Надо заканчивать курсы, устраиваться на нормальную работу...

Она все понимала, но третий день сидела на окраине Гааги, глядя на море.

Телефон Ингрид не включала – и оставляла его дома, когда уезжала гулять вдоль пляжа и сидеть над чашечкой кофе. Когда на второй день рядом раздался мелодичный звонок, такой же, как у нее, сердце оборвалось: Ингрид поняла, что ждет звонка от Марко.

Она хотела, чтобы он позвонил.

Чтобы звонил, натыкался на тишину и мучился.

Она пыталась представить себе эти мучения. Иногда получалось хорошо: в такие минуты Марко бродил один-одинешенек по Амстердаму и страшно страдал. Но иногда фантазия давала сбой, и она ясно видела, что Марко ничуть не страдает, а как раз в это самое время раздевает другую женщину. Она кожей помнила, как он это делает.

Ингрид встала и пошла по променаду в сторону мола. Море раскачивалось все сильнее, но моря она никогда не боялась.

Надо вправляться в жизнь. Она дойдет до мола, искупается, сделает еще один полный круг променада, сядет на родной девятый трамвай и поедет домой. Сходит в магазин, приготовит ужин, а вечером они посмотрят кино или футбол (мама на старости лет оказалась болельщицей). А там, глядишь, и день долой.

Тени удлинились, и она подумала, что здесь ей не надо часов. Еще девочкой Ингрид выучила: когда тень маяка на волноломе указывает на трамвайный круг, пора домой.

Перед молом чеканили мячик мальчишки, и Ингрид остановилась посмотреть: все, что помогало скоротать время, было ей союзником. Смешной долговязый паренек трудился, высунув язык от усердия. Начеканив на один удар больше других, он издал торжествующий крик и сопроводил его полуприличным жестом – забавной копией виденного по телевизору. Ингрид рассмеялась и зааплодировала.

Мама мальчишки, ждавшая поодаль, на променаде, смутилась и позвала: Руди!

– Я догоню! – крикнул долговязик.

– Я в номере, – сказала женщина и пошла по променаду. Они были очень похожи, мать и сын – та же длинная кость, те же скулы и веснушки. Ингрид опять бросилась кровь в лицо: так сильно она почувствовала, что хотела бы ребенка от Марко. Чтобы он был похож и на нее, и на него. Был бы красивый ребенок, мальчик... А от Йохана она никогда не хотела детей.

Какая же она дура! Что за детский сад – уехать, спрятаться, обидеться. Но что было

теперь делать? Вернуться и пойти в наложницы?

Она разделась, аккуратно сложила вещи стопочкой и, с разбегу умело вбежав под волну, погрузилась в прохладу. Когда она вышла, паренек сидел неподалеку, просеивая сквозь ладонь струйку песка. Ингрид вытиралась, чувствуя его взгляд.

Она была молода и хороша собой, и чуть замедлила движения; ей понравилось примагничивать эти детские глаза. Она попыталась представить, каким он вырастет – будет высокий и сильный, а обаятельная улыбка уже при нем. А ей через десять лет будет тридцать девять. Посмотрит ли он на нее такими глазами?

Долговязика окликнули мальчишки – опять пришел его черед чеканить, но он махнул рукой и остался сидеть метрах в трех от нее. На сердце у Ингрид потеплело.

– Привет, – сказала она.

– Привет, – ответил он, коротко глянув.

– Как дела?

– Хорошо.

Он просеял еще две горсти песка и все-таки поднял на нее глаза.

– Меня зовут Ингрид, – сказала она.

– А я – Руди.

– А я знаю.

Он рассмеялся, догадавшись.

– Мы из Утрехта.

– А я здешняя, – ответила Ингрид.

– Сколько тебе лет? – спросил мальчишка и сам смутился.

– Мне? Двадцать пять, – тоже смутившись, почему-то соврала Ингрид.

А потом, на миг замерев от собственного хулиганства, спросила:

– Я тебе нравлюсь?

Мальчишка отвернулся и несколько секунд внимательно рассматривал волны, перед тем как ответить:

– Да. Ты очень красивая.

– Спасибо, – сказала Ингрид. И замерла: вдоль кромки прибоя шел Марко. Вот же дура, сказала она себе, всматриваясь в приближающуюся фигуру, соскучилась до глюков – и прячешься. Никакой это не Марко. Откуда ему здесь взяться? Но так похож, о господи.

Она встала.

Человек шел вдоль линии прибоя. Иногда его фигуру перекрывали другие фигуры и пары, но он появлялся снова – еще ближе и несомненнее. Краем сознания она догадалась, что мальчик что-то говорит ей, и автоматически переспросила:

– Что?

Мальчишка повторил, но она опять ничего не услышала, кроме собственного сердца.

Это был Марко. Он шел к ней, а она стояла и видела себя, словно со стороны, и не могла шевельнуться. Он подошел – закатанные до колен брюки, сандалии в руках, большая, чуть тяжеловатая фигура – и остановился в нескольких шагах.

...Узнать ее фамилию было делом пяти минут. Рыжий напрягся, снова увидев Марко в дверях бара, но уже через минуту дал ему телефон менеджера.

– Вы из полиции? – спросил тот.

– Ну что вы, – успокоил его Марко. – Я сексуальный маньяк.

– Тогда подождите на телефоне, – хмыкнув, ответил менеджер, и через полминуты ниточка была у Марко в руках.

Гаага или Гронинген?

В Гааге было девять женщин с такой фамилией. Листок из телефонной книги он попросту вырвал – надо же когда-то и нарушать законы! И, расположившись в кафе, начал обзвон.

– Могу я поговорить с Ингрид? – спрашивал он и аккуратно вычеркивал очередную строчку. Вычеркну все – поеду в Гронинген, думал он. Дальний путь только вдохновлял Марко. Он знал, что найдет ее.

Две женщины ответили: вы не туда попали. Третья, ни в чем не сознаваясь, долго выясняла, кто он и зачем звонит. Если это ее мать, я удавлюсь, весело подумал Марко. Четвертая дама раздраженно посоветовала ему набирать правильно номер, а пятая сказала: ее нет дома. И помедлив секунду, спросила: ей что-нибудь передать?

– Передайте, что ее ищет один дурак, – сказал Марко, не веря удаче.

– Передам непременно, – приветливо ответила трубка. И, помедлив еще немного, сказала: – Она на пляже, в Схевенингене. Вы найдете ее возле мола. Если не совсем дурак.

Он рассмеялся и крикнул «спасибо».

Теперь он шел вдоль весело штормившего моря, сканировал внимательным взглядом широкую полосу пляжа – и был счастлив от своего волнения. Он готовил первую фразу – «от нас не уйдешь» или «у нас длинные руки» – и заранее наслаждался эффектом. Но когда увидел ее, полуобнаженную, облитую золотым светом, замершую у кромки волн, то вдруг испугался.

Когда Марко гнал свой «BMW» по плоской земле к морю, ему почему-то казалось: его появление разом разрубит этот гордиев узел. Но теперь он уже ни в чем не был уверен.

Ингрид стояла и смотрела на него, уже явно узнав, а он все не мог различить выражения ее глаз и не понимал, как себя вести. И остановившись, сказал только:

– Привет.

– Привет, – сказала она.

Море, грохоча, сверкало пеной возле их ног.

– Недоступный абонент... – сказал он.

– Это я, – откликнулась Ингрид.

– Убить тебя мало.

Она часто закивала, и страх ушел из его души. Он шагнул вперед и погладил ее по щеке, и она порывисто схватила его ладонь и поднесла к губам. И прижалась к нему всем телом.

– Тщ-щ... – сказал он, неудержимо улыбаясь. – На нас смотрят.

– Это... Руди, – задыхаясь, проговорила Ингрид. Она вжималась в своего мужчину, боясь оторваться – как будто, выпусти она Марко, он растворился бы в разлете штормовых брызг.

– Ты тут не теряла времени, – шепнул Марко в стриженое темечко.

– Дурак! – Она сжала его еще крепче. – Вот же правда дурак!

Он осторожно провел пальцем по ее животу, и сладкая судорога прошла по тонкому телу.

– Ты меня не забыла... – констатировал Марко.

– Что ты делаешь...

– Как всегда. Домогаюсь.

– Ты ужасный.

– Ага. Ты даже не представляешь, до какой степени. Идем.

– Куда?

– В кусты, – сказал он.

Она вздрогнула от смеха и счастья.

– Нет. – Ингрид поймала его руку. – Нет, погоди. Я сейчас.

Стараясь двигаться не быстрее обычного, она одевалась и собирала с песка вещи. И,

уходя, махнула своему веснушчатому кавалеру:

– Пока-пока!

И вдруг увидела отчаяние в детских глазах. Отпустив руку Марко, она подошла к парнишке. Вся тоска и несправедливость мира застыли в долговязой фигуре.

– Ты замечательный парень, Руди! – сказала Ингрид и осторожно прикоснулась к детскому плечу. – И очень симпатичный. У тебя все будет хорошо, вот увидишь!

– Ты завтра сюда придешь?

– Не знаю.

– Ты же местная!

– Я еще не знаю, – сказала Ингрид.

– Приходи, – попросил мальчишка.

И тогда, наклонившись, она поцеловала его. И, оставив губы возле нежного лица, шепнула в самое ухо:

– Ты – мой талисман. Будешь моим талисманом? Он кивнул, не в силах говорить.

– Ура-ура, – рассмеялась она. – Только чур никому...

Он кивнул.

Когда Ингрид и Марко ушли вдоль линии прибоя, мальчишка вскочил и, задыхаясь от ощущений, со всех ног рванул куда глаза глядят.

Он бежал к молу, о который с грохотом било огромное море.

– Мы – идем – в кафе, – раздельно и нравоучительно сказала Ингрид, покачивая большую руку Марко в своей.

– Хо-ро-шо, – в такт ответил он, и она рассмеялась тем теплым смехом.

Ветер легко обдувал лицо и плечи, солнце высвечивало ободок тучки и, в виде бонуса, заливало розовым светом бочок отдельно плывущего облачка. День застыл в самой счастливой своей секунде, словно весь мир был в сговоре с Ингрид и кто-то решил растянуть ей радость от этого мгновения.

Они потеряли представление о времени – час прошел или два. Остатка ее разума хватило только, чтобы позвонить маме. Они ели штрудель с мороженым, пересказывали друг другу дни, проведенные врозь, и целовались.

– Какая красота! – вдруг выдохнула Ингрид.

В сторону мола, прямо по пляжу, аллюром прошла конная полиция – мужчина и женщина на двух красавцах, гнедом и сером в яблоках.

– Погляди!

– Не-а.

Он смотрел на нее.

– Посмотри, какое чудо! Ну, пожалуйста.

– Ага, чудо. – согласился он, не отводя глаз. Ингрид рассмеялась.

Марко слушал ее сбивчивое счастливое щебетание, но поверх всего этого звучала какая-то небывалая музыка. И он рассмеялся, поняв, что сегодня сделает ей предложение. Он – циник, мачо, самец-одиночка...

– Ты чего?

– Не скажу, – ответил Марко.

– Скажи!

– Фигушки, секрет!

– А-а-а, – весело заныла Ингрид. – Я так не играю! Но он снова решил придержать сюжет.

– Я страшно голоден. Пошли в ресторан. Держишь мужика на чашке капучино, совесть-



то есть?

Вдалеке нырял и выходил из пике яркий воздушный змей, чайка зависла над краем моря прямо перед ними, – мерно маша крыльями и не двигаясь с места. Море бушевало уже по-настоящему, поднимая валы. Оно с размаху швыряло их в берег – и, как фокусник, вмиг превращало темную массу в легкую пенку и брызги света.

Они добрались до ресторана, стоявшего прямо на пляже, и когда она садилась, он наклонился к ее губам, – и Ингрид вся подалась к нему, мгновенно закрыв глаза. Нет, он не потерял свою власть над ней, но и эта доверчивая девочка приобрела какую-то странную власть над его душой.

Они заказали мясо и вино. Шторм утих, а солнце все сияло; какой-то олух со скрипкой терзал слух, но ничто не могло испортить этого вечера. Рядом ужинала семья – кажется, поляки. Их смешной хмурый мальчишка отказывался идти за стол, все сидел букой и с важным видом шебуршил песчаный холмик.

Марко вдруг увидел все это в виде холста: ресторан на берегу, последнее солнце, двое за столиком, она – вполоборота, тонкая шея и челка, официант на заднем плане, на переднем – мальчишка, сидящий на песке... И чтобы пятно рубашки рифмовалась с золотистым куском неба. Пожалуй, это мог быть Ренуар.

Не начать ли снова малевать самому, подумал он.

Вдруг она замолчала, а потом спросила:

– Слушай, ты очень хочешь это мясо?

Он глянул в ее темнеющие глаза – и судорожно замахал официанту.

Почти бегом они бросились в ближайший отель – там не было мест. Черт возьми, кричал он, волоча ее, смеющуюся, сквозь сито отдыхающих, к другому отелю, – черт возьми, понаехали тут.

В номере они, задыхаясь, бросились друг к другу.

Он нежно хозяйничал ею, и улетали прочь стены дешевого номера. Солнце уже сползло с крыши на стену, когда ее последний стон вдруг сдетонировал за окном сиреной «скорой помощи». Понижая тон двузвучия, сирена затихла где-то вдалеке, у мола, и они отвалились друг от друга, изнеможенные, в приступе смеха.

– Это... ты... вызвала? – хрипел он. – На помощь... ветеранам секса?

Она вздрагивала рядом от смеха и счастья, на смятых простынях, уткнувшись головой в родное плечо.

– Это лучший день в моей жизни, – сказала она через несколько минут. – Правда. О господи, какой счастливый день! Так не бывает.

– Бывает, – сказал он.

Она курила, стоя вполоборота у окна, и от изгиба ее спины у него снова перехватило дыхание.

– Иди сюда, – сказал он.

Стесанный жернов луны висел над краем неподвижного моря – оно отзывалось из темноты внезапным плеском и снова пропадало.

У ресторанов, над тусовочным пятачком напротив казино, небо было подсвечено лампами, там пульсировала музыка, и Олег поморщился от мысли, что это на полночи.

Раздражение снова накатило на него. Он затянулся напоследок и, нащупав пепельницу на балконном столике, задавил окуроч. Надо бросать курить. Бросать курить, начать делать зарядку, перестать нервничать по пустякам. Он переставил пепельницу с окурками подальше от приоткрытой балконной двери.

В темноте комнаты, склонившись над постелью, Оля шепталась с Милькой. Он знал, о чем они шепчутся, и не хотел мешать.

Какой-то человек внизу у перил смотрел в черноту моря и неба. Фонарь освещал его толстую спину и загривок. Он стоял так уже давно.

А ведь у него был отец, вдруг подумал Олег про утонувшего мальчика. И он, может быть, еще ничего не знает. Эта женщина – она должна была вернуться одна в гостиницу, снять трубку и решиться набрать номер.

Алло.

Перехват дыхания, и губы не могут выговорить свинцовые слова. Такая тоска. Не надо пускать это внутрь, подумал Олег. Нельзя пускать это внутрь. Но не было такой стражи, не пускать.

...Когда, разрывая сиреной воздух сумерек, в сторону мола проехала «скорая помощь», он оборвавшимся сердцем понял: это к ней. К женщине с помутившимся взглядом, сидевшей на линии прибоа.

Вокруг гас роскошный день, и темнел сантиметр вина в бокале, и остывал непосильный последний кусок мяса на доске. Они помирились, и Олина ладонь легла поверх его руки, и в ящик вчерашнего дня был заколочен тот дурацкий отель со всеми их ссорами, – и все было бы хорошо, если бы не память об этих раненых женских глазах. И не Милька, зверенышем сидевший на песке поодаль.

Теперь сын тихонько всхлипывал в темной комнате, и Оля, склонившись над диванчиком, что-то шептала ему в самое ушко. Она знала слова утешения.

У Олега их не было.

Бедный ты, бедный, жалела когда-то его, еще студента, тетка Сима на поминках деда, – тебе нас всех хоронить... И Олег хоронил и хоронил, а два года назад похоронил и Симу, – но эта печаль держала мир в равновесии: те уходят, другие рождаются. А такое, как сегодня, парализовывало душу. Ни логики, ни правил не было в этом, а только ужас букашки под сапогом, телеграмма Бога Иову: будет вот так, а почему – Мое дело! И облепленная деловитыми мухами мертвая рыба на песке смотрела костяным глазом, приглашая поучаствовать в этой лотерее...

Смерть была законной жилищкой под равнодушным небом, у нее были десятки лиц, и нельзя было угадать, когда и как вдруг разом рухнет мир от какой-нибудь ерунды: пьяного идиота в джипе, свинца или свинчатки, цифры в анализе.

Олег вспомнил, как ходили навещать однокурсницу – в больницу, откуда она уже не вышла, и знала, что не выйдет. Как она смотрела на них из-за невидимой, но всеми ощутимой черты, и в глазах темной тяжелой водой стоял вопрос: почему я?

Олег вспомнил другое и потянулся за новой сигаретой.

Эта девочка училась в параллельном классе, и он даже не знал ее имени, только в районе сплетения становилось сладко-тоскливо, когда со звонком она пересекала школьную *рекреацию*, – вот же вылезет слово из прошлого!

В пустой летний день они случайно встретились в метро – и, примагниченные, через час тыкались друг в друга губами в запущенном саду на Басманной. Прилежные ученики, они быстро прошли эту начальную школу, и стояли на лестнице в подъезде, на два этажа выше ее квартиры, замирая при каждом звуке, и ее прохладные пальцы путешествовали по его телу...

Олег все-таки закурил.

Тучный человек все стоял у перил, глядя в темноту моря. От казино неслись тяжелые удары синтезатора. По дорожке променада с грохотом проехала пара на мотоцикле, совсем молодые. Она обхватила его сзади и вжалась всем телом, подняв восхитительные бесстыжие коленки...

Леська погибла через день после его отъезда в Ригу.

С вокзала, еле дотерпев до дома, он бросился к телефону и набрал семизначный, выученный наизусть в балтийских дюнах шифр своего блаженства, ровный женский голос ответил ему: «Леси нет».

Глухой от счастья, он не расслышал черной бездны в этом ответе и спросил, когда она будет.

Потом мама Олега спросила, что случилось, а он не мог говорить. Невидимая рука держала его за горло; он пытался вздохнуть, и не мог.

Он приходил в ее подъезд и стоял у бесполезных перил, приходил в сад на Басманной и пол-осени просидел на парапете, обшаривая глазами опустевшее пространство... Ее нигде не было. Вообще – нигде. Не осталось ни голоса, ни пальцев, ни губ, ни шепота – ничего. А на кладбище он не поехал, потому что там ее, он знал, не было точно.

Нигде не было теперь и веснушчатого мальчишки, утром бежавшего за мячом, смеявшегося, собиравшегося жить... А была только звериная тоска и бесполезность всех человеческих умений, кроме одного: смиряться. Олег так и не научился этому, и научить никого не мог, и всякий раз спасался бегством – и теперь курил, пока Милька всхлипывал в темной комнате, обхватив руками мамину шею.

Человек у перил развернул тучное тело и пошел прочь от моря, широко ставя ноги.

Он не любил свое тело. С самого детства ощущал досадным привеском, все время помнил, как выглядит со стороны. Даже теперь, шагая от моря в переменчивом свете окон и фонарей, Курт держал в уме курильщика на гостиничном балконе и видел себя его сторонними глазами: толстого, неуклюжего, сопящего при ходьбе...

И по давней привычке разговаривать с собой пробурчал:

– Ну и с-смотри. Идет жи-ывой жи-ы-ырттрес. Про-шу п-полюбоваться.

Проклятое тело – сегодня он хотел избавиться от него насовсем, вместе с предательским заиканием! Дыра заросла бы быстро, через месяц никто бы и не вспомнил – был г-н Кальварт, не было г-на Кальварта...

Его никто не любил. Он знал это так же твердо, как порядок папок в ящике документации, и давно свыкся с людским отторжением. Помнил вечное раздражение, исходившее от матери: она хотела им гордиться, а он не оправдывал ожиданий, и к десяти годам стало ясно, что не оправдает. Отец вел с ним педагогические беседы, объявляя темы, как на уроке: сегодня мы поговорим о долге, Курт. И у Курта все съезживалось внутри, потому что, о чем бы ни говорил с ним отец, все приходило к обсуждению его, Курта, дефекта в этой области. Еще отец заставлял делать зарядку, – и он возненавидел ее.

Возненавидел ребят в классе – они с самого начала поставили его крайним в своей крысиной иерархии и не брали в игры: жиртрес, отойди. И он отходил.

Почтовые марки были его друзьями – тонкими щипчиками складывать их в блоки было наслаждением. Не реже двух раз в день он открывал пахнущий кожей альбом и, страница за страницей, проходил по зазубренным прямоугольничкам, проверяя, чтобы зубцы шли ровно. «Идиот!» – всплескивала руками мать, застукав его с щипчиками. «Ну идиот», – бурчал он, нюхая кожу альбома. Так было даже легче.

Только сестра любила его. Но сестра умерла этой зимой, и Курт остался один на свете – с матерью, давно уже синильной старушкой, почти не выходившей из комнаты. Она там смотрела телевизор и все комментировала вслух. Курт приезжал к ней иногда, ища в душе следы сыновней любви, но находил там только немного жалости.

Ему было сорок шесть, и жизнь его состояла из борьбы с расползавшимся телом, бессмысленной службы и вечеров в компании с собственным отражением в трюмо. Он брал с полки историю наполеоновских войн или том великих биографий – и погружался в грезы, пока не слипались глаза, а если был футбол, то смотрел футбол.

Курт мог назвать составы половины команд лиги и даже вел свою табличку. Иногда он играл по маленькой в тото, и пару раз выиграл.

А еще была – Вера.

Вера брала у сестры уроки фортепиано по вторникам и субботам, и Курт, случайно увидев ее, начал приходить в эти дни.

Он сидел в отцовском кабинете, перекладывая бумаги, и слушал робкие звуки разбора, мягкий голос сестры, и снова пассажи из сонат – то прихрамывающие на трудных местах, то словно пробивающие невидимую пробку заикания и легко несущиеся к коде. Тогда сердце его наполнялось радостью.

Потом он выходил к чаю и молчал за столом – когда он волновался, эта стена в горле становилась непреодолимой, и никакие упражнения не помогали.

Вере было теперь двадцать с небольшим, а впервые он увидел ее шестнадцатилетней. Высокая мягкая грудь под сарафаном изменила его жизнь. Появилась мечта. Он хотел

погладить ее грудь. Нежно сжать в руке и что-то сделать дальше. Что – Курт представлял, ворочаясь в постели в стыдном поту. Это стало почти обязательным условием засыпания, и иногда ему казалось, что он прожил с Верой много лет.

В жизни Курта были и реальные женщины. Две. Если подходить к вопросу формально, то три. Он где-то читал, что половой акт засчитывается, даже если ничего понастоящему не было, но разрядка была. (Он вообще любил читать.) Так что – три женщины, три.

Но только Вера насмерть завладела его шарообразной головой и бычьим сердцем, уже начинавшим давать перебои на длинных дистанциях.

Когда сестра заболела, к тревоге за нее добавилась тоскливая пустота. Не стало вдруг ни вторников, ни суббот. Курт не видел Веру почти полгода – столько прожила сестра в онкологической больнице.

На похоронах он был как в тумане. Берта лежала в гробу и не могла подсказать ему, что делать, а Курт понимал только, что видит их обеих последний раз – сестру и девушку с высокой мягкой грудью.

Ему было очень жалко себя.

Вера пришла с большим печальным букетом и сама была так печальна и так хороша, что Курт совсем онемел. Пришла и ее мать – они с Бертой были знакомы.

– Д-да, она го... го... ворила... Зд-дравствуйте.

За столом сидели почти молча – только подруги сестры, помогавшие с поминками, негромко распоряжались блюдами. Мать, давно ничего не понимавшая и только что с большим аппетитом евшая рыбу, вдруг осмотрела собравшихся ясными глазами и завывала. Ее бросились утешать, овал стола распался, и Вера под села к Курту.

Он замер, проклиная кусок, некстати оказавшийся во рту.

Но Вера ничего не говорила, а только гладила его рукав, и у Курта появилось время прожевать.

– Спасибо, – сказал он. – Спасибо в-вам.

– Я ее очень любила, – сказала Вера.

– Он-на вас т-тоже.

– Да. Я знаю. Вы – держитесь.

Курт кивнул, преодолевая желание поцеловать руку, лежавшую на рукаве его черного костюма. Он искал слова, но когда уже почти придумал их, Вера встала и отошла, коснувшись пальцами его плеча на прощанье. Остаток поминок, в решимости отчаяния, он исподлобья следил за нею, готовый к действию.

Когда начали расходиться, Курт, улучив момент, оказался возле девушки.

– Вы на. на. поминаете мне о сестре, – сказал он, кося вбок. – Мне очень нр-равилоьсь, ка-а...

Тут звук заклинило насмерть, и он стоял, повторяя на выдохе свое «ка-а.» и в отчаянии глядя, как ее мать поднимается из-за стола, чтобы идти в прихожую.

– Как я играю? – помогла Вера.

Он хотел переключиться на слово «да», но для экономии времени просто затряс головой.

– Спасибо. Мы обязательно еще увидимся, – сказала Вера и снова погладила его по рукаву. – Вы приходите на мои выступления. Я играю по субботам в еврейской общине.

Он боднул головой воздух и, счастливый, ткнулся губами ей в руку. И отошел, бормоча сказанный ею адрес.

До субботы не было часа, когда он бы не представлял себе дальнейшего хода событий. Концерт, непременно Бетховен, возможность проводить Веру; ее рука, ее грудь у самого плеча; разговор о сестре, о музыке, о нем самом... Он ведь хороший. И неплохо зарабатывает

в этой конторе, а если что, возьмет еще работу. Разница в возрасте, конечно... Но это не страшно. Вот, например, Гете...

Он предвидел проблемы с ее матерью – она была ровесницей Курта и Гете не Гете, а большой радости от его планов испытывать не могла. Но почему-то выходило, что и мать не будет против.

В субботу он увидит Веру и договорится о новой встрече!

– Курт и-и... дет на сви... дание! – нараспев повторял он, размеренно шагая к остановке. Машину он не водил – отсоветовал инструктор. У Курта было хорошее зрение и даже немножко реакции, но иногда он как бы задумывался и в эти секунды видел себя совсем со стороны. Руки-ноги в это время жили отдельно от него, и инструктор очень кричал.

Нет, автобус – это гораздо лучше. Главное – не пропустить остановку.

Но в ту субботу он приехал заранее и занял очень хорошее место, у прохода в третьем ряду. Потом начали собираться еврейские старички и старушки – они рассаживались, с подозрением косясь на Курта. Потом вышла какая-то фрау из муниципалитета и что-то говорила, а Курт сидел и все удивлялся тому, что через час футбол, а он тут, и ему хорошо.

Потом появилась она и села за рояль. Свет из окон падал Вере на спину; волосы, собранные в пучок, подчеркивали линию плеч и шеи. Курт почти не слышал, что она играла, но чувствовал, как музыка насыщает его силами для будущего.

Он первым подстерег Веру у выхода и сказал слова, которые подготовил заранее. «Сестра на небесах гордится вами». У него даже получилось произнести это ровно, почти не заикнувшись.

Вера покачала головой и сказала с непонятным укором:

– Вы добрый человек, Курт...

– Спасибо, что пришли, – сказала она, чуть помолчав.

– Это ва-ам спасибо...

Тут в плане у Курта стояло предложение проводить Веру, но на него вдруг навалилась эта напасть, и он опять впал в ступор, и ясно увидел себя со стороны – толстого, нелепого, мнущегося возле красивой молодой женщины.

Какая-то полная еврейка уже громко благодарила Веру за чудную игру, рядом, дожидаясь своей очереди, дежурил ее пришибленный сынок с букетиком фиалок. И Курт похолодел – только тут он сообразил, что забыл купить цветы. И, словно подчеркивая крах его предприятия, полил дождь.

Фиалковый сынок, наущаемый мамашей, сообразил раскрыть зонт над собой и Верой и, сунув ей в руки букетик, залепетал ерунду. Довольная мамаша кивала под своим зонтом. Курт мок возле них, дожидаясь непонятно чего.

– Ну, я поеду. – с полувопросом произнес он, вклинившись в комплименты.

– Спасибо, что пришли, – сказала Вера и покраснела, потому что уже говорила это.

И вдруг, разглядев мокрого и несчастного Курта, предложила:

– Подождите, я вас подвезу. Да идите же, промокнете! И махнула рукой в сторону дверей.

Через несколько минут Вера подъехала за ним на своей маленькой «хонде». Курт сидел рядом мокрый и взволнованный. Он был наедине с нею. Совсем не так, как думал, но – наедине!

– Ну, – сказала Вера, осторожно выводя из ступора своего нестандартного кавалера. – Расскажите что-нибудь.

– Та-ак глупо, – сказал он наконец. – Я-а да-аже не при-инес цветы.

Она рассмеялась.

– И замечательно. Я рада вас видеть просто так.

– И я. М-может, я могу вас пригла-асить куда-ни... будь? Она посмотрела на него, сколько позволяла дорога, и сказала:

– Милый Курт...

Голос звучал немного печально.

– Ну хорошо. По чашечке кофе, да?

В кафе он настаивал, чтобы Вера непременно взяла десерт, Вера немного сердилась, но потом сдалась, и Курт был доволен. Он заговорил о себе – Вера слушала рассеянно, потом спросила про маму. Курт подавил в себе приступ дурноты и исполнил для нее печальный речитатив верного сына.

Вера снова погладила его по руке, как тогда, на поминках.

Когда она остановила машину у его дома, Курт в три приема попросил разрешения как-нибудь ей позвонить, и она, помедлив, сказала: конечно, звоните. Его немного резанула эта пауза и это легкое движение плечами, но он решил об этом не думать. Она ведь сама дала свой телефон!

Телефон он сразу переписал в книжечку. У него был хороший почерк.

Он подождал несколько дней, чтобы было именно «как-нибудь», а не назойливо. Вера была занята. Он позвонил назавтра – она не могла. Посоветоваться было не с кем, и на третий день Курт позвонил снова.

– Курт, – сказала Вера, – мне так неловко, но правда же. Я очень занята.

И он спросил:

– Чем?

– Ку-урт, – укоризненно протянула она, и в трубке настала тишина.

– А... лло, – сказал он.

– Да. – И снова тишина.

– И. Извините меня, – сказал он.

Еще подождая и ничего не дождавшись, Курт повесил трубку.

Ему было очень плохо. Он маялся целый вечер – все думал, что же ему теперь делать, и придумал очень хорошо: назавтра (как раз была суббота) Курт купил букет небольших роз с трогательной веточкой гипсофила и снова поехал к евреям.

Оставить для нее, а самому уехать. Без записки, только с визитной карточкой – изящно и благородно. Она оценит.

Изящно не получилось: Курт пропустил остановку, а пока ждал автобуса и возвращался, все пошло прахом. Он наткнулся на Веру, уже отдав букет, и от неожиданности отпрянул в дверь, и вышло, будто он за ней следит. Но главное – Вера приехала не одна.

Она вышла из победительного «Мерседеса», а следом пискнул ключами замка высокий шатен с отвратительной телефонной закорючкой в ухе. В глазах у Веры заметалась паника – шатен, одним взглядом оценив парализованного Курта, одарил его гуттаперчевой растяжкой губ.

– До. брый день, – выговорил Курт.

– Добрый день, – ответила Вера. – Это Курт, – сказала она чуть погодя. – Мартин.

Шатен наклонил голову, доброжелательно рассматривая третий угол ниоткуда взявшегося треугольника. Эта вялая доброжелательность окончательно добила Курта: его существование не было даже помехой.

– Пришли на концерт? – спросила Вера, потому что надо же было что-то сказать. Пока, мучительно выбрасывая из глубины горла разрозненные звуки, Курт пытался справиться с ответом, они стояли и смотрели на него: она с ужасом, шатен – с живым интересом.

– Не... не... нет! – крикнул наконец Курт.

– А мы пришли на концерт, – сообщил шатен и, приобняв девушку за спину, по-хозяйски провел ее в дверь. Последнее, что видел Курт – руку с перстнем, мягко скользнувшую к ее ягодицам.

Если бы Курт пил, он бы напился в этот день до забытья, но умения забыться у него не было, и он до ночи сидел на диване, щелкая пультом телевизора и разговаривая со стенами.

Его мычащие возражения мир в расчет не принял. Двое суток Курт жил, как в плохом сне – жернова памяти медленно проворачивали его через позор последней недели, и рука шатена раз за разом скользила по Вериной спине и оглаживала ее ягодицы. Бог знает когда бы он вышел из этого морока, но кто-то над ним решил, что клин клином вышибают: во вторник умерла мать.

Ему позвонили из попечительской службы, и Курт поехал в дом, который теперь принадлежал ему, – как будто некий куратор озаботился раздвинуть пустоту его жизни до новых пределов.

Он осваивался в этом безвоздушном космосе – в своем окончательном, пожизненном одиночестве; привыкал медленно, то и дело застывая посреди улицы памятником неуместности. Словно назло ему, крепла весна, и вокруг бесстыже обнимались все, кроме Курта. Уплывая из реальности, длинно целовались за столиками кафе; схваченные желанием, припадали по двое к стенам домов. Вечером, бродя вдоль канала, он увидел беззвучный танец в желтом квадрате окна. Мужчина и женщина занимались друг другом с привычной нежностью, не удосужившись задернуть занавески.

Курт, не торгуясь, продал родительский дом со всей утварью, перевезя к себе только книги и в приступе внезапного гнева разбив фарфоровую грудастую пастушку, обнаруженную в материнской горке: пастушка, волосы в пучок, целовалась с высоким стройным пастушком. Б-б-блядь!..

Став немножко богатым, Курт повадился играть в то-то уже не по маленькой, а по средненькой, а на выходные начал на стадион. На стадионе было весело; когда «Фейеноорд» выигрывал, даже хотелось жить...

Но матч кончался, хмельная пена оседала, и надо было куда-то идти. Разговаривать с трюмо он больше не мог, а друзей у него так не завелось – никто по-прежнему не хотел брать его в свои игры. Несколько раз, когда тоска начинала идти горлом, он чуть было не позвонил Вере. Даже и позвонил однажды – уже набрал номер, но на грани гудка задал трубку, как мышь.

Она позвонила сама – в начале июля.

– Здравствуйте, Курт.

Сердце его бухнуло и отозвалось сладким нытьем в животе. Он задохнулся попыткой ответа, но она его пощадила и продолжила, как ни в чем не бывало:

– Вы не звоните, вот я и решила позвонить сама. Нельзя терять старых друзей, правда?

Она была весела – как-то уж чересчур весела, и он догадался, что никакого шатена больше нет, и снова задохнулся – уже от надежды. Курт предложил встретиться, и Вера легко согласилась.

Как же она была хороша – вся такая летняя, в легком бежевом платье с брошью! И волосы собраны в пучок, как тогда, на концерте, и глаза блестят каким-то незнакомым блеском. Вера говорила обо всем и ни о чем, спрашивала и понимающим кивком угадывала его спотыкучие ответы. Узнав о смерти матери, сказала: «Бедный Курт», – положила руку на рукав, погладила обшлаг.

И он тоже спросил, приступая к главному:

– Как вы?



– Я? – Вера улыбнулась. – Я хорошо.

– А-а...

Она торопливо накрыла его вопрос:

– Все хорошо, Курт.

И вдруг глаза ее в секунду наполнились слезами, и одна стремительно скатилась по щеке.

– Простите...

Она запрокинула голову и, нащупав в сумочке салфетку, промокнула глаз. И улыбнулась.

– Видите, как я раскисла.

– Ве... э-э... ра, – сказал он.

Она снова погладила его по рукаву.

– Я знаю, вы ко мне хорошо относитесь.

– Д... да.

– Ну вот и славно. Возьмите мне вина.

Курт взял по-гусарски бутылку бордо и сырную тарелку с орехами и виноградом – и через несколько минут уже плыл в потоке чужого сюжета.

Шатен оказался полноценным негодяем, и добродетель Курта воссияла рядом с ним, как алмаз в луче света. Качая головой на Верин рассказ и словно отказываясь верить в глубину людской низости, Курт тонко подчеркивал этот нравственный контраст, – но внутри, вместо гнева, большой коброй поднималась зависть.

Соблазнить юную женщину, напользоваться ею и, напоив на корпоративной тусовке, передать в руки собственному шефу – в этом было что-то такое, чем природа обделила Курта... Мир принадлежал этим сильным людям, не ведающим стыда и поражений, а Курту оставались унылая добродетель и вечерний онанизм.

Но Вера искала плечо друга, и нашла его. На последней трети бутылки он пересел к ней и подставил плечо в буквальном смысле. Вера, всхлипывая, сползла немного с сиденья и допивала бордо, уткнув голову в угол диванного валика.

– Я хитрая, – говорила она. – Я не на машине. Можно, я немножко напьюсь?

– П-пейте. То... олько осто... а-а-а... рожно! Выплакавшись, Вера выбросила из себя напряжение, и через рукав пиджака Курт чувствовал теперь тепло ее податливого тела. В нем росло что-то небывалое. Он был в сантиметре от собственных грез.

Рассказ Веры страшно возбудил его, – но, потянувшись допивать бокал, она прервала историю на самом грязном месте, и Курт, жадно вслушивавшийся в сюжет, так и не понял главного: досталась ли Вера по-настоящему второму негодяю? Теперь недосказанный эпизод крутился в разгоряченной голове, но – о ужас! – в этом тайном кино он был не спасительным рыцарем, врывающимся, чтобы защитить девичью честь от потного мерзавца, а самим этим потным мерзавцем и был.

И в мельчайших подробностях представил вдруг, как, заперев дверь, подступает к теплой, незащитной Вере и кладет ей руку туда.

Курт зарычал и прокашлялся. Он был весь в поту.

– Я вы. зову та-а-акси, – сказал он.

– Так-си... – повторила Вера. – Спасибо, Курт. Вы славный. И Берта. Бедная Берта...

Она снова заревела.

В такси Вера дремала, уткнувшись головой ему в плечо. Курт боролся с дыханием, вдыхая тонкий аромат ее волос. Как стайер, он выжидал момент для решающего рывка.

У двери, задохнувшись от нахлынувшего фрейдизма, Курт помог вставить ключ в замок.

– Спасибо, Курт, – сказала она и извиняющимся образом поскребла пальцами по лацкану пиджака. – Простите меня, я так напилась.

– Бе... дная Ве... ра, – сказал он, открывая дверь за ее спиной и мягко вталкивая ее в квартиру.

Повторяя про бедную Веру и постепенно сокращая дистанцию, Курт гладил ее по голове, и, пристроив у стенки, гладил уже по плечам, и целовал волосы, и, не веря себе, добрался губами до нежной впадинки под ухом.

– Курт. – Ее руки вдруг уперлись ему в живот.

– Ве-э...

– Курт, не надо.

Ее руки попытались оттолкнуть его, но только страшно распалили желание. Отбросить эти две соломинки было делом секунды. Она что-то кричала, но Курт уже ничего не слышал – сопя, он освобождал ее грудь от ткани и бретелек. Невидимые кулачки молотили его по лицу и плечам, но он не замечал и этого, а только атаковал сладкое упругое тело, чувствуя внизу чудовищный напор плоти, требующий немедленного выхода.

В коридорной полутьме метались хрип и визг. Курт не знал, где тут постель, и просто повалил ее на пол, надежно придавив собой. Он успел высвободить свой набухший инструмент и, вне себя от возбуждения, уже шарил в немыслимом шелке ее трусиков, когда сопротивление вдруг прекратилось, и он услышал тонкий звук плача. Вера выла, покорно лежа под ним.

Полоска фонарного света проникала в коридор, как будто из какой-то другой вселенной. Он начал возвращаться в сознание.

Вера выла, закрыв лицо ладонями и мотая головой по полу. А на ней колодой лежал он – тяжело задышающийся, полураздетый и ничтожный. На месте неумолимого инструмента валандалась глупая пиписька.

– Ве. ра, – сказал он, неуклюже приподнимая тучное тело.

На его голос она зашлась в новом приступе воя – на одной высокой непрерывной ноте.

– Ве. ра, – сказал несчастный Курт. – Я-а. люб. лю. Вас.

И похолодел, услышав смех.

Когда он нашаривал ручку и справлялся с собачкой замка, и когда потом воровски прикрывал снаружи входную дверь, она все билась в смеховой истерике, закрыв лицо руками и мотаясь по полу тряпичной мальвиной.

Два дня он пролежал дома, рассматривая с дивана книжный шкаф с куском окна. Окно меняло свет, полоска солнца на шкафу вытягивалась и меркла, а он все лежал. Когда, странным атавизмом, его потревожил голод, он спустился к китайцам, взял рис и свинину в пластиковых кюветах и тут же, за столиком, запихнул все это в организм, запив соком манго из баночки. Организм отозвался на еду сильнейшим удовольствием, и Курт с удивлением прислушался к этому.

Глупое тело хотело жить дальше – досадное, тучное, даром никому не нужное.

На работу тело не пошло, и рука взяла телефон, а язык в несколько приемов выговорил: я заболел. Тупой скот на том конце провода даже не спросил: чем заболел? не надо ли помочь? Спросил: когда выйдешь? Курт задохнулся приступом ненависти и отжал трубку.

На третий день тело пошло пройтись и остановилось, когда глаза увидели рекламу турагенства и слово «Схевенинген». Наутро Курт, удивляясь себе, вышел из дома с полупустым саквояжем в руке и отправился на вокзал.

Через пару часов он вдыхал детский запах соленого ветра.

Он был здесь когда-то с папой и мамой, о которых вспомнил вдруг с нежданной, наполнившей глаза влагой, нежностью. Вот здесь стояли лотки со свежайшей селедкой, и

трамвай точно так же шел вдоль моря. Курт, как по следу, пошел на соленое дыхание ветра и вышел на дорожку променада. Все вокруг было знакомым и незнакомым, как во сне. И в легком сне этом он был ни в чем не виноват, и его любили.

Чайка летела вдоль кромки волн – просто так, куда-то. И просто так, куда-то, шел Курт, боясь проснуться. Потом он устал и присел за столик на берегу. Чашка кофе, взятая для бодрости, качнула его в обратную сторону, и Курт пошел в ближайший отель. Через пять минут он засыпал в своем номере.

Пробуждение было ужасным: невесомое счастье исчезло без следа. Открывая глаза, придавленный правдой Курт снова все помнил: Веру, свой позор, черное одиночество. За окном сходил на нет жаркий день; вялое тело лежало в кровати, истекая потом. Надо было что-то делать с ним дальше.

И Курт вдруг сообразил – что.

Он лежал, обдумывая эту мысль; он даже не испугался.

Страх не было – была только дверь, которую не видел почему-то, а вот же она! Горсть таблеток, и всем привет. Школьным сволочам, говорившим «жиртрес, отойди», тупому сослуживцу, шатенам в «мерседесах», девушке с нежной грудью, доставшейся всем, кроме него. Никто даже не огорчится. А папы с мамой нет, и Берты нет. Как хорошо – никого!

Мир затянет это место ряской в минуту, никто и не вспомнит.

Вот подлянка этому отелю, подумал Курт. Утром стук-стук: уборка! Открывают, а он лежит белый. Или – серый? А вот и посмотрим.

Курт даже выдохнул это вслух:

– Па-а. смотрим!

И рассмеялся, сотрясая постель: смотреть-то будут другие. Смотреть, бежать вниз, звонить в полицию. Курт поморщился, представив себе, как его будут кантовать по винтовой лестнице – небось, в одеяле, носилки-то не пройдут. Жопой по ступенькам – бряк, бряк. Глупо, но уже не больно. Да, главное, чтобы наверняка. А то начнут мучить, засовывать в дырку шланг, вскрывать грудную клетку. Он читал где-то, что когда откачивают, вскрывают грудную клетку. Еще вернут, пожалуй.

Курт снова поморщился. Унижения он больше не допустит: хватит.

Он глянул на часы: начало седьмого, пора. Его вдруг резануло: когда стрелки снова будут здесь, его здесь уже не будет. А где он будет? А нигде. Вот и хорошо, вот и не надо.

Он сел, отбросив легкое гостиничное одеяло.

В аптеке, заложив отвлекающую лисью петлю, Курт взял, кроме снотворного, аспирин и микстуру от кашля, и то же самое сделал в другой аптеке, а в темечке продолжало медленно ворочаться слово «нигде»...

В раннем детстве, над картинкой с Христом, Курт часто думал о небе – светлом санатории, где в ожидании встречи с родными живут бабушки-дедушки. Потом картинка стала терять легкость, пока однажды небо не сгустилось в непроницаемый студень.

Никто там не жил. И никому – ни бабушке, ни маме, ни отцу Курта, ни Христу с картинки, ни его отцу – не было дела до тучного господина с аптечным пакетиком в руке, набитым для отвода глаз микстурой от кашля.

Он вернулся в номер и, оставив пакетик на кровати, торопливо вышел обратно на воздух – как в детстве, когда не было еще ни одышки, ни смерти, а только мячик во дворе, и хотелось поиграть до темноты. До темноты не получалось – мама звала домой засветло, раздраженным голосом: приходил отец и хотел проверять уроки.

Курт не был счастлив в жизни ни минуты.

Выйдя налегке на променад, он снял туфли, снял носки и, скатав, положил их в карманы

брюк. Сошел на песочек, вдохнул всей грудью солнечный, соленый, колющий воздух шторма, и решил, что будет счастлив сейчас.

Хотя бы напоследок.

Но красота мира только изранила душу Курта. Перед смертью не надышишься, вспомнил он и булькнул на этот буквализм коротким отчаянным смехом. Пожилая дама, проходившая мимо – в шортах, босиком, с лыжной палкой в руке – извлекла из себя в ответ дежурное «джюс» и улыбнулась будущему покойнику мышцами лица.

Она-то точно собиралась жить до второго пришествия.

Закат сиял над водяными громадами. Мальчишки чеканили мяч, и воздушные змеи нарезали воздух на дольки. Веселый гомон стоял над пляжем, и Курт шел через этот праздничный мир – не смешиваясь с ним, как масло с водой.

Рядом с ним прошла аллюром по пляжу конная полиция, двое на двух красавцах, лоснящихся в лучах солнца – гнедом и сером в яблоках. Вкусно пахло мясом от ресторана – официанты, в черном, с красными косынками на плечах, как птицы, стояли и похаживали между столиков в ожидании чаевых.

Нет, подумал Курт, вглядываясь в полосу каменной волноломни с маяками, – еще не сейчас. Дойду до мола, потом обратно, потом сесть с видом на закат, хорошо поужинать, выпить вина, потом в номер – и спать, спать...

Внезапное воспоминание о Вере вызвало только досаду; желания не было, и Курт обрадовался этому: значит, все решено правильно. Всё здесь прекрасно обойдется без меня, думал он, разглядывая семьи и парочки, гулявшие босиком по солнечным языкам прибоя. И лучше, что без меня.

Двое вдруг обнялись прямо перед ним: сумка, выпав из ее руки, легла на песок, как в обмороке; крупный мужчина, обхватив ладонью запрокинутый стриженный затылок, неспешно пил поцелуй с ее губ. Они вросли друг в друга – словно навсегда. Ни зависти, ни злобы не почувствовал Курт, только грусть. В его жизни так и не случилось этого – даже нечего было вспомнить напоследок.

Он уже думал о своей жизни в прошедшем времени, откуда-то извне.

Напившись друг друга, мужчина и женщина прошли мимо Курта, даже не увидев его. Он успел тайком заглянуть в ее счастливые глаза. Большая красивая кисть лежала на тонком плече, и женщина на секунду прижалась к ней щекой.

Шторм стих, как по волшебству. Курт, сощурился, смотрел на солнце, поминутно совсем прикрывая глаза и идя вслепую. Он шел и шел, а солнце нестерпимо сладко слепило напоследок из-под ажурной тучки, ложилось на линию горизонта, заливало море огнем перед тем, как уйти насовсем.

Море покачивалось, успокаивая свое дыхание, и прогретая вода тепло подлизывалась под ступни.

А то бы дождаться темноты – и туда, вдруг подумал Курт. Никто бы и не хватился. Мартин Иден, вспомнил он. Да, Мартин Иден. Банально... А жить не банально? Заплыть поглубже, и всё. А что? Может, прямо сейчас?..

Внезапная тоска больно сжала сердце, и Курт остановился, пораженный: оказывается, он еще хочет жить!

Обескураженный, он побрел опять навстречу темной полосе волнолома. Солнце уже почти село, но воздух был еще полон света. Линия мола укрупнялась, приобретая объем и глубину. Какая-то толпа густела вдаль, и сирена «скорой помощи», как консервным ножом, взрезала воздух побережья.

У мола что-то происходило. Курт уже различал зевак, стоящих и склонившихся над чем-

то. Два коня, гнедой и в яблоках, оставленные полицейскими чуть поодаль, равнодушно глядели на происходящее. От кареты «Скорой помощи» к морю быстро шли двое с чемоданчиком.

Похолодев, Курт все понял прежде, чем увидел. Тело, простертое на песке, не было видно за зеваками – только ноги, и что-то снова резануло душу Курта, и лишь подойдя поближе, он понял, что именно. Это были ноги ребенка.

В двух шагах от линии прибоя лежал мальчик.

Курт сразу отвернулся, но успел увидеть детское запрокинутое к небу лицо с невидящими глазами. Рядом, вцепившись в безответную руку, выла и раскачивалась женщина.

Ноги Курта отказались нести его тело. Не дойдя до скамейки на променаде, он опустился на песок. Он ничего не понимал, кроме того, что произошла страшная ошибка.

Он был жив. Лицо обдувал приятный бриз, ладони ощущали прохладу песка. Позорное недоразумение природы, одышливый пердун, забывший вовремя выйти вон, – он жил, как ни в чем не бывало! А рядом, окостеневая, лежало тело мальчишки, и возле него лежала в обмороке женщина, чья жизнь, в сущности, тоже кончилась. Врачи хлопотали над нею со шприцами и ампулами, зачем-то желая вернуть ее в сознание.

И Курт запротестовал.

– Это же я-а! – крикнул он кому-то. – Это же я-а хо-отел... Он чувствовал себя обманутым. Трагедия была отдана другому; в репертуарной лавке оставались только фарс и пародия. Господа, не расходитесь, минутку внимания, господа! – у нас еще имеется забавный толстяк с мешочком снотворного... Есть ли другие желающие повалить дурака? Просим к нам. Какова дневная квота на смерть на этом побережье?

Все было чепухой, и только мальчик лежал на песке всерьез, глядя вверх невидящими глазами.

– За-ачем? – вместо него спросил у пустых небес несчастный Курт. – За-ачем?..

Вместо ответа чайка опустилась на серый песок и важно прошлась по берегу, инспектируя происходящее.

Милька засыпал, обессиленный впечатлениями дня и убаюканный маминым голосом. Он был безутешен и счастлив, потому что впереди была целая жизнь, и мама обещала ему, что все будет хорошо.

Оля мерно гладила голову сына, и Милька, уже совсем сонный, взял ее ладонь и утянул себе под щеку. Теперь она лежала рядышком ласковой пленницей, дожидаясь, пока он уснет совсем.

Вдруг он прерывисто, глубоко-глубоко вздохнул, и Оля вздрогнула в испуге, но все было хорошо: Милька снова сопел ровно. Уснул, кажется, подумала она, но решила пока не вынимать затекшую ладонь.

А в Милькиной улетающей в сон голове докручивалось странное кино этого дня. Папа с мамой, обнявшись, уходили по берегу прочь от беды и сидели в плетеных креслах, чокаясь большими бокалами на тонких ножках, а Милька лежал на дне, мертвый и несчастный, и холодная вода покачивала его волосы...

– Милька! – позвала в этом сне мама. И, подождав у кромки волн – его, настоящего, живого... – нежно поцеловала в макушку. И Милька еле сдержался, чтобы не заплакать, потому что ведь мама не знала, что он утонул.

Он вздохнул глубоко-глубоко и, не открывая глаз, еще крепче прижал мамину ладонь к щеке.

Назавтра был новый день, и тысячи других дней потом, но тот вечер в Схевенингене, тот шторм под солнцем еще долго стоял у него перед глазами – словно под увеличительным стеклом и весь разом.

Как молочной пенкой взбегали на песок волны, как шли, обнявшись, молодые папа с мамой, и летела вдоль кромки прибоя чайка, ничего не знающая ни о смерти, ни о любви.

*весна-лето 2008*

# В чужом городе

Название города ничего не нашептало мне, не кольнуло памяти – ни в филармонической бухгалтерии, где ждал я своих командировочных, ни в вечернем цейтноте вокзала; и когда имя города маячило потом на занавесках фирменного поезда, ничего не дернуло неубитого нерва, ничто не помешало пить чай и жевать вываренное до песочной сухости яйцо.

Спустя сутки я открыл глаза в гостиничном номере и долго лежал в темноте с пересохшим ртом, слушая буханье сердца. Сердце выстукивало имя города. Сна не было.

Я нащупал тапки. Я поплелся в ванную; еще щурясь, прополоскал рот и умылся. Тараканы в панике разбегались от моих ног. На батарее сохли носки. Имя города колотилось изнутри в грудную клетку.

Я зажег в номере свет, сунул в налитую чашку кипятильник и стал ждать, тихонько повторяя за сердцем его одностопный ямб. Я ждал, как ждет рыболов, – имя города извивалось на крючке – и уже знал, что вытащу из памяти какую-то чудовищную рептилию. Когда вода в чашке забурлила, тамтам сердца, стукнув, соскочил на двупалый хорей ненавистной фамилии, тлевшей во мне все эти годы.

Кипяток с минуту плескал через край, прежде чем я выдернул наконец вилку из розетки.

Он был моим хозяином.

Год – от осени до осени – я принадлежал, как вещь, этому коротышке с нечистой кожей и гниловатыми зубами. Он держал в руках мою жизнь и мог делать с ней все, что ни пожелал бы, кроме одного: он не имел права ее уничтожить. Я не подлежал выкупу в этом ломбарде, но имел некую залоговую стоимость – не больше, впрочем, стоимости швейной машинки. Если бы я издох у его сапог, меня бы просто списали, как списывали других, переслав домой в цинковом ящике.

Претензии дирекцией этого ломбарда не принимались.

Год – от осени до осени – он был моим хозяином, гнилозубый старший сержант, уроженец этого города.

Я разодрал пачку чая и сыпанул из нее в кипяток. Заварка рассыпалась; рука, державшая пачку, не слушалась. Не слушалось и сердце, колотившееся так, словно пыталось удрать отсюда вместе со всеми потрохами.

Я вытер о сиденье стула влажные ладони и аккуратно, стараясь успокоиться, растворил в чашке три куска сахара. Снимать заварочную горку не стал – чифирь так чифирь, тем лучше.

– Солдат, ты чем-то недоволен?

Пухлый червяк пальца подлезает под верхнюю пуговицу моей гимнастерки и сгибается стальным крючком. Крючок, душа меня, начинает поворачиваться.

– Не слышу ответа, солдат!

Крючок тянет меня вниз – проклятый запах его тела, меня тошнит от него – улитка уха возникает у моих пересохших губ.

– Не слышу ответа!

Резкий рывок, как рыбу из воды, вырывает меня из строя.

– Чем недоволен, солдат?

Я молчу. Я молчу уже давно, но этого мало. Надо еще что-то сделать с глазами, с лицом... Отработанный сержантский тычок – точно между пуговиц кулаком – вгоняет меня обратно, как ящик в ячейку, вырывает хрип из надорванной груди.

– Встаньте в строй, рядовой. Что вы на ногах не держитесь...

Он говорил правду. На ногах я действительно не держался. Шел третий месяц моего рабства, и меня, собственно, уже не было. Было – тело, пытавшееся выжить среди себе подобных. Тело проваливалось в бесчувствие, едва зубчатая передача службы выбрасывала его на островок верхней койки. И только там, на самом донышке бесчувствия, скулил, спрятавшись за подкладкой сна, кусочек моего «я».

– Надо будет заняться с вами физподготовкой после отбоя, – говорит он, поигрывая связкой каптерных ключей на цепочке. – Ерохин – на месте, остальные – разойдись!

– Ну что, говненыш, – говорит он, когда мы остаемся вдвоем, – ты еще не хочешь удавиться?

Чай подостыл, уже можно было отглотнуть его не обжигаясь. Сладкий горячий чай – что может быть лучше? Коротышка, с кровью выплевывающий свои гнилые зубы – вот что лучше. Черная сталь, холодящая ладонь – и скулящий от ужаса коротышка. Когда открываются в этом дерьмовом городе столы справок?

Я прихлебывал чай и ждал рассвета, но рассвета не было, и я лег, и закрыл глаза, и он вразвалочку вышел из своей каптерки, накручивая взад-вперед цепочку на сардельку указательного пальца. Он учуял мышь, незаменимую для показательной вивисекции, и вот стоит, расставив крепенькие ноги и вентилируя цепочкой густой казарменный воздух, – надсмотрщик, принимающий новую партию черного товара – и моя усмешка напарывается на пристальный взгляд голубых глаз. «Вам весело, товарищ рядовой?» – «Что вы, нисколько...» – «Что?» – «Нисколько, товарищ... простите, не знаю вашего звания», – я действительно не различал тогда погон! – это простительная вещь, если вдуматься; коротышка не отличал Баха от Глинки, он даже не подозревал об их существовании – и никто не заставлял его чистить за это галюн! «Простите, не знаю вашего звания», – сказал я, и стоявшие рядом хохотнули.

Усмешка досужего путешественника еще лежала на моем лице, когда внимательный прищур его голубых глаз впервые примерил меня к пыточному колесу первого года службы.

...Я живу в сортире. Я пропах мочой, я скребу обломком бритвы проржавевшие писсуары. Все, что было со мной до этого, – Москва, любовь, черное крыло и белая кость «Бехштейна» – было уже не со мной. Я стою у измазанного калом подоконника с обломком бритвы в руке, которой не хватает силы полоснуть по венам. Я не выйду отсюда, пока он не признает сортир убраным, а он не сделает этого до глубокой ночи. Он помочится в отдраенный мной писсуар, буркнет «на сегодня – все» и, шаркая, пошлепает мимо замершего дневального к своей койке, а меня за час до подъема поднимет по его приказу дежурный и, стуча зубами от озноба, я снова отправлюсь в сортир; так старая цирковая лошадь сама идет к опостылевшей тумбе. И будет еще один день, еще поворот на один градус скрипящего колеса службы, и через сколько-то слившихся в одно поворотов – я стою среди ночи, склонившись над раковиной, пытаюсь отмыть терпкий, пропитавший меня насквозь запах, затылком чувствуя взгляд привалившегося к косяку коротышки – и угадываю его голос за мгновение до того, как он раздается.

– Ты чего, солдат, – говорит голос, – никак собрался отдыхать?

Отпаренные ноги в войлочных тапках, штрипки кальсон болтаются у пола.

– Так точно, – говорю я, пытаюсь совладать с голосом, сквозь который рвется наружу пекло ненависти.

– Ни хуя себе заявочки, – весело кидает он себе за спину, и там, гоготнув,



обнаруживаются еще двое: сержант Глотов и кто-то из «дедов».

– Солдат, – неторопливо копая в дупле спичкой, говорит коротышка, – ты назначен мною бессменным дежурным по сортиру – что не ясно?

– Сортир убран, товарищ старший сержант, – говорю я, не узнавая своего голоса.

Спичка дважды перелетает из угла в угол обметанного прыщами рта. Плотное тело отваливается от косяка и подходит ко мне. Его место в проеме занимают зрители.

– Чего сказал, солдат?

– Сортир убран.

Удар по косточке, по ноге, стертой еще на полевом выходе.

– Ножки вместе поставь, товарищ рядовой! – Ощеренный рот обдает меня смрадом. – И еще раз повтори, а то я не расслышал!

Пузырек холода в животе, лопнув, разливается по телу.

– Сортир убран, – говорит кто-то моими губами, – и сегодня я больше туда не пойду.

Спичка перестает прыгать из угла в угол рта, застывает у бугристого подбородка.

– Хорошо, солдат.

Резкий поворот; мускулистый торс в голубой майке, задев Глотова, исчезает за косяком. Мое тело, ожидая своей судьбы, остается стоять у раковины. Ждать ему недолго.

– Дневальный, подъем третьему взводу!

– Не надо! – Я бросаюсь в коридор. – Не надо, подождите! – но уже орет дурным петухом перепуганный дневальный, и скрипят пружины коек, стряхивая в проходы измученных недосыпом заложников. Тела образуют строй, и я замираю, парализованный неотвратимостью этого построения.

– Третий взвод! – сияя чудовищной своей правотой, кричит вырванным из сна людям коротышка. Предстоящее распирает его. – Рядовой Ерохин, находясь в наряде вне очереди, отказался убирать сортир! – Он делает паузу, давая десяткам воспаленных глаз найти мое тело, съжившееся у шинелей, – там, где застигло его построение.

– Рядовой Ерохин устал, – сочувствующе поясняет коротышка и снова делает паузу, грошовый клоун. – Он перетруился. Поэтому сортир за него уберете вы.

Я отворачиваюсь, я не хочу видеть их, никого, но голос настигает меня, рвет на куски:

– Надо выручать товарища. – Пауза. И не глядя, я вижу, как он набирает в свою квадратную грудь воздух. – На-пра-во! Ерохину – отбой, остальные – в сортир – бего-ом... Отставить! По команде «бегом» корпус наклоняется вперед, локти согнутых рук прижаты к бокам... бего-ом... – марш!

Взвод бежит мимо моего тела, стоящего у шинелей, следом, шаркая, проходит коротышка.

– Товарищ старший сержант, – говорю я. Слова комкаются в горле. – Разрешите мне...

– Отбой, солдат, – ледяным голосом обрывает он. – Отбой по полной форме. – Губы брезгливо извиваются у прыщавого подбородка. – Спокойной ночи. Надеюсь, тебя хорошенько отпиздят сегодня. Бегом была команда! – рывкает он вслед взводу и, шаркая, отправляется в бытовку, у входа в которую одобрительно ржут сержант Глотов и тот, второй.

Когда я открыл глаза, спина в голубой майке только что скрылась за дверью, но это была дверь в ванную.

Полоса солнца лежала на стене гостиничного номера.

Тушеная капуста с котлетой неизвестного происхождения, стакан пахнущего посудомойкой чая и два куска хлеба. Уже можно было уходить, а я все сидел за грязноватым буфетным столом. Я ждал девяти – в девять открывалась справочная будка на площади. Я

нашел ее на рассвете, пройдя по пустынной улице до памятника, протянувшего в эту пустоту свою традиционную руку. Коты неспешным шагом переходили проезжую часть, сморщенные афиши вечернего концерта зубрили мою фамилию; над запертым тиром красовалась эмблема ДОСААФ и лозунг «Учись метко стрелять!».

Без двадцати девять я перестал возить по тарелке остывшую котлету и вышел из гостиницы.

Киоскер пересчитывал газеты, у окошечка уже собирались прохожие; один был совсем небольшого роста и коренастый, но гораздо старше. Я встал в хвост и купил «Правду» – рука киоскера в обрезанной старой перчатке привычным жестом бросила на блюдечко сдачу. Я спрятал двушку в кошелек – может, пригодится. Отойдя, развернул газету и механически пробежал ее по диагонали, читая и не понимая заголовки. Я посмотрел на часы – было без семи девять – аккуратно сложил газету и, сдерживая шаг, двинулся по лучу уже знакомой улицы.

Я не знал, что буду делать, когда чья-то рука протянет мне из окошечка листок с адресом.

Я уже понимал, что не убью его, не сумею даже напугать по-настоящему. Воровать пистолет у постового? Яд из аптеки? Смешно. А смешнее всего – я сам в роли Гамлета. Что же тогда? Но ноги уже привели меня к будке на площади, встали у окошка, за которым копошилась, раскладывая свой утренний пасьянс, седенькая Немезида.

– Имя, отчество...

В тот вечер, объявившись в новенькой парадке с широкой щегольской полосой вдоль погон – погоны ему пришивал и чистил сапоги маленький каптерщик Гацоев, он же носил в коробочке из-под сахара пайку из столовой, за что был милостиво снят с физзарядки – так вот, в тот вечер коротышка построил взвод и, воняя по случаю своего старшинства, велел отныне и до дембеля называть себя по имени-отчеству, каковое и сообщил с неподдельным уважением. Я было подумал, что он пьян, но ошибся. Это было что-то другое.

– Вопросы.

Вопросов нет – мы молчим. Взгляд трезвых, холодно-веселых глаз начинает скользить по шеренге и безошибочно останавливается на мне.

– Рядовой Ерохин!

– Я!

– Жопы моя! – свежо шутит коротышка. – Выйти из строя!

Шаг, шаг, поворот кругом. За что они все презирают меня, почему так услужливо растянуты улыбками рты?

– Рядовой Ерохин, поздравьте меня с получением очередного звания!

– Поздравляю.

– Громче – и я сказал: по имени-отчеству, Ерохин! Прыщеватое лицо уже не улыбается. Если я не отвечу, он погонит взвод на спортгородок, а ночью мои боевые товарищи опять будут меня бить, вкладывая в удары всю тайную ненависть к коротышке, всё желание свободы, весь страх оказаться на моем месте.

Но это ночью. А сейчас он командует мне встать в строй – и начнется ад, отработанный уставной ад, и уже ноет живот вечным пузырьком холода под диафрагмой, и заранее разламывается бессонницей мозг, и покачивается, наливаясь страхом и ненавистью, многоголовая гидра взвода, наваливается, душит – господи, да не все ли равно?

Мои губы выталкивают изо рта проклятый кляп его имени-отчества.

– Встать в строй, – презрительно ссезживает ненавистный голос.

Шаг, шаг, поворот кругом, и чей-то удар сзади кулаком по почкам – товарищеское назидание, памятка на будущее – и ясный, веселый взгляд упертых в меня голубых глаз...

Отчество, год рождения...

– А профессии вы не знаете?

– Нет, – сказал я – и вспомнил его профессию.

– Хорошо, – сказала киоскерша. – Подойдите минут через пятнадцать.

Демобилизовался он в школу милиции – с рекомендацией от командира полка и партбилетом в кармане парадки. За неделю до чего присвоил себе мой перочинный ножик, объявив его холодным оружием. Теперь он, наверное, старлей. Обаятельный такой старший лейтенант милиции. Картинка с выставки. Подлечил зубы, женился; жена симпатичная, пухленькая – он любил пухленьких. Интересно, бьет ли он ее?

Я сидел на скамейке у пересохшего фонтана и ждал. Развернутая газета бесцельно маячила перед глазами. Прошло не больше пяти минут. «Пять минут, пол в проходе натерт – время пошло!» Прыщавая скотина; как будто время может останавливаться! Я приеду к нему после концерта, позвоню в дверь. Шарканье за дверью. «Кто?» – «Телеграмма». Звяканье цепочки; его пухленькая жена в халате, недоуменный взгляд; молча отодвигаю ее и прохожу в комнату: «Здравствуй». – Пауза. – «Не узнаешь?» – Молчит, сопит. – «Ну, вспоминай: семьдесят девятый год, гарнизон Антипи́ха, – ну!» – Пауза, глубокая, тяжелая пауза. – «Фамилия Ерохин тебе ничего не говорит?» – «Ерохин?» – Капли пота на прыщавом лице; взгляд на жену, застывшую в дверях спальни; он поражен в самую гниловатую сердцевину своей души. «Что тебе надо?..» – «Слушай, старшина, или кто ты там теперь есть: я хочу видеть твою мать; она жива, надеюсь; я хочу ей сказать, что она родила гниду, мразь, какой свет не видывал». – «Сволочь», – хрипит он и хватает меня за лацканы – и тогда я беру его за лицо и под визг пухленькой жены несколько раз бью затылком об стену...

В детстве надо заниматься боксом, а не ходить на сольфеджио.

Боксом занимался он, а не я – у него и в каптерке висели перчатки; он не станет слушать моих монологов, и капли пота не выступят на прыщавом лице – он просто ударит меня под дых, как тогда в наряде по столовой – ему почему-то не понравился мой взгляд – я хватаю ртом тяжелые испарения варочного зала, кулем валюсь на ухабистый, мокрый цементный пол и не могу подняться; в мареве у самого лица вырастают офицерские сапоги.

– В чем дело, сержант?

– Да заебал он меня, товарищ прапорщик! – гремит, перекрывая грохот посудомойки, коротышкин дискант. – Служить не хочет, все шлангом прикидывается...

– Подъем, солдат! – командует прапорщик Совенко.

– Я не могу, – говорю я, ловя ушедшее дыхание. – Он меня ударил, – говорю я, поднимаясь.

– Кто тебя ударил, солдат?! – орет коротышка. – Раськов, Касимов – ко мне!

Топот ног по лужам на цементе.

– Я его бил?

– Нет, – говорит Раськов.

– Нет, – говорит Касимов.

Оба в мокрых, черных от грязи комбезах, серые от недосыпа – оба не смотрят на меня.

– Не надо залупаться, солдат, – по-отечески советует Совенко, и, нагнувшись, выносит свои два метра из варочного зала.

– Раськов, Касимов – к котлам!

Чавканье ног по лужам на цементе. Мы снова одни. Он берет меня за ворот гимнастерки и несильно бьет костяшками пальцев в подбородок.

– Застегнитесь, рядовой. – Пауза. – Объявляю вам наряд вне очереди за неряшливый внешний вид.

Он поворачивается и выходит, цокая подковами. Я стою в варочном зале, среди чада и грохота котлов. Пар застилает глаза, щиплет в ноздрях. Я плачу...

Сердце спотыкалось, заголовки черными пятнами плыли по слепящим полосам. Я отбросил газету – страница, шелестя, сползла со скамейки и легла на землю. Я встал и наугад пошел мимо мертвого фонтана, бесповоротно оставляя за спиной сквер и будку с оплаченной адресной квитанцией. Я шел сквозь муравейник незнакомого города в свое гостиничное убежище; сердце прыгало и сжималось от страха. Из-за любого поворота мог выйти коротышка с презрительным прищуром узнающих глаз, в любую секунду мог окликнуть меня резкий, проникающий под кожу голос – и я вытянулся бы среди улицы, собакой лег бы у его мускулистых ног.

Я опоздал со сведением счетов.

Тухлый кубик рабства навсегда растворился в крови.

1990

Дивизионный хлебозавод находился в стороне от остальных полков гарнизона. Налево от калитки был контрольно-пропускной пункт, но туда никто не шел. Шли прямо – через дорогу, в увитом колючей проволокой заборе была выломана доска. Ее прибивали и тут же выламывали снова. Шли и направо – там через пару минут забор кончился и начиналась самоволка. Рядом с гарнизоном стоял поселок, где жила (а может, живет и сейчас) подруга всех военнослужащих, рыжая Люська.

Но речь не о ней.

– Пора, – сказал старшина Кузин, припечатал кружку к настилу с выпечкой и поднялся.

Жмурясь от слепящего холодного солнца, они выскочили из подсобки и сгруппировались у пекарни, озирая фронт работ.

– Отслужила палаточка, – ностальгически высказался Глиста. (Мама называла его Володей, но в армии имя не прижилось.)

Палатка-пекарня была с одноэтажный дом. Прожженный верх подпирали пыльные столбы света. Через две минуты, выбитая сержантской ногой, упала последняя штанга, и палатка тяжело опустилась на землю.

– Л-ловко мы ее, да?

Рядовой Парамонов захопотал рябоватым лицом, пытаясь улыбнуться всем сразу. Хмурый Шапкин внимательно посмотрел на салагу, Григорьев сплюнул.

– Вперед давай, – выразил общую старослужащую мысль эмоциональный Ахмед. – Парамон гребаный.

Через полчаса старая палатка уже лежала за складом, готовая к списанию, а огромную печь дюжие пекари матюками закатили на пригорок и, обложив колеса кирпичами, уселись на пригреве покурить. Своей очереди теперь дожидались гнилые доски настила и баки из-под воды.

Солнце разогревалось над сопками.

– Значит так, Ахмед. – Старшина Кузин соскочил с печки и прошелся по двору, разминая суставы. – Ты, значит, рули тут, и чтобы к обеду было чисто.

За складом стояла ржавая койка с матрасом, и Кузин лег на нее, укрывшись чьей-то шинелью. Прикрыв веки, он думал о том, что до приказа – считанные дни, а до дембеля – никак не больше месяца; что полковник обещал отпустить первым спецрейсом, и теперь главное, чтобы не сунул палки в колеса капитан Крамарь. С Крамарем Кузин был на ножах еще с осени, когда штабист заказал себе на праздник лососину, а Кузин, на том складе сим-симом сидевший, не дал. Не было уже в природе той лососины: до капитана на складе порыбачили прапора.

Между тем у палатки что-то происходило. Приподнявшись, старшина увидел, как застыл с доской в руках Парамонов. Глядя вниз, сидел на корточках Григорьев, а рядом гоготал Ахмед.

– Гей, Игорь, давай сюда! – Ахмед смеялся, и лицо его светилось радостью бытия. – Скажи Яну – у нас абед мясо будет!

Влажная земля под настилом была источена мышами, и тут же, отвесно, уходила вниз шахта крысиного хода. Кузин откинул шинель и подошел: события такого масштаба редко случались за оградой хлебозавода.

Личный состав собрался на военный совет. Район предстоящих действий подвергся

разведке палкой, но до крысы добраться не удалось.

– М-может, нет ее там? – В голосе Парамонова звучали тревожные нотки; это была тревога за общее дело.

– Куда на хер денется! – отрезал Григорьев. Помолчали. Глиста поднял вверх грязный палец:

– Ахмед! Я придумал...

Ахмед не поверил и посмотрел на Глисту как бы свысока. Но тот продолжал сиять:

– Ребята! Надо залить ее водой!

Генералитет оживился. Шапкин просветлел, Кузин самолично похлопал Глисту по плечу, Ахмед восхищенно выругался. Мат в его устах звучал заклинанием; смысла произносимого он не понимал: говорил, как научили.

Парамонов побежал за водой, следом заторопился длинный как жердь автор идеи.

Из-под ящика выскочила мышка, заметалась пинг-понговым шариком и была затоптана. Этот боевой успех не должен был стать последним: на территорию дивизионного хлебозавода вступил его начальник, лейтенант Плещеев. Лицо его, раз и навсегда сложившись в брезгливую гримасу, ничего более с тех пор не выражало.

– Вот, товарищ лейтенант. Крыса, – доложил старшина, и в голосе его прозвучала озабоченность антисанитарным элементом, проникшим на территорию части. Круг раздвинулся, и Плещеев присел на корточки перед дырой. Посидев так с полминуты, он оглядел присутствующих, и стало ясно, что против крысы теперь не только количество, но и качество.

– Несите воду, – приказал лейтенант.

– Послали уже, – бестактно ляпнул Шапкин. Из-за угла показалась нескладная фигура рядового Парамонова. Руку оттягивало ведро.

– Быстрее давай, Парамон гребаный! – Ахмеда захлестывал азарт. Лейтенанта здесь давно никто не стеснялся. Парамонов ковылял, виновато улыбаясь; у самого финиша его, с полупустым ведром, обошел Глиста.

– Хитер ты, парень, – отметил внимательный старшина.

– Так я чего, Игорь? Ведь хватит воды-то. Не хватит – еще принесу.

Он еще что-то бормотал, но Кузину было не до Глисты – он организовывал засаду.

Минуту спустя Парамонов начал затапливать крысиное метро.

Крыса уже давно чувствовала беду и не ждала ничего хорошего от света, проникшего в ее ходы. Когда свет обрушился на нее водой, крыса поняла, что наверху враг, и ринулась навстречу, потому что ничего и никогда не боялась.

Крик торжества потряс территорию хлебозавода.

Огромная крыса, оскалившись, сидела на дне высокой металлической посуды – мокрая, сильная, обреченная. На крик из палатки, вытирая руки об уже коричневую бельевую рубашку, вышел повар Ян, он же рядовой Лаукштейн. Постоял и, не сказав ни слова, нырнул обратно.

Лейтенант Плещеев смотрел на клацающее зубами, подпрыгивающее животное. Он боялся крысу. Ему было неприятно, что она так хочет жить.

– Кузин, – сказал он, отходя, – после обеда всем оставаться тут.

И калитка запела, провожая лейтенанта.

Спустя несколько минут крыса перестала бросаться на стенки ведра и, задрав морду к небу, застучала зубами. Там, наверху, решалась ее судьба.

Хлебозаводу хотелось зрелищ.

Суд велся без различия чинов. Крысиной смерти надлежало быть максимально мучительной, и перед этой задачей меркли сословные различия.

– Ут-топим, реб-бят, а? Пусть з-захлебнется, – предложил Парамонов.

Предложение было односложно забраковано Шапкиным. Он был молчун, и слово его, простое и недлинное, ценилось. Забраковали расстрел – для этого надо было снова звать лейтенанта. Предложение Григорьева крысу повесить было отвергнуто как предприятие чрезмерно затейливое и с неясным исходом.

Тут Ахмед, все это время громко восхищавшийся зверюгой и тыкавший ей в морду прутом, поднял голову к Кузину, стоявшему поодаль, и, блеснув улыбкой, сказал:

– Жечь.

Приговор был одобрен радостным матерком. Григорьев сам пошел за соляжкой.

Крысу обильно полили горючим, и Кузин бросил Парамонову:

– Бегом за Яном.

Парамонов бросился к палатке, но вылез из нее один.

– Игорек. – Виноватая улыбка приросла к лицу. – Он не хочет. Говорит: работы много...

– Иди, скажи: я приказал, – тихо проговорил Кузин. Ахмед выразился в том смысле, что если не хочет, то и не надо, а крыса ждет. Шапкин парировал, что, мол, ничего подобного, подождет. В паузе Григорьев высказался по национальному вопросу, хотя Лаукштейн был латыш.

Тут из палатки вышел счастливый Парамонов, а за ним и повар-индивидуалист. Пальцы нервно застегивали пуговицу у воротника. Кузин дождался пуговицы и разрешил:

– Давай, Ахмед.

Крыса уже не стучала зубами, а, задрав морду, издавала жалкий и неприятный скрежет. Казалось, она все понимает. Ахмед чиркнул спичкой и дал ей разгореться.

Крыса умерла не сразу. Вываленная из посуды, она еще пробовала ползти, но заваливалась набок, судорожно открывая пасть. Хлебозаводская дворняга, притащенная Ахмедом для поединка с калеккой, упиралась и выла от страха.

Вскоре в палатку, где яростно скреб картошку Лаукштейн, молча вошел Шапкин. Он уселся на настил, заваленный серыми кирпичами хлеба, и начал крутить ручку транзистора. Он делал это целыми днями, а на ночь уносил транзистор с собой, в распоряжение хоззвода. Лежа в душной темноте, он курил сигарету за сигаретой, и светящаяся переключинка полночи ползала по стеклянной панели.

Григорьев метал нож в ворота склада, раз за разом всаживая в дерево тяжелую сталь. Душу его сосала ненависть, и быстрая смерть крысы не утолила ее.

Парамонов оттаскивал в сторону гнилые доски. Нежданный праздник закончился; впереди лежала серая дорога службы, разделенная светлыми вешками завтраков, обедов, ужинов и отбоев.

Глиста укатывал к свалке ржавые баки из-под воды. Его подташнивало от увиденного. Он презирал себя и тайно ненавидел всех, с кем свела его судьба на огороженном пятачке между сопков.

Лейтенант Плещеев, взяв ежедневную дозу, лежал в своем блочно-панельном однокомнатном убежище, презрительно рассматривая обои. Он хотел стать старшим лейтенантом – и бабу.

Старшина Кузин дремал на койке за складом. Его босые ноги укрывала шинель. Приближался обед. Солнце припекало стенку, исцарапанную датами и названиями городов. До приказа оставались считанные дни, а до дембеля – самое большее месяц, потому что

подполковник Градов обещал отпустить первым спецрейсом...

А крысу Ахмед, попинав для верности носком сапога, вынес, держа за хвост, и положил на дорогу, потому что был веселый человек.

1983



# Ветер над плацем

*Ордена Ленина Забайкальскому военному округу посвящается*

Теперь уже трудно сказать, кто первый заметил, что с осин под ноги марширующим посыпались желтые листья. Ходить листья не мешали, но данная пастораль не имела отношения к занятиям строевой подготовкой.

Командир полка отдал приказ, и вторая рота, вооружившись метлами, вышла на борьбу с осенью.

Ночью, идя на проверку караулов, дежурный по части потянул носом горьковатый запах тлеющей листвы. Черный плац отражал небо. Непорядок был устранен.

Но утром навстречу батальонам, шедшим на полковой развод, уже шуршали по асфальту стайки желтых анархистов. Откуда-то налетел ветер, и к концу развода облепленные листвой офицеры, еще пытаясь разобрать обрывки командирской речи, держали фуражки двумя руками. В гуле и шелесте командир открывал рот и сек ладонью воздух, и если не содержание, то общий смысл сказанного до личного состава доходил.

Шло время, полк стыл на плацу; прапорщик Трач, топчась позади взвода, говорил прапорщику Зеленко: «Во погода... Придется отогреться, Колян?» – и попихивал того локтем в бок. «Нечем», – сумрачно отвечал Колян и отворачивался от ветра. Они говорили, а ветер все дул, и листья скачками неслись мимо ротных колонн.

После развода на плацу осталась седьмая рота, чтобы, по здешнему обыкновению, немножко походить строем туда-сюда. Полк опустел, и звуки со стрельбища доносились глуше обычного.

Прошло два часа. Ветер выл, обдирая деревья, а седьмая все ходила, увязая в листве, как в снегу. На исходе третьего часа при развороте «правое плечо вперед» из строя с криком выпал сержант Веденяпин. Он сел на плац, разулся и, встав, запустил в небо оба сапога. Сапоги улетели и не вернулись, а Веденяпин шагнул с плаца и навсегда пропал в листопаде.

Только когда листва начала шуровать в намертво закупоренном помещении штаба, дежурный по части решил наконец послать дневального за командиром полка.

Потом дневальный этот много раз пытался объяснить особистам, как ему удалось заблудиться среди трех домов офицерского состава, но никого не убедил. Отправленный на гауптвахту, дневальный тут же потерял конвоиров и, занесенный листвой по голенища, еще долго стоял посреди гарнизона, как памятник осени.

Не дождавшись командира, дежурный, заранее вспотев, доложил о катаклизме в дивизию, и откуда приказали:

- командира найти;
- строевые занятия прекратить;
- роту вернуть в казармы;
- листопад ликвидировать.

Все было исполнено в точности. Командира обнаружили в собственной квартире, сидящим с циркулем над картами округа; седьмую роту откопали практически без потерь; утрамбованную листву вывезли на грузовике к сопкам и зарыли в яме два на полтора, чтобы больше не видеть ее никогда.

Отличившимся при зарытии было выдано по пятьдесят граммов сухофруктов.

Перед разводом в полк приехал комдив, лично проверил чистоту плаца, дал комполка необходимые распоряжения, касавшиеся восстановления должностного хода службы, – и

убыл.

А ветер дул себе, потому что никаких приказаний в его отношении не поступало.

Беда грянула через два часа: в полк приехал генерал с такой большой звездой на плечах, что караульный сразу упал без сознания. Из штаба ли округа был генерал, из самой ли Москвы – разобрать никто не успел, а спросить не решились. Шурша листвой, генерал вышел на плац, повертел головой на красной короткой шее, спросил, почему на плацу бардак, обозвал личный состав обидным недлинным словом, повернулся и уехал.

Проводив нехорошим взглядом толстую генеральскую машину, командир полка посмотрел под ноги, потом сощурился на небо и увидел в уже неярком его свете: на плац, пританцовывая в воздушных потоках, опускались листья.

Он тяжело поднялся к себе в кабинет, сел за стол, снял фуражку и вызвал комбатов. И уже бежали, тараня плечами ветер, посыльные к ротным, и сержанты строили свои отделения...

Через час личный состав полка, развернувшись побатальонно, схватился с осенью врукопашную. Листья, не желавшие опадать, обрывались вручную; оставшееся ломалось и пилилось. Ритуальные костры задымили в небо над полком. К отбою вместо деревьев, в шеренгу по два, белели по периметру плаца аккуратные пеньки.

С анархией было покончено. Все разошлись. И только новый дежурный по части долго курил, стоя перед пустынным, выметенным асфальтовым полем, словно еще ожидал какого-то подвоха. В казармах гасли огни, над черной плоскостью полкового плаца, ничего не понимая, взлетал и кружился последний неистребленный лист.

В шесть утра молоденький трубач из музвзвода продудел подъем и, засунув ладони подмышки, побежал греться в клуб.

А на плац опускался снег.

1984

Сержант Демин подмигнул дежурному по КПП, козырнул и вышел за ворота. До приказа оставалось семьдесят пять дней, а этот только начинался, и в кармане у Демина грелась законная увольнительная до двадцати трех.

Дорога пошла под уклон, внизу за гарнизонными трехэтажками распахнулся небосвод, как на ладони лежали синеватые сопки, прилепленные к низине поселки со смешными названиями: Степаниха, Коноплянка, Тугач... Он втянул носом теплый воздух и засмеялся. С Катей договорились встретиться вечером, времени впереди уйма...

У поселка на изгибе дороги, блеснув лобовым стеклом, показался серый ЛИАЗ.

Путь до города был недлинным. В кинотеатре крутили «Петровку, 38», и Демин немедленно купил билет на двенадцать. Прикончив второе мороженое, он поднялся с горячей скамейки и подошел к стенду с газетой. «Спартак» на своем поле даром отдал два очка, но это не испортило настроения.

В буфете перед сеансом он взял ситро и вафли. Он не любил ситро, и вафли не любил, но было так приятно не получать пищу в окошке раздачи, а давать деньги, брать мелочь...

Через два часа сержант Демин вышел из зала в самых растрепанных чувствах. «Петровку, 38» он мог бы смотреть без перерыва до самого дембеля. Фильм был замечательный: в нем показывали Москву.

В агентстве «Аэрофлота» былолюдно. Прислонившись к колонне, Демин привычно нашел на табло Москву: туда по-прежнему было четыре рейса в день. Полюбовавшись этим немного, он вышел на улицу и отправился в кафе. Надо было куда-то девать время до вечера...

Детсад, где работала Катя, стоял на окраине. Демин шел вдоль тихих деревянных домов, мимо низеньких скамеечек перед палисадниками. Прохожие встречались редко. Улица, петляя, утыкалась в полотно железной дороги – там громыхали, сцепляясь, вагоны, и с утра до ночи дробился о домишки гулкий женский голос...

Он отнял палец от звонка и в наступившей тишине услышал, как колотится сердце – ровно и быстро.

Тихонько щелкнула щеколда.

– Здравствуй, – сказала Катя. – Ну заходи, заходи...

Когда она закрыла дверь, он привлек ее к себе и поцеловал, удивляясь теплым губам, томящему запаху чистых волос и своему сердцебиению.

Месяц назад человек двадцать из их батальона пришли на вечер в педучилище – вроде как по шефской линии. Кто там над кем шефствовал, так и осталось тайной; после немудреной речи замполита заиграл полковой ансамбль и начались танцы.

Катю Демин заметил сразу. Еле дождавшись медляка, он обругал себя для храбрости последними словами – и пересек выжженное взглядами пространство зала. Они пошли танцевать, а потом остались стоять посреди зала, и Демин вспомнил: на школьных вечерах это время гасили свет.

После отбоя сержанты собрались у каптерки. Деминскую девушку все одобрили; уставший от побед на женском фронте Лешка Цыбин обнял его за плечо и сообщил на всю роту:

– А Демин-то у нас – гляди!

Демин пытался вырваться из цыбинских объятий, но в глубине души был не против скользкой репутации ловеласа. Он гордился сегодняшним приключением и тем, как легко

договорился о свидании.

Они встретились через неделю и целовались в темном зале кинотеатра, а потом стояли в ее парадном и целовались снова. Потом он смог вырваться в увольнение еще только раз, и они маялись у нее на работе, среди детских стульчиков с утятами и жирафиками.

В соседней комнате сидела над конспектами Катина напарница; борясь с дыханием, они простояли в обнимку за пианино до тех пор, пока Демин не понял, что ближайшую неделю может провести на гауптвахте. Но помдеж только кинул выразительный взгляд на часы...

– Катюша...

– Что, Коля?

Они так и стояли, обнявшись.

– Ничего.

– Пусти меня.

– Не хочется. – С ней он чувствовал себя опытным мужчиной.

– Перехочется. – Катя чмокнула его в нос и, ловко выскользнув из рук, открыла дверь в комнату.

Коля вошел следом.

– Здравствуй! – приветствовал его Женя Буков, зажав в руке самосвал. – Ты почему не приходил?

– Я был занят, – честно ответил Демин.

– А-а, – важно протянул Буков. – А теперь не занят?

– Теперь нет. – Коля глянул на Катю; она уже поправляла штанишки хмурому гражданину с зеленкой на колене.

Рядом пела белесая Аня; больше никого не было. – Теперь я свободен.

– Тогда давай играть, – немедленно решил Буков и покатил на сержанта самосвал.

– Давай, – вздохнув, согласился Коля и осторожно присел на детскую табуретку...

Деревья в саду уже начали темнеть, а Катин голос за дверью все рассказывал какую-то бесконечную сказку. «Когда ж они уснут?» – думал Демин, поглядывая на часы. Его била дрожь. Наконец голос стих, и Катя тихонько притворила дверь.

– Идем. – Она взяла Колю за руку и повела по коридору. Они зашли в комнату. Катя хотела зажечь свет, но он не дал, обнял ее и поцеловал в уже закрытые глаза.

– Ты одна сегодня? – спросил он.

– Да, – ответила она.

Они поцеловались, сели на узенькую кровать, потом легли. По стенке и потолку качалась огромная тень дерева.

– Катя, – сказал он.

– Подожди. – Голос ее задрожал, и Демин не сразу понял, что она плачет.

– Ты чего?

– Коленька, – она крепко прижалась к нему, – подожди, не трогай меня.

– Что с тобой? – Он вдруг испугался. Он не понимал, что происходит.

В тишине до них донесся гулкий женский голос со станции. Проехал грузовик, и снова навалилась тишина.

– Катя, – тихо позвал он.

– Коленька, – ее дыхание коснулось щеки, – скажи, кто я тебе?

«Ну вот, – подумал Демин, – приехали».

– Ты мне Катя, – ответил он.

– Скажи... – прилетел к нему шепот из темноты, – у тебя в Москве есть девушка?

– Не знаю, – ответил Демин чистую правду.

– Есть, – выдохнула Катя. – Значит, есть...

Коля поцеловал ее глаза. Он очень хотел, чтобы Катя оказалась права.

– И ты ей будешь рассказывать обо мне?

– Нет.

– Не рассказывай... – попросила она.

– Катюша...

– Не надо, Коленька. Я прошу тебя, не надо. Тяжелая капля досады растворилась в его сердце.

– Не бойся, – сказал он. – Все будет как ты хочешь... Они лежали и целовались, и время текло сквозь них, не касаясь сознания.

– Любимый мой, – услышал Коля легкий шепот и очнулся.

– Катя, – удивленно сказал он. Катя тихонько засмеялась и повторила по слогам. В темноте он нашел ее лицо и прижал к своему.

– Коля, – сказала она, – ты только не уходи сейчас, ладно?

– Я здесь, Катюша, – сказал он. – Я здесь.

Тень дерева качалась по стене и потолку, они лежали обнявшись, и Демину было почти безразлично, который час.

– Ну как? – Они с Цыбиным сидели в полковом буфете, пожирая под молоко булки с изюмом. – Как вчера-то? – Цыбин подмигнул Коле и разломил пополам последнюю булку.

– Нормально, – улыбнулся Коля, пожав плечами.

– М-м... – пропел Лешка набитым ртом. – Так ты ее трахнул?

– Отстань. – Демин оставил на лице улыбку.

– Если не трахнул, дурак, – резюмировал Цыбин. – Девчонка самое то. Молоко будешь?

Обижаться на Лешку не имело смысла.

...Они встретились еще только раз: на улице, случайно. Стоял октябрь, и дембель был на самом носу. Холодный ветер загнал их в кафе. Катя глядела весело, и Демина это неприятно резануло почему-то. Приткнувшись к стойке, он записал на клочке бумаги свой адрес и протянул ей.

– Спасибо, – сказала она и внимательно поглядела ему в глаза.

– Пиши, – сказал он, и сам услышал, как бесцветно прозвучал его голос.

На прощанье Демин хотел поцеловать девушку, но она отстранилась. Через минуту, уходя по вечернему городу, он уже не думал о ней. До Москвы оставались считанные дни, и Демин знал, что главное в его жизни начнется там.

Волынка ожидалась на полдня: взять дедовы вещи с Рязанки, и снова через весь город – к нему в больницу. А я только вернулся из армии и еще не вполне надышался свободой. Каждый московский перекресток потихонечку сдирал с моего сердца неприсохшую корку любовной тоски, но ничего сделать с собой я не мог – позавтракав, уходил из дому и до вечера бродил по улицам.

Свобода была опасным лекарством, но я был намерен увеличивать дозу.

Около полудня я вывалился из набитого трамвая и, одуревая от жары и тополиного пуха, пошел по асфальтовой дорожке через квартал. Я шел и мечтал о компоте. Бабушка готовила отличные компоты: сладкие, даже чуть приторные, но только чуть-чуть.

Я позвонил и немного погодя услышал за дверью знакомое шарканье. Хорошо помню, что разволновался, пока бабушка возилась с замком. Понимаете, она очень торопилась открыть...

Сразу после возвращения я навестил ее и деда и с тех пор ни разу не выбрался. Все-таки чертовски далеко они жили – полтора часа в один конец...

– Женя, здравствуй, – напевно сказала бабушка. – Заходи, заходи...

Я перешагнул порог и поцеловал ее. Для этого пришлось немного нагнуться. Плечо было мягким, щека прохладной.

– Ботинки не снимай.

Я прошел в затененную кухню и, присев на табурет у стола, блаженно привалился к стенке.

– Отдохни немножко, – сказала бабушка. – Сейчас будет обед.

– Баб, я сытый. Вот попить – есть что-нибудь? Просить компота было неловко. Впрочем, бабушкин ответ я знал почти наверняка.

– Сейчас компоту налью. Ты сиди.

Она отошла от плиты к шкафу – там на полке всегда стояла большая кастрюля с черной крышкой, а в ящиках – это я помнил с детства – лежали орехи, конфеты и прочие лакомства. Бабушка была грузной женщиной, но двигалась легко, ловко.

Над столом висела клеенчатая карта мира; я пил компот и глядел на цветные лоскутки в самом мизантропическом настроении.

– Поел бы, – не выдержала бабушка через минуту. – Я борщ сварила. Вкусный борщ, попробуй.

– Бабуль! – Почему я был так раздражен в тот день? – Ну я же сказал: я сыт! Я из дома.

– Ну ладно, ладно... – Бабушка огорчилась и обиделась даже. – Не хочешь, не ешь. Расскажи, как у вас дела.

– Нормально. – Я пожал плечами. – Живем помаленьку.

– Как отец?

– Вроде ничего, – сказал я, проклиная тему, обреченную на общие слова. – Бабуль, да все в порядке. Как ты?

Кажется, вопрос прозвучал не слишком дежурно.

– Ноги болят, – сказала бабушка. Внезапная жалость потекла по моему сердцу.

– Врача вызывала? – спросил я сурово.

– А-а-ай, Женя-а... – Махнув рукой, она повернулась к плите. Тут я услышал радио. Оно бурчало что-то вполголоса и, видно, не первый час. Надо было перевести разговор, но я

ничего не придумал. Бабушка сделала это сама.

– Когда выйдешь на работу?

– Какую работу? – я обрадовался возможности подурачиться. – Кто воевал, имеет право...

Бабушка обернулась, вытирая руки о фартук.

– Женя, ты невозможный человек.

– Бабуль, все в порядке. Время терпит.

– Время терпит...

Знаете, что спрашивала бабушка у отца, когда узнавала о том, что кого-то сняли за воровство или взятки? С подозрением и тревогой, каждый раз:

– Дима, он коммунист?

Бабушку никогда не интересовала должность этого человека и его зарплата.

– Коммунист?

И услышав ответ, качала головой:

– Как же так... Как же так...

Вещи для деда бабушка складывала на тахте и каждую называла вслух, чтобы ничего не забыть. А я сидел в кресле, нетерпеливо листая программу передач.

– Куда он положил свои лезвия, этот человек? – вдруг невесть у кого спросила бабушка, застыв над открытым ящиком шкафа. – Что за несчастье, честное слово...

Я отложил газету.

– Что, бабуль?

– Нету лезвий – что ты будешь делать?..

Я глянул на часы и решил брать процесс в свои руки. Что-то торопило меня, подстегивало, гнало отсюда – вперед, вперед! Мне казалось – я пропущу всю жизнь в этом кресле.

– Остальное – все? – спросил я.

– Все.

– Тогда давай складывать; лезвия куплю по дороге. Бабушка тяжело, с укором посмотрела на меня.

– Женя, ты что, не знаешь деда?

Ну конечно! Дед не стал бы бриться никакими лезвиями, кроме лезвий «Ленинград», закупленных на век вперед и завернутых в носовой платок.

Они обнаружили под какой-то рубашкой.

– Ну, я поеду?

– Езжай, езжай, Женя. Вперед, вперед, скорее...

– Спроси у деда, что еще надо. И скажи, чтобы пил таблетки. Ты же знаешь этот характер...

Я уже стоял у двери, и бабушка гладила меня по плечу.

– Не болей, – сказал я.

– Отцу привет. Погоди.

Бабушка ушла и вернулась с тремя яблоками.

– Бабуль!

– Съешь по дороге. Ай, не спорь! Что за человек...

По дороге от метро я все время искал автомат с газировкой. Других подробностей не

помню; впрочем, нет, – рядом с больницей что-то строилось, пришлось сделать крюк и войти не с главного входа, а сбоку.

Внутри было тихо и прохладно. Я поднялся на второй этаж и остановился перед дверью. Я открыл эту дверь и увидел деда. Дед сидел на кровати у окна и ел яблоко.

Знаете, как дед ел яблоки?

Он брал плод с тарелки, тумбочки или столика, брал неуверенно, словно ощупывая его поверхность; обтирал в руках. Потом доставал старый перочинный нож и разрезал яблоко пополам. Может быть, иногда он делал это обычным столовым ножом, но я хорошо помню почему-то именно перочинный. На тыльной стороне ладони у деда были родинки, а кожа совсем коричневая от старости. Потом он разрезал еще раз и уже из четвертинок яблока аккуратно вырезал сердцевину. И только потом ел.

– Здравствуй, дед.

Дед вздрогнул и поднял голову. Последнее время он не сразу узнавал людей. Глаза его, увеличенные крутыми стеклами очков, глядели удивленно.

– Женя, – констатировал он наконец.

– Это я, дед.

– Здравствуй, Женя.

Он поглядел на двух стариков, соседей по палате, на меня и снова на стариков.

– Это мой внук.

– Здравствуйте, – сказал я.

Прошло три года, и теперь я помню только, что первый был высокого роста, а второй – маленький, с птичьим лицом, сидел, опираясь на палочку. Четвертая постель была пуста.

– Ну, как ты? – бодро начал я.

– Ничего. Это хорошая больница. Все, знаешь, обследовали...

Дед начал перечислять все плюсы пребывания в больнице. Он сидел напротив меня, коренастый и неожиданно маленький, в аккуратной пижаме. На голове и подбородке у него серебрилась легкая щетина.

– Дедуль, вещи куда класть?

– Какие вещи?

– Бабушка передала.

– Ничего мне не надо, – категорически заявил дед и почему-то посмотрел на стариков.

Терять время на такие пустяки было невыносимо.

– Знаешь, – сказал я, – я вот здесь оставлю, а не надо – отец потом заберет.

Но споры с дедом так быстро не заканчивались.

– Зачем это нужно? – Дед громко принялся за объяснение. – Кормят здесь прекрасно, белье дают... И что за женщина, это уму непостижимо!

– Не ругайся, Григорий, – раздалось из угла. – Много – не мало. Оставь.

– И лезвия твои здесь, – вспомнил я.

– Ну ладно. – Дед вдруг смирился, как ребенок. – Лезвия – это ладно.

И потерял к разговору всякий интерес.

– Это старший твой? – Высокий старик все изучал меня со своей постели.

Дед не услышал, пришлось ответить мне.

– Нет, я не старший.

Третий старик все это время сидел вполоборота к нам и молча смотрел, повернув птичью маленькую голову.

Дед продолжал рассказывать о здешнем житье-бытье. С Иваном Матвеевичем они, оказывается, учились в одном институте.



– Только Иван... – дед вдруг поглядел насмешливо, – мальчишка был, а я уже заканчивал. В двадцать девятом!

В двадцать девятом деда выслали из Москвы – и скорее всего, этот самый Иван Матвеевич вместе со всеми голосовал за его исключение из комсомола. Но прошло полвека – и ни тех, ни этих почти не оставило время, и его холодная волна вынесла уцелевших на отмели последних квартирок и больниц...

Открылась дверь, маленькая, с лицом, как из непропеченного теста, женщина вкатила тележку. Остановившись посреди палаты, она сказала: «Обед!» – и, стуча тарелками, стала разносить еду. Старики, напротив, притихли, подобрались. Закончив процедуру, женщина без единого слова укатила тележку, хлопнула дверь – и только тогда маленький старик, опершись на палочку, начал пересаживаться поближе к тумбочке.

Тяжелое молчание осталось висеть в пропитанном хлоркой воздухе палаты.

– Нелюбезная у вас официантка, – попробовал пошутить я.

– Да. – Иван Матвеевич даже не улыбнулся. Дед все еще смотрел на дверь.

– Ты ешь, остынет, – я тихонько тронул его за колено. Потом он рассказывал, как познакомился с Качаловым.

Я слышал эту историю много раз – эту и еще несколько. Деду было что порассказать из своей жизни, но его коронным номером было: как он привел на институтский вечер памяти Есенина – самого Качалова.

Я слушал и задавал вопросы, ответы на которые знал дословно. Это было условием игры, я не хотел нарушать их. Дед уже давно жил прошлым. Из злободневных тем он откликался лишь на футбол, и то вскоре соскакивал на послевоенный ЦДКА – и уж будьте уверены, вспоминал состав полностью!

После смерти деда от его историй осталось только несколько страничек в отцовской записной книжке да кусок магнитной ленты на полминуты – тетка купила магнитофон и проверяла качество записи...

Маленькая женщина опять вкатила в палату тележку и стала собирать тарелки. И опять притихли старики, следя за ее манипуляциями. Что-то враждебное исходило от ее фигуры, от этих быстрых рук, от маленьких глазок на непропеченном лице.

Я прибирался в дедовой тумбочке, когда она закричала на маленького старика – в голос, как хозяйка на приживала.

Старик поднял птичью свою голову.

– Я не могу есть быстрее, – тихо сказал он.

– Забираю тарелку! – кричала женщина. – Три часа, обед закончился, сто раз, что ли, за вами ходить? У меня целый этаж, сколько вам повторять? Не первый раз уже задерживаете...

– Перестаньте кричать! – покраснев, сам закричал вдруг Иван Матвеевич и встал, опираясь о спинку кровати. – Перестаньте на него кричать!

– А вы не вмешивайтесь! – охотно развернулась женщина. – С вами никто не разговаривает!..

Все это происходило здесь явно не впервые. Женщина укатила тележку к двери, и обернувшись, отчеканила, перед тем, как хлопнуть дверь:

– Через пять минут забираю тарелку!

Старик с птичьим лицом сидел, глядя перед собой.

– Э-эх, – простонал вдруг Иван Матвеевич, – э-эх, да что ж такое, а? Что ж такое-е... Ведь мы ж за них, мы... – и замолчал, обхватил белую голову руками, отвернулся.

Дед виновато глядел на меня.

– Видишь, Женя, – оправдываясь за что-то, тихо сказал он, – строгая очень женщина, а Николай Степанович не может быстро есть, вот она и кричит...

Тут я словно очнулся.

– Сейчас, дед, – сказал я и погладил его плечо, – погоди, я сейчас...

– Скажи ей – нельзя так, нельзя! – крикнул мне в спину Иван Матвеевич.

Женщину я нашел на мойке. Она разгружала тележку, привычно грохоча посудой.

– Послушайте... – Голос у меня вдруг сел. – Послушайте, что вы себе позволяете?

Женщина обернулась.

– Чего? – мирно спросила она.

– Почему вы кричите на старого человека? Какое вы имеете право?..

Тут я увидел ее глаза и осекся. Она даже не понимала, о чем идет речь.

– Это старые люди, – сказал я. – Это больные. Этот старик, он имеет право обедать подольше.

Женщина просветлела.

– А ты не вмешивайся, – сказала она, – я же не в первый раз ему говорю; все капризничает. Они же как дети, я тут за девяносто рублей за всеми, что ты?

Маленькие глазки ее требовали сочувствия, и ватное, тяжелое бессилие, навалившись, разжало мои кулаки. Я постоял еще немного и ушел.

Бабушку мы похоронили в сентябре, дед прожил еще несколько месяцев. С тех пор прошло три года, и на кладбище, где они лежат, я прихожу редко. Все-таки Никольское, два часа в один конец... Три года. Тысяча дней.

Но этот летний день, когда я шел в больницу к деду, грызя чуть кисловатые бабушкины яблоки, – этот день маячит передо мной, не отпускает, и в минуты бессонницы, смешивая былое с небылью, стрекочет в моей памяти обрывками немого кино.

...О чем мы говорим с дедом, я уже не слышу, только уходить мне не хочется. Я давно не видел его и понимаю, что увижу не скоро.

За окном проезжает машина, раздаются голоса.

Дед рассказывает что-то, я что-то отвечаю и стараюсь запомнить его получше.

1986

## Памяти С. Бегуна

Мы жили на лавинной станции, в просторном доме, охранявшем ущелье.

Последняя попутка высадила нас у поворота и загромычала вниз, поднимая клубы белой пыли, а мы перекурили, впряглись в рюкзаки и медленно пошли наверх – туда, где темнел аул и светились огоньки станций. Там работали Володиные друзья, и они ждали нашего приезда.

Про тот первый вечер я помню только, что еле доплелся до бани, потом упал на кровать, застеленную свежим бельем, нервно рассмеялся и провалился в сон.

Проснулся я совершенно размякшим, и долго еще лежал в постели, ничего не соображая.

Мы прожили на станции четыре дня. Каждое утро начиналось с осмотра небес, но с гор несло рваные серые облака, и ни о каком выходе наверх не могло быть и речи. Володя по целым дням шуровал на кухне и гонялся за котами, потихоньку жравшими наши запасы. Мы с Ленькой, покрикивая для храбрости, заходили по колено в горную речку и там, вцепившись в валуны, орали уже благим матом. Оля загорала, растянувшись на теплых камнях со старым журналом, и только посмеивалась ехидно. У них с Ленькой было тогда что-то вроде медового месяца.

Вечерами хозяева с большим вкусом обставляли нас в биллиард. Профессия их называлась роскошно: физик снега. Раз в шесть часов кто-нибудь из них, вооружившись щупом, выходил на склон, прикидывая опасность схода лавины. Ежели чего, они расстреливали снег из старой, чуть ли не военных времен зенитки, стоявшей во дворе, и спускали лавину вбок от поселка.

Все остальное время, не считая субботних походов в поселок на блядки, лавинщики – один бородатый, другой сухощавый – играли в биллиард. Они делали это все три года, что жили тут, поэтому ни у меня, ни у Леньки с Володией не было ни одного шанса на победу.

Кроме этих физиков и этого снега, на станции обитало много всяческой фауны. Помимо котов, которых я уже помянул, во дворе имелась черная коза, а к фургону был привязан песик Тутоша. Тутоша был кавказской овчаркой, и когда он рвался с веревки, фургон пошатывало.

Собственно, с Тутоши и началась эта история. На четвертый день с утра Миша – тот, который бородач – уехал на нижнюю станцию, вернулся к обеду и за супом сообщил, усмехаясь, что привез этому чудовищу невесту.

«Невеста» ковыляла по двору, повизгивая и скуля. Тутоша смотрел на нее в полном изумлении, склонив голову набок. Вид у него был совершенно дурацкий.

Оля обняла Леньку за плечи и прижала нос к стеклу.

– Смотри, Клевцов, – сказала она, – какой медвежонок.

Ленька рассмеялся, а Володя мельком поглядел за окно и долил супу. Он не любил отвлекаться от того, что делает.

На следующее утро мы уезжали со станции. «Уезжали», впрочем, громко сказано; уходили. Вышли из дома, нацепили рюкзаки и стали прощаться. Песик уютно зевал на Олиных руках – она прижимала его к груди, как ребенка.

– Оля, – Клевцов тронул ее за локоть, – нам пора. Оля уткнулась носом в шерсть, нагнулась и поставила щенка на землю.

– Ребята, – сказал бородатый, – если хотите – правда, берите с собой.

Длинный Валя молча кивнул за его спиной.

– Мы еще привезем – берите...

– Нет, – решил Ленька, – ну куда нам? Оля глядела умоляюще.

– Нет, – Ленька положил руку на Олино плечо.

– Идем, – сказала Оля и первой пошла к воротам. Мы пожали ребятам руки и отправились вдогонку. Клевцов, прощаясь, виновато дернул плечами.

– Счастливо, – сказал Володя, подтягивая рюкзак.

От калитки Оля помахала хозяевам штормовкой. Они тоже замахали руками, – и тут собачка вдруг взвизгнула, поднялась и быстро заковыляла к нам. Подойдя, она ткнулась в Олины ноги и села рядышком.

Клевцов обреченно вздохнул.

– Ну раз такое дело...

Оля порывисто схватила щенка и прижала его к груди.

– Мы ее берем! – крикнул Володя в сторону дома. И, повернувшись к нам, сказал: – Пошли, ребята, пошли...

Так нас стало пятеро.

Следом за Володей, как обычно, двинулся я, а Клевцов пропустил Олю вперед. Драгоценная ноша дышала ей в шею.

Собачку мы называли Роки. В начале подъема, когда еще были силы шевелить языком, Ленька вспомнил, что тут неподалеку Рокский перевал, и это решило семейный вопрос. К тому же ничего, кроме Жучки, никто взамен не предложил. Роки так Роки.

Скоро стало совсем не до того. Шли мы медленно, Володькин рюкзакище маячил впереди как укор – до темноты надо было спуститься в долину и подойти как можно ближе к шоссе: мы пробирались к морю и надеялись поймать попутку. Грузия встретила нас за скатом перевала туманом, грязными ручьями вдоль тропы и страшной усталостью.

На привале псину вынули из Олиного рюкзака, где она проболталась последний час. Рюкзак был надет спереди, и Ленька сказал: Оля у нас – кенгуру. Никто не засмеялся. Ленька закурил, а Володя вынул из рюкзака термос и отвинтил крышку.

Роки сильно укачало. Привалившись кто к чему, мы смотрели, как несмело ходит она по тропе, и молчали. Выбора у нас теперь уже не было, сил тоже.

Потом Ленька поднес Роки к лужице, и несколько секунд она лакала воду. Напившись, села рядышком, почесала за ухом и вдруг высоко-высоко твякнула. Похоже, несмотря ни на что, жизнь ей нравилась.

Через день, проснувшись на верхней полке в поезде, я увидел море. Все, что было до этого, слилось для меня в сплошную ходьбу под рюкзаком и жуткую мысль, что мы идем по одному и тому же месту и конца этому не будет. Была ночевка у грохотавшей по камням реки и утренняя переправа через нее на случайном бульдозере; был грузовик-попутка, в котором мы обреченно пили русскую водку за Грузию, закусывая теплым мясом и жестким сытным хлебом. Было воздымание рук при прощании, а потом опять попутки, и рейсовые автобусы, и взваливание на плечи опостылевших рюкзаков. И, наконец, вокзал, где местные жители цокали языками на Роки, причем некоторые при этом имели в виду Олю.

Собаченция путешествовала на правах ребенка. Володька исправно мастерил ей овсяную кашку, а наш ужин всегда варился потом. После злополучного перевала Роки скакала по тропе сама, весело воюя с пятками Ленькиных ботинок.

Клевцов чертыхался и даже попытался заняться педагогикой, но силы были неравны: Леньке мешал здоровенный рюкзак и чувство юмора. Роки отбегала, наклоняла башку набок и пыталась зарычать. Зрелище было уморительное.

Вот только поездка Роки переносила плохо: в купе сразу забивалась в угол и выла – громко и высоко, с плохо скрываемым ужасом.

Однажды вечером из соседнего купе появился толстый человек в майке и сказал, чтобы мы перестали мучить собаку. Я испугался, потому что Клевцов и так уже был на взводе, но Ленька сказал: «Уйдите отсюда», – и толстяк ушел. Он оказался очень чутким товарищем.

Собачка выла полночи. Оля плакала. Миска с водой так и осталась нетронутой до утра.

А утром я увидел за окном море, пустые купальни и чаек на пустом пляже. Первое солнце освещало худющую Володькину спину, на нижней полке спала Оля. Рядом с нею, пристроившись у живота, посапывал наш четвероногий ребенок по имени Роки.

Палатку поставили на пляже, ровнехонько между морем и железной дорогой. Володя пыхтел над примусом, мы с Ленькой занимались благоустройством. Роки дрыхла в теничке под здоровенной корягой; Оля, мокрая и счастливая, отжимала на желающих волосы.

– Морие! – распевала она. Именно так: «морие»...

Потом пришел черед собачки. Оля принесла ее, как дите, подмышкой. Роки глядела индифферентно. Черное море не произвело на нее впечатления. Отпущенная в плавание, она без паники добралась до суши, отряхнулась и уселась прямо на линии прибоя. Потом тьякнула и без объявления войны напала на Олину ногу. Только здесь я заметил, что щенок, прямо по Маршаку, успел подрасти. Я вспомнил Тутошу с лавинной станции и подумал, что если через годик Роки захочет поиграть – я пас...

Ночью за пологом палатки распахнулось небо, какое бывает только в августе на юге. Мы долго не ложились, а потом еще дольше не спали, слушая дыхание прибоя и ритмы поездов. Роки всю ночь гуляла по нашим телам, выходила к морю, облаивала загулявшие парочки и возвращалась в палатку – чаще всего по моему лицу. Словом, охраняла нас, как и положено сторожевой собаке.

Наутро обнаружилось, что запасы на исходе, а финансы поют романсы. С тех пор только Роки по-прежнему получала свою миску каши и единственная не была подвержена приступам меланхолии: лезла в репейник, скакала по пляжу, тьякала в свое удовольствие на проходящих – обыкновенный здоровый ребенок...

В последний вечер мы с Володькой сидели на теплых камнях, рядышком стояли обнявшись Оля с Клевцовым. Море покачивалось у самых ног. У палатки пела цикада. За ее голову когда-то был обещан доппаек, но в тот вечер спать никому не хотелось.

По-моему, все мы были счастливы тогда.

У самой кромки горизонта почти незаметно для глаза двигался пароход. Он казался подсвеченной игрушкой, изящной и невесомой.

– Ну что, Роки? – Оля взяла ее на руки и прикоснулась носом к холодному носу собаки. – Хочешь в Москву?

Роки промолчала.

Последние сутки перед поездом мы прожили в привокзальном сквере в Туапсе.

Денег на камеру хранения уже не было, последний рубль честно четвертован, а рюкзаки намертво связаны за лямки и безо всякой охраны оставлены у скамеек.

Роки обошла свои новые владения и быстро заработала куриное крылышко.

– Ей это можно? – нараспев спросила у меня пожилая украинка. Я чуть было не ответил, что это можно и мне. Поев, мохнатая вымогательница улеглась в теничке у рюкзаков.

Надо было убить время до поезда; Оля с Ленькой ушли прокучивать свои пятьдесят копеек, а мы с Володькой уселись за доску. Вообще-то я играю сильнее, но тут он, как говорится, уперся, и дело шло к ничьей. Мы даже не сразу слышали, что нас зовут.

Что-то толкнуло меня в сердце. Я посмотрел вниз – Роки у рюкзаков не было. Тут Володя рванул куда-то вбок, и я увидел собаку: она возилась на тротуаре, в полуметре от идущих

машин.

Схватив Роки, Володя, ни слова не говоря, принес ее на место и привязал страховочной веревкой к рюкзаку.

– Спасибо, – негромко сказал я украинке.

Рядом, чертыхнувшись, опустился на скамейку Володя. Партию доигрывать не стали.

Полчаса Роки надрывалась изо всех силенок. Она забиралась на бордюр, в голос скулила, прыгивала вниз и падала, натягивая веревку. Мы поднимали ее наверх, и все повторялось снова. Роки падала и выла – в ужасе перед неволей, заглянувшей в ее круглые глаза.

И снова, как тогда в поезде, со всех сторон сбежались защитники животных – одних детишек было человек шесть, они плакали, умоляли мам заступиться, и я думал, что сам умру раньше Роки. Володька выглядел спокойным, но скулы у него порозовели.

Потом собака легла на землю и замерла. Володька отвязал ее, а я взял на руки. Сердце у Роки стучало часто-часто и очень сильно. Она не реагировала на поглаживания и даже не скулила – только вздымалась и опускалась, вздымалась и опускалась грудь.

– Ничего, Роки, ничего... – повторял я, как заведенный. С чужой неволей тоже бывает трудно смириться.

В Москве на Курском вокзале я сделал последний снимок: Володя, Оля с Ленькой и собачка. В метро мы пожали друг другу руки и лапы, расцеловались и разъехались по домам.

Роки украли на следующий день – на почте, пока Оля отсылала какой-то перевод.

Клевцов сказал мне об этом по телефону.

– Сволочи, – сказал я после паузы.

– Как Олька? – спросил я потом.

– Да-а... – мне показалось, что Ленька – там, на другом конце города – махнул рукой. – Что Олька? Ревет...

С тех пор прошло полтора года.

Володька, как обещал ребятам-лавинщикам, зимой уехал работать на станцию – весной прилетал в Москву, приглашал к себе, но ничего не вышло: женюсь. Ленька с Олей развелись; иногда я встречаюсь с ними, но уже поодиночке, и о том лете стараюсь не напоминать.

Где сейчас Роки, не знаю. Наверно, сторожит чью-нибудь дачу. Если у кого дача – лучше кавказской овчарки сторожа не найдешь.

1986

# Принципиальная схема

*Виктору Павловичу Юхновскому*

В институт Илюша не поступил из-за тройки за сочинение. Мыслей у него оказалось больше, чем нужно для приличной оценки.

Расстраиваться не было времени: его юную жизнь ждали великие дела. Илюша хотел бы валить тайгу, исследовать галактики или ходить по горным кручам с рюкзаком, набитым полезными обществу ископаемыми, но тайга и кручи были далеко, галактики вообще черт знает где, а в соседнем доме обитал НИИ с двухметровым названием, куда Илюша и устроился до армии – чертежником-конструктором, на 65 рублей.

Приходя на час позже остальных (он был очень молод, и недюжинное его здоровье охранялось законодательством), Илюша быстро надевал белый халат и вставал к кульману. Из-за соседних кульманов на него одобрительно смотрели женщины, прочертившие здесь полжизни и получавшие за это гораздо больше Илюши – рублей по сто десять.

По черчению у Илюши была когда-то твердая четверка, он хорошо это помнил.

Через час возле сопящего от усердия новобранца останавливался одышливый начальник отдела, товарищ Седых Иван Пантелеймонович – и начинал рассматривать Илюшины фантазии на темы ГОСТа.

Под маской чертежника четвертого разряда таился самый разнузданный абстракционист. Диоды и транзисторы то лепились друг к дружке, сграбастанные невидимой лапищей, то разлетались кто куда, образуя на ватмане загадочный вакуум; шрифт валился сразу во все стороны, а параллельные пересекались не в бесконечности, как им полагалось, а здесь же, на листе. Прямыми углами Илюша НИИ не баловал – самое большее градусов восемьдесят.

– Так, – придя в себя, мягко говорил Седых. – Уже лучше. Намного лучше, Илья. Но никуда не годится.

Свернутый в трубу лист летел в корзину, а на кульмане появлялся новый.

– Ты не торопись, – говорил Седых. – Это же принципиальная схема! Все должно быть чистенько.

Тут пора открыть одну государственную тайну. В НИИ Илюше, несмотря на его молодость, доверили делать документацию к очень серьезному прибору – девять чертежей, один другого важнее. Он понимал, что страна без прибора не может, очень старался и килограммами изводил ватман. Скоро нижняя Илюшина губа вздулась от постоянного прикусывания, и настал день, когда он обнаружил, что начерчено хорошо, совсем чистенько начерчено, но блоки перепутаны местами. Тогда Илюша убежал в туалет и там заревел, размазывая слезы грязным платком и окончательно понимая, какой он никчемный и несчастный человек...

За серым прямоугольником окна истекал дождями октябрь, отдел пил чай за угловым кульманом, чтобы не застукали пожарники, старенькая Любовь Михайловна тоненько затачивала карандаши и, не глядя на Илюшу, рассказывала, как у нее сначала тоже ничего не получалось... Танечка, волновавшая Илюшу до полной немоты, заваривала ему чай в бумажном пакетике на ниточке и подвигала общественные пирожки с рисом.

Потом наступила зима. В морозной тьме Илюша торопливо скрипел от дома к проходной – он торопился не из-за холода, он спешил переодеться и встать к кульману. Первый чертеж, дитя осенних мук, уже лежал в столе, чистый, как совесть, и в правом нижнем углу его была аккуратно вписана небанальная Илюшина фамилия.

Одышливый начальник отдела, останавливаясь у кульмана возле окна, теперь удовлетворенно попыхивал губами, говорил:

– Угу, угу... – и делал одно-два замечания, не больше.

Илюша при этом уже не краснел, а наоборот – расправлял плечи, кивал и небрежно прорисовывал какой-нибудь контур. Любовь Михайловна громко хвалила его Танечке и Валечке и между чаями показывала, как делать, чтобы линия шла тоненько и ровненько, как ниточка.

Недели пролетали белыми птицами, приближая день сдачи документации прибора, скрытого от мирового империализма таинственным шифром КС-22.

– Давай, давай, Илюша, – серьезно говорил Седых. – Никольский ждет чертежей.

Никольский был завлаб, лауреат и, по общему признанию, гений.

Илюша боялся спросить о сроках работы и понимал происходящее так, что в цепочке, завершающейся полной победой коммунистического труда, точно посередине находится завлаб и гений Никольский со своим прибором, а в самом-самом начале – он, Илюша, с девятью чертежами, и народы мира ждут его, переминаясь, как бегуны в эстафете.

После зимы, как и предполагалось, наступила весна.

За угловым кульманом по-прежнему посвистывал чайник, но Илюша, на удивление женского коллектива, мотал головой и оставался у своего рабочего места. Теперь даже с обеденных перерывов он возвращался раньше остальных.

За окном текли ручьи, и дворничиха в распахнутом ватнике огромной плоской лопатой сгребала куски черного снега. Потом высох асфальт, подернулся зеленым дымком скверик перед проходной, и в эти дни восьмой лист аккуратно перешел с кульмана в стол. Потом солнце начало печь сквозь стекло... Илюша, вдохновенный, как Господь Бог в шестой день, в поте лица своего трудился над последним листом. Кое-какие мелочи он специально оставил на после праздников, на сладкое: красиво вписать шифр и фамилию...

– Молодец, – сказал Седых, глядя на молодого чертежника, подтиравшего несуществующее пятнышко. – Молодец! Ты все проверил? Не возвратят?

– Полный порядок, – заверил Илюша, смахивая с ватмана крошки ластика, и улыбнулся: он был уверен в каждой буковке – да что там! – он мог по памяти нарисовать все девять чертежей, включая принципиальную схему.

– Тогда вперед, – улыбнулся в ответ Седых. – Направо по коридору, сто пятая комната. Его зовут Вениамин Сергеевич. Не забудешь?

Уголки большого Илюшиного рта неудержимо потянуло к оттопыренным ушам.

– Направо по коридору, сто пятая, Вениамин Сергеевич!

В пять секунд Илюша пролетел по узкому коридору и, унимая сердцебиение, постучал в дверь.

Всклоченный лысеющий человек в синем халате на майку нависал, скрючившись, над плечом костлявого бородача. Бородач, в свою очередь, нависал над какой-то квадратной штуковиной и ковырял в ней паяльником. Другой бородач сноровисто пилил прямо на подоконнике нечто металлическое. В комнате царил хаос, пахло жженой изоляцией, канифолью и сотворением мира.

Юношу с аккуратной вагманской трубкой в руках никто из присутствующих не заметил, и он вежливо кашлянул от дверей в потный от волнения кулак.

– Чего? – отрывисто спросил лысеющий, повернув к двери изможденное лицо. Вениамин Сергеевич Никольский не любил, когда его отвлекали.

– Вот, – торжественно сказал юноша и протянул вперед руку с чертежами. – Принес.



– Что там такое? – пробормотал Никольский, подскочил к Илюше и, выхватив трубку, начал нетерпеливо сдирать с нее голубую ленту. Ленту Илюша специально принес из дома, для пущей красоты. – Понавязали, черт знает что такое!

Не совладав с узлом, Вениамин Сергеевич попросту отогнул угол верхнего чертежа и, надорвав ватман, заглянул в шифр. Бородач с паяльником перестал паять и поднял на гения-завлаба прозрачные глаза.

– Чего там?

– Да ничего, – ответил завлаб. – Ка-эс нарисовали наконец.

Бородач с напильником почему-то захохотал.

– Ты небось рисовал? – любопытствовал бородач с паяльником, с нескрываемым интересом рассматривая Илюшу.

– Я, – зардевшись, скромно ответил тот и протянул руку к заветной трубке, дабы помочь гению с развязкой ленточки. – Тут девять чертежей. Принципиальная схема, общий вид...

– Ну да, да, – поморщившись, прервал Никольский и нервно поскреб шею. – Леш, где у нас все по Ка-эсу?

Тот, который с напильником, поднял брови домиком и пожал плечами.

– Пес его знает, Сергеич. Это ж сколько лет прошло! Там где-нибудь...

И он возвел очи к потолку. Илюша, холодея, проследил за его взглядом.

На забитых железом стеллажах, под самым потолком, громоздился пыльный, многопудовый, ежеминутно грозящий обвалом склад документации.

Но люди, работавшие здесь, ничего не боялись.

– Ага, – бодро сказал Никольский. – Чудненько, чудненько!

Сказавши это, гений-завлаб вдруг отвратительным козлетоном пропел: «Отойди, не гляди, скройся с глаз ты моих», развернулся и отработанным движением жонглера запустил чертежи вверх. Описав гигантскую параболу, они воткнулись точнехонько между двух таких же ватманских труб и навсегда успокоились там, на высоте вечных снегов.

– Тэк-с! – крикнул Вениамин Сергеевич, очень довольный броском. – Отлично. Отлично!

Он потер руки, и через секунду феноменальный, поперечно прикрытый последними волосами череп его снова завис над плечом бородача с паяльником.

А который был с напильником, опять запилил: вжик-вжик, вжик-вжик...

Илюша стоял посреди комнаты с открытым ртом; пальцы его сжимали голубую ленточку. Как кружевной платочек возлюбленной, разрезанной на кусочки стаей трамваев.

– Мне можно идти? – спросил он через полминуты.

– Конечно-конечно, – не выныривая из технических глубин, отозвался завлаб, а тот, что с напильником, перестал пилить и посмотрел удивленно: он еще здесь?

Илюша ватной рукой прикрыл дверь с той стороны. У Доски Почета дымили в три рта. Из одного – густо напмаженного – вместе с дымом вырывался наружу колоратурный смех. Илюша подошел к урне и разжал пальцы. Когда голубая ленточка, крутясь, исчезла в дырке, он туда же плюнул и по бесконечному коридору поплелся в отдел.

Впереди его ждала большая трудовая жизнь.

# «Пора, брат, пора...»

Дерюгин открыл дверь и сказал:

– Пожалуйста, заходите!

В коридоре вдоль стен стояли с десяток девочек самых разных мастей и размеров, несколько мам-бабушек и мальчишка. Этот был напуган больше всех.

– Давайте уж все сразу, – сказал Дерюгин и привычно улыбнулся в пространство. – Нет, извините, родителей мы не пускаем...

Впустив последнюю девчушку, он закрыл дверь, опустил в кресло и поднял глаза. В большом окне за ребячьими головами падали листья. Они падали в этом окне уже неделю, и в самые тоскливые минуты Дерюгин, давая себе передышку, позволял душе отвлечься на их плавный полет.

– Здравствуйте, – сказал он и загнал зевок обратно в легкие. Это была уже четвертая группа за день. – Давайте знакомиться. Меня зовут Александр Львович. Пожалуйста, по порядку – имя, фамилию и класс...

Первой слева сидела Ира Капустина из шестого «А». Обеими руками Капустина сжимала измусоленную книжку, на круглом – почти идеально круглом – лице застыло выражение ужаса.

Ее вид настроения Дерюгину не поднял.

– Букву можно не называть, – сурово произнес он и обвел глазами присутствующих. Капустина аж съежилась.

«О господи», – подумал Дерюгин, предвкушая ее чтение, и снова – десяти дней еще не прошло – с привычной уже тоской вспомнил вечерний пляж, длинные золотистые тени на песке, море покачивается, музыка доносится из ресторана, – вспомнил и поморщился, мотнул головой даже.

– Дальше!

– Евтифьева Наташа, седьмой «Б»!

– Бук-вы не на-до.

Дерюгин марал бумагу, медленно зверея.

– Смирнова Настя, шестой!

– Шес-той...

Надо было начинать. Дерюгин еще раз обвел жирную шестерку и провел под ней черту. Потом отложил ручку, обреченно поднял глаза на Капустину и сделал широкий жест на середину комнаты:

– Прошу!

Капустина прочитала «Парус». Ничего нового из ее выступления Дерюгин не узнал, и чего тому парусу неймется, так и не понял. Радостно сообщив последнюю строчку, Капустина посмотрела с чувством исполненного долга: дескать, все!

Дерюгин разозлился.

– Спасибо, – стараясь следить за интонацией, сказал он. – Теперь вы – курица.

– Я? – ужаснулась Капустина.

– Вы, – участливо подтвердил Дерюгин.

– Я не могу, – сказала Капустина и густо покраснела от мысли, что она – курица.

– А вы попробуйте, – перекрывая хихиканье, посоветовал Дерюгин, уже давно знавший, что она не может.

Капустина оглянулась, ища поддержки.

– Ну?!

– Кудах-тах-тах, – вздрогнув, сказала Капустина и неуверенно сделала полными ручками вверх-вниз.

– Спасибо, – вздохнул Дерюгин, – садитесь.

Капустина отправилась к своему стулу с сияющим лицом: понимала, что легко отделалась. Могли сказать, что она дождевой червяк. Или жаба.

«Уйду, – глядя, как усаживается толстушка, решил вдруг Дерюгин. – К чертовой матери! Хватит с меня».

На душе вдруг стало легко. Он новыми глазами оглядел сидящих – десять девочек и мальчика – посмотрел в листок, потом на соседку Капустиной, девочку с узким лисьим личиком, и весело пригласил:

– Пожалуйста, Наташа.

Наташа Евтифьева вышла на середину, уперлась взглядом в стеллаж над дверью, набрала побольше воздуха и крикнула:

– Сижу за решеткой в темнице сырой!

Дерюгину сразу похужело. Голос у Евтифьевой был специальный: голос для митингов. Такими хорошо пугать империалистов.

– Стоп! – сказал он. – Это кто – вы сидите?

– Нет, – призналась Евтифьева, поглядев на него с подозрением.

– А кто? – заинтересовался Дерюгин.

– Узник, – хмуро разъяснила Евтифьева и поглядела еще подозрительнее.

– Стишок-то чей? – Дерюгин был само терпенье.

– Пушкина.

– Вот! – обрадовался Дерюгин. – Значит – Пушкин. Александр Сергеевич. Стихотворение «Узник». Теперь понятно.

Сарказм распирал его. Чужая бездарность странным образом улучшала настроение. «Остановлю на второй строфе», – решил он.

Голос Евтифьевой быстро набрал расчетную высоту. Содержание «Узника» с самого начала показалось Дерюгину подозрительным: получалось у чтицы, что некий молодой орел сидит за решеткой, а какой-то грустный товарищ клюет под окном кровавую пищу.

«Уйду, – весело думал Дерюгин, – Мы вольные птицы – пора, брат, пора...»

Через пару строк он Евтифьеву остановил и для очистки совести попросил басню. Басни Евтифьева не знала и насупилась.

– Ну, садитесь, – добродушно сказал Дерюгин. Он вдруг вспомнил, что вечером по телевизору футбол со «Спартак», и обрадовался: «Спартак» играл хорошо, а главное – вечер заполнялся, и не маячила в нем сосущая душу пустота, вечный реквизит неудачника...

– Прошу! – сказал он.

Районный дом пионеров располагался в старом особняке с крутыми лестницами; окна его выходили в небольшой сквер, где на облупленных грязно-белых скамейках коротали дни женщины с книжками, колясками и вязаньем, процеживали время одинокие старухи...

Копя обиду на судьбу, Дерюгин работал здесь третий год.

...Листья падали сплошным потоком; с того места, где он сидел, не было видно ни неба, ни земли – листья появлялись из-за верхней кромки окна и исчезали за нижней; иногда порыв ветра срывал ветку, и она пролетала вниз, обгоняя мерное, невесомое, завораживающее течение.

Дерюгин заставил себя собраться и вызвал Катю Горбушкину, восьмой класс.

Дело шло к концу. За последние двадцать минут дерюгинский слух обласкали еще два «Паруса», два «Узника» и тютчевское «Люблю грозу...» без последней строфы (ветреную Гебу и Зевесова орла казнили составители хрестоматии). Дерюгин держался из последних сил.

Катя Горбушкина читала «с выражением». Какой-то доброхот уже научил ее нужным жестам и завыванию на драматических местах. «Боже мой, – думал Дерюгин, глядя, как, покачиваясь, падают за девочкиной спиной листья, – боже мой, кого ты читаешь, откуда вы выкапываете этих поэтов ("Чьи это стихи, Катя?"), а-а, понятно, уходить, уходить отсюда ("Достаточно, басню"), вот это другое дело, дедушку Крылова я послушаю, молодец, Катя, а ты симпатичная, оказывается, ну, ничего, с кем не бывает, давай вспоминай скорее, что там приключилось с вороной; знаешь, Катя, ты, конечно, не ахти, но тебя я в кружок запишу, тебя и вот этого Колю – тебя за то, что симпатичная, а Колю за то, что мальчик: с мальчиками, Катя, тут совсем плохо...»

– Достаточно, садитесь.

В наследство от прежнего руководителя Дерюгину досталась пьеска из псевдопионерской жизни и две недоброкачественные сказки. Мальчики в кружок не шли, девочки ничем, кроме дисциплинированности, не радовали. Мельпомена в упор не видела Дерюгина, и, подергавшись, он махнул на все рукой. Наступала осень, и, живя ожиданием неведомых перемен в судьбе, Дерюгин раскидывал на своих пионеров новый шедевр о дружбе и верности; боясь наткнуться на лица однокурсников, листал «Советский экран» и морщился, как от зубной боли, когда его хвалили на педсоветах за наполняемость групп.

Странной была его работа, но тоскливей всего он чувствовал себя в эти первые дни сентября, раз за разом слушая в комнате с огромными окнами «Узника» и «Парус», когда падали за двойными стеклами листья, потрескивала люминесцентная лампа, и особенно очевидным становилось, что жизнь проходит, проходит бездарно, нелепо – и переиграть в ней ничего нельзя.

Дерюгин посмотрел на часы: начало седьмого, а еще сдавать данные за день, нести ключи на вахту, и какая-нибудь мамаша обязательно остановит выяснить, почему не взяли дочку, – она так мечтает о театре, в школе играет сценки, а теперь из-за Дерюгина будет плакать, зачем он ломает девочке жизнь?..

– Что читать? – выйдя на середину, спросила Юля Полесина, пятый класс. Ушки-паруса, нос-картошка. «Ничего не читать», – поймал в горле Дерюгин, а сказал, еле заметно пожав плечами:

– Что хочешь.

– Кедрин, – подумав секунду, объявила девочка. – «Приглашение на дачу».

«Надо же», – успел удивиться Дерюгин...

– Итак, приезжайте к нам завтра, не позже! – пригласила его девочка и улыбнулась, как старому знакомому. – У нас васильки собирай хоть охапкой...

И раньше, чем что-нибудь понять, он почувствовал, что улыбается в ответ этой смешной пятикласснице. Комната и окно с осенью ушли куда-то, Дерюгин увидел вдруг и дачный лес, и грибной июльский дождик, очутился там, внутри светлой кедринской строчки, услышал гром, вдохнул промытый грозой утренний воздух – и засмеялся.

Девочка замолчала, сморщила носик и, чуть наклонив голову, лукаво и внимательно посмотрела на Дерюгина.

– Дальше, дальше! – крикнул он и замахал руками. Девочка кивнула.

Она стояла у подоконника, большеглазая, некрасивая, распрямленная какой-то тайной

пружинкой, устремленная куда-то, куда ему, Дерюгину, уже вовек не дойти, никогда не дойти, никогда. И от этого годами копившаяся горечь хлынула в его душу, подступила к горлу, заволокла взгляд.

Девочка стояла на фоне листопада, ждала.

«Ну что же, – непонятно о чем подумал Дерюгин, – значит, так... И никто тут не виноват».

– Спасибо, Юля, – сказал он. – Спасибо, садись.

Последней в этот день выступила Настя Смирнова.

Настя прочитала стихотворение «Узник».

*1986*

# Сливы для дочки

После дежурства – Еремин сторожил театр – надо было опять ехать на рынок.

С неба после суток дождя еще сеялась водица; июль, подумал Еремин, а лета нет. Троллейбус не шел, и настроение было поганое. В голове занозой сидели деньги: до конца сентября должно было капнуть два раза по тридцатке, но все съедал рынок, а впереди маячил ремонт. Говоря прямо, Еремин вылетал в трубу.

В довершение всех бед куда-то запропастился проездной билет, и теперь Еремин, свирепея, без конца кидал пятаки – ездить приходилось много. Это, с единым, раздражало особенно.

Из-за поворота выполз троллейбус, остановился посреди лужи и раскрыл двери – влезай как хочешь. Еремин, все проклиная, угнезвился в чьей-то подмышке.

А еще раздражали всякие мелочи – в последний год мелочи эти таежной мошкой одолевали ереминскую жизнь, хоть стреляйся. Вот и сегодня должен был он что-то еще сделать, какая-то была епитимья, кроме рынка – не баллоны, баллоны он заправлял в прошлый раз, но что? А вот черт его знает, что, и вспомнится, конечно, только в электричке. Сколько раз заводил он ежедневник – и бросал, забывал вести, и вились над ним мелочи, не давая продохнуть. Эх, мечтал придавленный к дверям Еремин, недельку бы другую пожить стерильно, в мире идей...

Вкрадчивый женский голос попросил граждан приготовить билетики.

В груди у Еремина похолодело: взять билет он забыл. Вокруг зашевелились; контролерша – нехудая дама с черной сумочкой на руке, запеленговав Еремина, уже впиалась охотничьим взглядом в его лицо.

– У меня нет билета, – сказал он голосом, полным безнадежного достоинства. Безнадежности, впрочем, было больше.

Несмотря на чистосердечное признание, дама немедленно схватила Еремина за рукав у локтя.

– Я не собираюсь убегать, – сказал он, чуть усмехнувшись. Он хотел понравиться публике, жадно наблюдавшей этот трехрублевый фарс. – Пустите руку.

– Скорый какой, – громко объявила контролерша, тоже стараясь понравиться публике и недвусмысленно намекая на ереминскую близость к двери. – Платите штраф!

– Послушайте, – раздражаясь, возразил Еремин, со стыдом чувствуя, как непоправимо смешон в эту секунду, но не имея уже сил остановиться – так глупо было отдавать трешку ни за что ни про что этой вот тетке, – послушайте, я потерял единый, честное слово, у меня был единый билет...

– Платите-платите, – оборвала контролерша и усмехнулась. – Потерял он...

– Да, потерял! – взорвался Еремин. – И пустите руку, вы что?

Контролерша держала уже не за рукав, а за мясо – убежать теперь можно было, только оставив ей на память трицепс.

– Люда! – пронзительно крикнула дама. – Скажи, пусть заднюю не открывает!

– Гос-споди... – простонал Еремин, предчувствуя падающий на его лысеющую голову гнев народный, – гос-спо-ди, да что же за...

И, раздирая кошелек, выдохнул:

– Нате, нате вам вашу трешку!

– А вы на меня не кричите, гражданин, – победно пропела дама, отрывая квитанцию. И, распираемая собственной правотой, с наслаждением добавила: – Не взяли билет, надо платить

штраф, а кричать не надо. Люда! Пусть открывает заднюю.

Обратно в троллейбус Еремин не вошел; полыхая щеками, зашагал вниз по бульвару, а контролерши остались стоять на остановке – врозь, соблюдая конспирацию. Еремин хотел крикнуть им на прощанье что-нибудь обидное, но ничего не придумал, махнул рукой. Три рубля! И рука болит. Да черт с ней, с рукой, но трешка – шутка ли? Килограмм кабачков – или полкило слив, вон их как дочка уплетает... Что за жизнь, а?

У входа на рынок Еремин вступил в лужу, и это внезапно принесло ему какое-то злобное облегчение: уж пить чашу страданий, так до дна!

Сливы стоили уже девять рублей.

Сверкающий улыбкой сливовый князь нежно приподнял волосатыми пальцами иссиня-черный плод: красавцы, продавал за десять, но Еремину – только ему – уступит за восемь. Кило, два?

– Подождите... – пробормотал Еремин, ретируясь. Он прошел вдоль ряда – в одном месте сливы стоили семь, но вид был не тот.

– Дайте попробовать, – попросил все же Еремин. Сливы оказались кисловатыми, да и хозяйка их смотрела несладко: хочешь – бери, не хочешь – не мозоль глаза.

– Спасибо, – выдавил Еремин и нарочито прогулочным шагом направился к тому, первому. Стыдно экономить на дочке, уговаривал он себя. Но восемь рублей!..

– Дайте-ка попробовать.

Сливовый князь смотрел со спокойной жалостью.

– А, проходи, да?

– Почему? – опешил Еремин.

– Ты не покупатель, – лаконично разъяснил князь и улыбнулся.

– Как хотите, – по-детски обиделся Еремин – и страшно вдруг разозлился: на себя, на князя, на отдел труда и заработной платы, на весь свет!

– Шестьсот граммов взвесьте! – сурово потребовал он, повернувшись к пареньку, торговавшему возле.

Паренек лучезарно улыбнулся, сноровисто положил на весы огромный лист бумаги и бросил сверху две сизые пригоршни. Стрелка нервно и неуловимо замоталась по шкале.

– Ай, давай на пять! – весело крикнул паренек, словно приглашая Еремина покутить с ним на пару, кинул на тарелочку еще одну сливину и подхватил бумагу с весов. Вся процедура заняла у юного иллюзиониста несколько секунд. Еще через несколько секунд Еремин запихивал в кошелек сдачу, понимая, что его опять надули.

Кто-то тронул за локоть.

– Сынок...

Старушка стояла у плеча – платок, пальтишко, рейтузы, красные стоптанные тапочки на птичьих ногах. Похожая на детскую ладошка ее была сложена горсточкой.

– Дай сколько-нибудь, сынок.

Еремин не сразу понял, что у него просят подаяния. А когда понял, похолодел еще больше, чем тогда, в троллейбусе.

– Что же вы так-то, а? – с тоской выдохнул он, пряча глаза, а пальцы уже перебирали в тесном отделении мелочь; выскользнула и, звеня, покатилась к прилавку монетка. Сколько дать, мучительно соображал Еремин, сколько, полтинник? И тут же вползло в мозг готовое на случай: вот, собираются, потом в рестораны ходят...

Еремин оставил в пальцах двугривенный, и вздохнул, и укоризненно качнул головой, и прицокнул даже – вечно страдаешь из-за собственной доверчивости! Короткий всхлип пронзил его.

Еремин, повернувшись, увидел затравленные глаза, увеличенные крутыми стеклами очков, сморщенные ребеночки ручки.

– Не кори ты меня, сынок. Не давай ничего, только не кори-и-и...

Старушка зарыдала, уткнувшись в ладони-горсточки, завывала тихо и безнадежно.

– Вы что... Ну не надо. Не надо плакать, – испугался Еремин, и умоляюще коснулся маленького плеча, и огляделся.

В глазах паренька за прилавком светился интерес юнната, изучающего жизнь низших. Сливовый князь, возвышаясь над товаром, смотрел мимо. Он ждал покупателя. Непокупатели его не интересовали.

– Не плачьте, – тихо и упрямо попросил Еремин. – Ну не плачьте, пожалуйста.

1987





– Ну почему я?

Дима Алямов заглянул в гладкое лицо Савельева, уже понимая: попался. И надо же было ему остановиться у этой стенгазеты! Шел бы сейчас домой по мягкому предновогоднему снегу и горя не знал... Но ничего изменить было уже нельзя, и оставался только этот беспомощный вопрос:

– Почему я?

– Ты у нас человек свободный, вот и будет тебе комсомольское поручение, – вальяжный Савельев развел руками: дескать, извини, дружба дружбой... – Сбор здесь, в десять утра. На собрании отчитаешься. – И ушел.

Только в метро Алямов сообразил, что мог придумать какие-нибудь семейные обстоятельства и преспокойно отбояриться. «А, черт! – Он снял шапку и зло стряхнул снег на эскалатор. – Целый день коту под хвост».

И конечно, вернутся они из этого детдома, или как он там называется, бог знает когда, и доставать колбасу придется в последний момент, и заехать к теще не успеют, и Настя будет дуться, и во всем будет виноват он, Дима Алямов, с его умением напороться на общественную работу тридцатого декабря и ехать хлебать детдомовского киселя, да не за семь верст, а подальше, часа два по Можайскому шоссе, будьте покойны...

«Шефский сектор, черт тебя дери, – раздраженно думал Дима, вспоминая освобожденного секретаря. – Вот сам бы и ехал, шефский сектор...»

В десять утра автобуса у институтских дверей не было, а возле коробок с игрушками стояла на снегу молодая женщина, совершенно Диме не знакомая.

– Вы Алямов? – улыбнувшись, спросила она, даже не спросила, а констатировала, словно это и так яснее ясного.

– Алямов, – ответил Дима и подумал, что, может быть, все не так плохо.

– Мне вас описали очень похоже, – объяснила незнакомка. – Сергей Петрович пошел в местком. Бензина не дают, вечная история. Подождем?

– Подождем, – согласился Алямов. – А вы, простите...

– Я – Лена, из восемнадцатой школы. Мы тоже шефы.

– Дима, – представился Дима и подумал: «Интересно, как ей меня описали?»

В Алямове было сто восемьдесят пять сантиметров, но в нагрузку к этому дефициту природа выдала Диме легкую сутулость и невнятный подбородок. Алямов много бы дал, чтобы махнуть подбородками с Грегори Пеком, но тогда Грегори Пека перестали бы снимать в кино.

– Вы первый раз туда едете? – спросил Дима, исподволь рассматривая девушку. Лицо симпатичное, а с фигурой, пока в шубе, полная неясность.

– Во второй, – ответила Лена.

– А-а, – непонятно к чему значительно протянул аспирант.

– А вы в первый? – спросила, в свою очередь, Лена.

– Я в первый, – ответил Алямов, подумав ядовито: содержательный разговор.

Тут к ним подкатил старенький институтский автобус, двери со скрежетом отрылись, и плотный лысоватый мужчина, не выходя, сказал вместо «здравствуйте»:

– Давайте скорей, только игрушки не забудьте. В автобусе было тепло.

Переднее сиденье занимали Сергей Петрович, его портфель и какая-то еще мадам. Петровича Алямов знал давно, портфель его был известен всему институту, а мадам имени-

отчества не имела, Дима знал только, что она из месткома.

Проход был забит коробками. Алямов сел, придерживая рукой связку конструкторов. Перед ним у заиндевелого окна расположилась Лена. Под шапкой у нее обнаружилась мальчишечья стрижка, а под шубой – пара аккуратных холмиков. От накотившего волнения в Алямове разбежались нарзанные игольчатые пузырьки.

– Так, – сказал он, стараясь не смотреть на грудь новой знакомой, – и куда же нас повезут?

– А вы куда бы хотели? – живо откликнулась Лена.

– Я? – принимая игру, Алямов дурашливо свел брови. – Сначала, пожалуй, в Альпы... покататься... Потом пару недель в Париже... Ну и хватит на первый раз.

Месткомовская обернулась и внимательно посмотрела на Алямова. Лена вздохнула:

– Не выйдет.

– Почему?

– До Альп еще дотянем, а там автобус точно развалится.

– Неплохо, – оценил шутку Алямов.

– Правда? – Лена подняла брови. Глаза у нее были карие.

– Честное слово. – Алямов уже не жалел о поездке. – А вот разрешите вопросик. Что это за школа такая, где вы работаете? Что-нибудь спец?

– Угадали.

– А преподаете вы, Лена, что-нибудь романтическое... Литература?

– Слушайте, – заявила романтическая учительница, – раз мы с вами все равно разговариваем, может, пересядете сюда? А то у меня шея болит.

– Айн момент, – с готовностью сказал Алямов и начал перебираться через коробки, но автобус резко затормозил, и Алямов караморой растянулся на игрушках.

Тут Лена, Стрешнев и месткомовская работница среагировали по-разному. Стрешнев бросился на помощь Диме, месткомовская охнула и кинулась к конструкторам, и только Лена поступила как всякий нормальный человек, рядом с которым вступают в лужу или поскользываются, маша руками: жизнерадостно рассмеялась.

– Ой, Дима, – сквозь смех повторяла Лена, – это я... это я...

– Хорошенький Париж, – хмуро заметил Алямов, отделившись наконец от игрушек и поправляя очки, дымчатые с наклейкой, предмет гордости. – Тут до Ховрино не доедешь... – И сел рядышком с учительницей.

– Ушиблись? – участливо поинтересовалась та.

– Пустяки, – ответил Алямов голосом Грегори Пека, только что уцелевшего в схватке с команчами...

Они заговорили: сначала о дорогах и шоферах, потом о зарплатах и нагрузках, потом еще о чем-то, и ниточка случайного разговора начала незаметно связывать их, досужих пассажиров старенького, пронизанного солнцем автобуса, летящего куда-то по утреннему Подмоскovie...

«Фантастика, – думал Алямов. – Еду с красивой женщиной, лапшу ей на уши вешаю... Свобода!»

Алямов скосил глаза и обнаружил, что кольца у Лены нет.

Собственное кольцо Алямова не очень смущало. Не то чтобы он не любил жену – в общем и целом любил, но... Как бы вам сказать... Да вы сами все понимаете.

Алямов вспомнил одного знакомого, проходившего стажировку во Франции. Поедая салат, он рассказывал удивительное: у них там, мол, в порядке вещей подойти к незнакомой женщине и предложить ей провести вечер вместе, добавив по желанию слово «компле», что

у этих французов, представляете ли, означает – полностью. Ни больше ни меньше.

Дожевывая веточку укропа, стажер погрузился лицом: кажется, ему от мира чистогана ни одного «компле» не перепало...

– Дима! – Лена снизу заглянула в лицо. – О чем задумались?

– А? Да так... – Алямов взглянул ей в самые глаза, и Лена взгляда не отвела.

Алямову было двадцать семь лет, и большую часть своей молодой жизни он потратил на науку и возненаучные маневры. Положение надо было срочно исправлять.

– Простите, Лена, я больше не буду отвлекаться, – сказал он и накрыл ее руку своей.

Автобус катился через совхозные владения – вдоль белых волнистых полей, по кромке застывшего леса, и этот солнечный день тревожил в памяти какую-то строку из школьной хрестоматии. Алямов давно не читал стихов и уже не помнил, когда в его ладони лежала рука молодой незнакомой женщины.

Лена рассказывала про своих первоклашек, и руки по-прежнему не отнимала. Попутчики привносили в происходящее аромат интриги, но у них, слава богу, хватало своих забот. Стрешнев достал из портфеля какие-то бумаги и тряс ими, что-то горячо объясняя.

Месткомовская слушала внимательно, покачивала крашеной головой.

«Бедолаги», – подумал Алямов, прислушиваясь к женской ладошке в своей руке.

Но все хорошее быстро кончается. Автобус притормозил и нехотя свернул с накатанного шоссе на проселочную дорогу. Там его сразу зашатало, затрясло, и Алямов свободной рукой по-братски обнял Лену за плечи: дескать, держитесь за меня...

Девушка отреагировала с пониманием.

– Ничего, Дима, – сказала она, – уже недолго осталось.

– Я потерплю, – скромно ответил Алямов, поражаясь своему остроумию.

Тут к ним, цепляясь за поручни, отправился Стрешнев.

– Подъезжаем, – сообщил он. – До обеда не успеем, так что вы займитесь подарками, все приготовьте, а мы с Нинстепанной – сразу к директору...

Алямов кивнул; такой разблюдаж его устраивал. Месткомовская со своего места пристально смотрела на Диму, но убирать руку с чужого плеча было уже поздно. Стрешнев вдруг вздохнул:

– Директор у них – пройдоха. – Лицо у Петровича стало при этом такое серьезное, что Алямов чуть не рассмеялся. – И что с ними со всеми делать...

Стрешнев пожал плечами и, цепляясь за поручни, отправился обратно.

– Знаете, – шепнула Лена, – он ведь сюда каждую неделю ездит. Правда-правда... – Она смешно затрясла головой вверх-вниз, и Алямов тихо задохнулся от нахлынувшего желания.

Впереди показались длинные желтые пеналы школы-интерната. Когда двери автобуса со скрежетом распахнулись, навстречу ему, утопая по колено в снежной целине, бежали дети.

– Елена Игоревна!

Несколько девчонок вцепились в шубку алямовской спутницы, а одна повисла на рукаве. Мальчишки прыгали вокруг автобуса; без шапок, пальтишки распахнуты; на голых шеях торчали стриженные головы. Взрослых рядом не было.

Алямов выволок огромный картонный ящик с подарками и остановился: после трех часов дороги надо было прийти в себя.

– Давайте поможем! – К Диме подбежали двое ребяташек и теперь прыгали вокруг от нетерпения и любопытства.

– Потерпите, – покровительственно улыбался Алямов, – потерпите немножко...

– Пусть помогают! – обернувшись, крикнул Стрешнев. – Ну-ка взяли кто чего дотащит – и в актовый зал! Леночка, посмотрите там...

Вокруг Алямова закишели дети; Лена, уже у дверей интерната, обернулась и весело взмахнула рукой. Продолжая наделять маленьких носильщиков всякой всячиной, Дима отсалютовал в ответ. Как в многосерийном фильме, самым сладким теперь было ожидание.

Наконец около Алямова остался только большеголовый мальчуган в синем не по росту тренировочном костюмчике.

– Дядь, – сказал он без знаков препинания, – у меня день рожденья было в ноябре. А тогда не привезли ничего обещали потом привезут привезли?

– Чего? – спросил Альбертов. Он вдруг понял, что забыл дома сигареты. «Стрельнуть бы», – подумал Дима, озираясь, но шофер куда-то ушел и вокруг никого не было.

– Привезли? – большеголовый глядел в глаза не отрываясь.

«Чего ему надо?» – с досадой подумал Алямов и сказал:

– Раз обещали – значит, привезли. Идем, замерзнешь...

– Не! – Мальчишка расплылся в улыбке. – Я не мерзну! И поскакал рядом с Алямовым к актовому залу.

– Опять никого нет, – разводил руками Стрешнев, – одна уборщица. Увидела нас – послала детей за педагогами, в деревню. Вот безобразие, честное слово!

– Может быть, мы пока посмотрим школу? – Поджав губы, месткомовская посмотрела почему-то на Алямова. Тот почему-то – на Лену.

Школа была как школа, в классах – парты, в саду – крашенные под бронзу истуканчики... По сугробам между дорожек носилась ребятня, старшеклассники гоняли полусдутый мяч. Время от времени Алямов бережно поддерживал Лену – типа чтобы не поскользнулась, – но надолго обнимать не решался.

Когда они вернулись, у входа в спальный корпус рядом с Петровичем стоял высокий жилистый человек. Шапку человек держал в руке, другой рукой приглаживал ершистые волосы – и постоянно улыбался.

– Очень вас ждали, – услышал Алямов его блеклый голос. Лена стояла чуть позади; она нашла Димин взгляд и быстро указала глазами на говорящего: это и был директор школы-интерната номер семь. Не отвлекаясь от главной темы, Алямов улыбнулся Лене. Она невольно ответила ему и тут же опустила глаза.

Алямов глубоко вдохнул морозный воздух, расправил плечи и подумал, что возвратятся они в Москву часов в семь-восемь вечера, и будет еще совсем не поздно пригласить Лену куда-нибудь провести вечерок, не исключено, что и «ком-пле» – черт побери, живем один раз!

Обедали вместе с детьми. Гвалт стоял невообразимый.

– Ну, Дима, как впечатление? – поинтересовался Сергей Петрович, раскладывая по тарелкам гречневую кашу из кастрюльки.

– Да-а, – неопределенно протянул Алямов и соорудил соответствующее случаю лицо, – интересное место...

– Вы из комитета комсомола? – Месткомовская смотрела изучающе.

– Нет, – ответил Алямов. Что любви меж ним и месткомовской не будет, он понял давно. «Еще вякнет чего-нибудь Савельеву насчет морального облика, – прикинул Дима. – Ну и что? Я поехал? Поехал! Что я им тут должен – деятеля изображать?»

Компот они пили молча. Рядом дети, с грохотом вставая из-за, кричали по слогам «Спаси-бо!». Невесть откуда появились педагоги: востроносая девушка в очках и крепкий парень в вишневом костюме, с сержантским голосом и золотой печаткой на пальце. Пару раз Дима поймал на себе взгляд «вишневого» – короткий взгляд, фиксирующий чужого.

«Ну вот, – облегченно вздохнул Алямов, выходя на воздух, – теперь – подарки и на хауз...»

Мимо быстро прошел Петрович, на ходу бросил:

– Я должен с ним поговорить, потом подойду...

«Шебутной он все-таки, – добродушно подумал Алямов, – носится и носится...» С Леной, вцепившись в ее шубку, шли две девчушки: под пальтишками у них виднелись все те же линялые «треники».

Алямов притормозил и пошел рядом. По дороге их, чуть не толкая, обгоняли возбужденные детдомовцы. Сегодня в школе-интернате номер семь был день рождения у всех, кто родился в декабре.

– Саша Мишин!

Налысо стриженный мальчик вылез на сцену под овации зала. На место он сел в обнимку с пластмассовой клюшкой в целлофане. Его сразу затеребили со всех сторон, а по ступенькам уже поднималась следующая именинница.

Месткомовская выкрикала фамилии, Петрович отдавал кукол, мишек, конструкторы и наборы; зал, заполненный разновеликими обладателями линялых костюмов, громко торжествовал. Директор посматривал за порядком.

– Дисциплин-ка! – напоминал он, дежурно улыбаясь. Воспитатель в вишневом костюме без перерыва играл туш на аккордеоне, но глядел тяжело: он был не вполне трезв. Лена сидела рядом, Дима посматривал на нее и изо всех сил ждал конца мероприятия. Иногда она ловила его взгляд и улыбалась одними глазами.

Без курева после еды было плохо; промаявшись еще с минуту, Алямов не выдержал и пробрался к директору:

– Простите, у вас закурить не будет?

– Найдём. – Директор почему-то подмигнул и, встав, широким шагом направился к выходу. Алямов, пригибаясь, пошел за ним, шепнув Лене «извини». На ты они перешли еще на улице, после обеда.

Затянувшись, Алямов с наслаждением выпустил дым и благодарно кивнул директору, а тот, разминая узловатыми пальцами сигарету, вдруг заговорил о недостатке фондов, о трудностях с кадрами и еще о каких-то не очень близких Алямову материях. Дима рассеянно слушал, пытаясь угадать время отъезда. Он уже устал от всего этого.

– Вы уж повлияйте на Сергея Петровича, а то... – директор развел руки, выдавив из себя еще одну улыбку, – больно он с меня требует. Мы ж люди подневольные...

Алямов опять кивнул, что можно было расценить двояко: повлияет – или просто понял смысл просьбы. Это у Димы получилось как-то само собой, он даже не очень понял, о чем речь. «Интересно, что там с него Петрович требует?» – спросил было себя Алямов, но мысль эту до конца не додумал: раздача подарков завершилась. Месткомовская поздравила всех с Новым годом, детдом заулюлюкал в ответ, и кто-то крикнул «ура».

– Так! – директорский голос мгновенно снял все звуки. – Строиться по классам – и на самоподготовку! Восьмой класс убирает зал!

Он направился к сцене, а к Алямову, хихикая, робко подобрались несколько девочек.

– Здравствуйте! – сказали они, держась друг за дружку.

– Здравствуйте... – Димы пытался разглядеть в водовороте у сцены Лену, но видел и слышал только востроносую воспитательницу, строившую малых детей.

– Вы из Москвы? – выпалила самая смелая из подошедших. Остальные ждали с жадным интересом.

– Ну. – Алямов тоже ждал.

– А Пугачеву видели?

– Нет, – сказал Алямов.

– Жаль, – вздохнула девочка, – я от нее просто помираю. Алямов улыбнулся как можно теплее. Произошла пауза.

– Можно я вам значок подарю? Спартаковский. Вы за «Спартак» – болеете?

Алямов пожал плечами. Петрович, Лена и месткомовская в компании директора вышли из зала и направились к автобусу. Ну, слава тебе, господи.

– Болеете?

– Да, – сказал Алямов, выбрасывая окурок. Он болел за ЦСКА, но соглашаться было легче.

– Нате. – Девочка решительно отцепила от костюмчика значок и протянула Диме. – Берите, берите...

– Спасибо.

– Пожалуйста. Вы к нам еще приедете?

– Наверное, приеду. – Надо было как-то заканчивать...

– Приезжайте.

Алямов посмотрел на девочек. Что-то неясное шевельнулось в нем.

– Спасибо, девчата. Ну, мне пора. Извините.

– А как вас зовут? – услышал он и обернулся.

– Дима.

– Приезжайте, Дима!

На дороге уже фырчал автобус.

Все складывалось как нельзя лучше.

Только начинало смеркаться; рука Алямова уже привычно и чуть крепче прежнего обнимала тонкое плечо, а Лена казалась взволнованной, что-то говорила про интернатских девчушек. Алямов слушал вполуха, и когда вдоль шоссе замелькали московские окраины, сказал негромко, словно эта мысль только сейчас посетила его:

– Слушай, ты никуда не спешишь? А то давай посидим где-нибудь?

Лена улыбнулась смущенно и благодарно, и Алямов уже успел подумать, что пойти надо будет в кафешку на Чистых Прудах, а потом завалиться к Пашутину и попросить его неназойливо слинять, – все это пронеслось в возбужденном мозгу точной шахматной трехходовкой, прежде чем он услышал ответ:

– Нет, Дима, ничего не получится.

– Почему?

Этого он почему-то совсем не ожидал.

– Меня дома ждут...

– Кто? – совсем уже глупо спросил Алямов.

– Гости. Муж, – просто ответила Лена.

«Так чего ж ты тогда, – возмутился кто-то в Алямове, – целый день мне голову морочила?»

– Жалко, – сказал он. Лена не ответила.

Автобус встал у светофора. Водитель щелкнул ручкой приемника; что-то заверещало, обрывки голосов и мелодий смешались в эфире и снова оборвались щелчком. Повисло молчание. Окаменевшая на чужом плече, его левая рука чувствовала себя идиоткой.

– Не сердитесь, Дима, – вернувшись на вы, улыбнулась учительница, и сквозь досаду Алямов пожалел, что не он ждет ее прихода, развлекая гостей.

– Что вы, Лена... – сказал он. – Муж – это серьезно... Алямов шутил по инерции: разговаривать не хотелось.

Тем более на вы.

– Спасибо за компанию! – сказала Лена, выходя у метро, а Алямов поехал дальше, слушая разговор Петровича с месткомовской о каких-то фондах, положении с обувью и одеждой...

«Вот тебе и "компле"», – с тяжелой досадой думал он. – Кретинизм. День впустую».

В институт Алямов заходить не стал, попрощался со всеми очень вежливо, и той же, что и вчера, дорогой отправился домой. Настроение было паршивое. В мрачных своих мыслях он чуть не проскочил гастроном, но, слава богу, вспомнил про колбасу, зашел и сразу, опытный боец, встал в очередь.

– Я отойду? – тут же спросила женщина, стоявшая впереди.

– Пожалуйста. А что там есть? – Алямов кивнул в сторону прилавка.

– Колбаса есть всякая; вареная есть... – Женщина начала прорываться к кассе.

– Ветчину днем не привезли, – обернувшись, пожаловался Алямову толстый дядька в шляпе. – Обещали – вечером привезут. Стою вот, жду.

– Понятно, – качнул головой Алямов, подумав, что где-то слышал сегодня похожую фразу... Где именно – он вспомнил уже на улице, когда шел к метро с добытой колбасой наперевес. Как он сказал, этот пацан?

«Да-да...» – Алямов вдруг отчетливо вспомнил утро, большеголового мальчика в «трениках», снизу, не отрываясь смотревшего в глаза, вспомнил свой ответ: «Раз обещали –



значит, привезли».

«Ч-черт... – подумал Алямов, замедляя шаг по мягкому предновогоднему снегу, – а ведь не привезли. Надо же, как неудобно получилось...»

Какое-то незнакомое чувство овладело Димой. Сегодняшний день, пустой и странный, начал собираться в картинку, как мозаика.

Он вспомнил детей, бегущих в стареньких костюмчиках по колено в снегу, без шапок, к автобусу, который привез из далекой сказочной Москвы людей и подарки, вспомнил смутный разговор о нехватке фондов и золотую печатку на холеной руке воспитателя, вспомнил девочку, подарившую ему бесценный свой спартаковский значок, – и поморщился от незнакомого чувства...

«Надо бы сказать Савельеву: есть же шефский сектор, пускай наведет там порядок. Скинемся, купим парнишке чего-нибудь...» – подумал Алямов, уже втайне понимая, что ничего этого не будет, потому что у каждого своя жизнь, и есть дела поважнее.

Алямов еще раз вспомнил об учительнице, о своей неудаче, и подумал, что так бездарно угробить день – это надо уметь...

На первой же остановке вышло пол-автобуса, и два волосатых школяра внесли с собой снегопад и дум-дум-дум, стучавшее в здоровенном динамике. Дима мотнул головой, окончательно вытряхивая лишние мысли. Пора было возвращаться в свою опрятную, отлаженную жизнь. Автобус летел по белому предпраздничному городу, дома ждала любимая, в целом, жена; сегодня что-то должно было решиться с путевкой на Домбай.

Дима поднял воротник и шагнул к дверям: на следующей он выходил.

1987

## *Театральная быль*

Раньше в нашем городе вообще театра не было – так жили. А потом обнаружилось: один член Политбюро идет по нашему округу, а встретиться с избирателями – нигде... Ну и отгрохали под это дело наш сарай на тыщу мест: мозаика, люстры, ковры – полный версаль, только звук до галерки не доходит. Хотя с нашим репертуаром, может, это и к лучшему.

Ну вот. А пятого с утра театр уже на ушах стоит, потому что из обкома сообщили: этот, из Политбюро, на родину едет, хочет встретить седьмой десяток Великой Октябрьской вместе с земляками. Репертуар, понятное дело, на хер пошел, режиссер красный бегаёт, корежит его, болезного: он у нас вообще со странностями... В театре, как всегда, бардак: того нет, этого нет, и все орут на помрежа.

А днем приезжают эти... мастера спорта в штатском, все, как из одного магазина, в серых пиджаках. Сразу началось: сюда не ходи, туда не ходи... С трех часов к театру не подъехать уже – везде «кирпичей» понаставлено, словно не концерт вечером, а склад боеприпасов нашли и будут взрывать. А посреди всего этого идет прогон – ну тот еще прогончик, на живую нитку, праздничный монтаж, полная порнография... «Пиджаки» по сцене гуляют, как у себя дома.

Через полчаса такого искусства с примой нашей, Люськой Павлевич, случилась истерика – удивительно еще, как она полчаса продержалась: отказываюсь, кричит, работать в таких условиях, ухожу из театра... «Пиджакам» это все, как слонам Моцарт: не надо, говорят, нервничать, гражданка, у вас своя работа, у нас своя, и давайте не будем. В общем, часам к пяти главный уже не кричит, не курит даже, сидит, в пространство смотрит, чистый сфинкс. Перегорел мужик.

Тут наш завпост появляется, Кузьмичев, спокойный, как кусок дерева, в часы пальцем тычет: пора, мол, президиум строить, бюст ставить, кумач вешать. Ему вообще все побоку, Кузьмичеву.

Я тогда у главного спрашиваю: мы свободны? Он рукой машет: гуляйте до полседьмого. Я говорю: зачем до полседьмого, в семь только торжественная часть, они же пока не выговорятся, мы все равно не начнем! Тут он чуть не плевать в меня начал – будто новые батарейки ему вставили, честное слово! Ну, хозяин – барин, в полседьмого так в полседьмого... Домой не поехал – толку туда-сюда мотаться? – пошел в буфет, а там уже весь театр, хорошо хоть сосиски остались. Взял, подсел к Михалюку – а тот еще злее меня сидит, у него из-за этой Великой Октябрьской халтура сорвалась, сорок рублей живых денег.

Тут меня черт за язык и дернул. Что, говорю, Иваныч, сыграем сегодня для начальства? Михалюк только этого и ждал. Я бы, говорит, им сыграл. «Малую землю», на баяне. Чтоб их совсем скособочило. Я, конечно, заржал, как идиот: я вообще смешливый, меня на сцене расколоть – нефиг делать. Ну и ржал, пока Маслову за соседним столиком не увидел. А как увидел ее, чуть сосиской не подавился.

Тут ее, профурсетку партийную, все заметили, кроме Федяшева. Этот вообще фишки не сечет, с рождения туповатый... Героям-любовникам вообще мозги не положены. Жора, спрашивает, а ты земляка политбюрошного нашего, товарища Харитоньева, из-за которого весь сыр-бор, ты его живьем видел? Тут Михалюк на бис выступил. Зачем, говорит, мне земляк. Я на его дружка бровастого каждый день в ящик смотрю.

В буфете заметно тише стало. И уже в тишине Михалюк (видно, на всякий случай, если кто не расслышал) дружка изобразил. Похоже так изобразил, последние сомнения отпали.

Маслова сразу лицом закаменела. Как говорит наш знаток латыни, бутафор Константиныч, оближи свой ноблез...

– Георгий Иванович! – говорит.

Всего два слова сказала, а глядишь, не то что не смеется в буфете никто, не ест даже.

– Георгий Иванович, в чем дело?

– В чем дело? – переспрашивает Михалюк очень заинтересованно.

– Это я вас спрашиваю, – говорит Маслова.

– Меня? – Жора даже лицом посветлел. – Надо же, – говорит, – меня о чем-то спрашивают. Не иначе, к празднику.

– В чем дело, Георгий Иванович? – спрашивает Маслова уже совсем нехорошим голосом. Заело ее, никак с реплики соскочить не может.

– Понятия не имею, – говорит Михалюк. – Паш, горчицу передай...

Даю я ему горчицу, а тишина стоит – ой, думаю, намажут тебе этой горчицей...

– Хорошо, Георгий Иванович, – ласково говорит Маслова, взглядом всех переписывает и выходит. А за нею еще двое – у одной тоже ноблез облиз, а у другого просто застарелая мания преследования.

И все, которые не выбежали, понимают, что в лучшем случае пойдут как свидетели.

– Ну и дурак же ты, – говорю я Федяшеву. А он только глазами лупит. Я ж говорю: герой-любовник. А Михалюк, чертов сын, сосиски жрет. Что это, говорит, с нашей партайгеноссе? Жора, говорю, тормози, ты сегодняшнюю норму уже выполнил.

– В гробу я их всех видал, – отвечает.

– Знаю, – говорю.

– Ну вот и славно. Приятного аппетита! – Тарелку отставил, лапищей по столу хлопнул – и отвалил.

Аппетита у меня, однако, не прибавилось. Посидел я еще чуток, потом думаю: надо за Михалюком присмотреть, вразнос пошел мужик.

Жора, слава богу, у себя в гримерке – сидит, курит.

– Сигаретки не найдется? – спрашиваю.

Он пачку мне подвигает, коробок сверху кладет. Покурили.

– Ну ты силен, – говорю. Молчит.

– Ладно, – говорит, – проехали.

– Это точно, – говорю, а сам думаю: проехали – не проехали – это еще бабушка надвое сказала.

Пока мы эту пачку докурили, всех обсудить успели: и Маслову, и областное начальство, и московское, и про всех Михалюк какие-то особые слова нашел, просто удивительно!

За разговором этим мы самое интересное пропустили: Люську Павлевич свинтили все-таки! Только она в кожанке и с маузером наперевес из гримерки вышла – кто, мол, еще хочет комиссарского тела? – тут ее за руки и лицом к стене. Маузер бутафорский разобрать пытались. Крику, говорят, было!..

А мы с Михалюком это дело пропустили – не везет так не везет!

Ну вот. Почти докурили мы ту пачку – тут Федяшев, чудило кудрявое, в гримерку заглядывает как ни в чем не бывало: Паша, говорит, Иваныч, слышали? – после всего не уходите, угощение будет, в репзале стол накрывают! Откуда, говорю, стол – местком, что ли? Федяшев аж зашелся – это тебе, говорит, местком, а на остальных лично товарищ Харитоньев раскалывается – пайковую пищу жевать будем, Иваныч! Балычок, ветчинка, то, се...

Михалюк, мелочи отметая, сурово интересуется:

– Водка будет?

– А как же! – взвизгивает Федяшев и аж гарцует в дверях, Ромео недорезанный. – Как же без водочки? Праздник, Иваныч! Держись.

И исчез.

Тут, признаться, гораздо нам с Михалюком веселее стало; Жора говорит: черт с ними, хоть какая польза... Тут как раз и антракт.

Пошли мы за кулисы – «пиджаков» никого нет, начальство в центральную ложу снялось – а у наших общее оживление, Федяшев, сорока, всем на хвосте разнес.

Отыграли мы концерт в хорошем темпе, без пауз практически. Михалюк Маяковского отгрохал, мы со Светкой быстренько порвали страсть в клочки, подхватили Жору – и наверх, поближе к репзалу. А там уже все, кто отстрелялся, похаживают, с Федяшевым во главе. А за дверью (не соврал, подлец) действительно готовится что-то – углядел народ и бабенку какую-то рыжую, крашеную, не из наших, и скатерку белую, и бог знает что на скатерке.

В общем, долго ли, коротко ли – дождались. Вышел откуда-то благообразный «пиджак» и говорит: мол, коллектив обкома и лично товарищ Харитоньев поздравляют вас, то-се, и приглашают, мол, откусать. Тут подлетает к нему рыжая, каблучками тук-тук, и что-то шепчет. И «пиджака» как корова языком слизывает.

Подождали мы немного – «пиджак» не возвращается, рыжая тоже. Михалюк говорит: ребята, держите меня, у меня слюноотделение началось. Тут всех как прорвало: действительно, чего стоим, уж пригласили, поздравили – пора!

Вошли мы, стол облепили – и понеслась! Минуты только через три заговорили, а до того – одна челюстная музыка... Федяшев на ветчину налег, Люська Павлович, как была в кожанке, балык целый с блюда подцепила и на тарелку себе – шлеп! – чтоб она на сцене так цепко работала... Михалюк Светке моей подливает – гляжу, а одна чекушка уже пустая. Ну и сам я, признаться, от всего этого прибалдел немножко: многое, что на том столе стояло, я только в кино и видел.

И вот ставлю я на место блюдо с мясом заливным, смотрю – Маслова! Тоже здесь, тварь старая. Ветчинку прибирает, и личико у нее при этом брезгливое необычайно. Понимать это надо так, что не в ветчине дело, и не в икре с балычком, а просто – не имеет права отрываться от масс.

А Михалюк после второй развеселился и опять шутить начал: братцы, говорит, слушайте, нам когда коммунизм обещали? К восьмидесятому? А он вот он уже, а вы не верили, дурачки... И еще говорит – мол, хороший человек товарищ Харитоньев, зря я его обижал; как думаете, говорит, если я ему каждый день с утра пораньше Маяковского читать буду – он меня на паек поставит?

Тут Маслова есть перестала. Не потому что наелась, и не от возмущения даже, а просто: все, как один, смотрят на нее. Слушают Михалюка, а смотрят – на нее. Жевать в такой мизансцене затруднительно.

Наконец до Масловой доходит, что если все равно не ешь, то надо проявить партийную позицию. И она встает. И только она встает, как мы слышим жуткий вопль от дверей.

Орет рыжая в чепчике. А рядом с нею стоит «пиджак» и хотя не орет, в глазах тоже ужас. – Вы что делаете? – орет рыжая. – Вы что? Вон отсюда! Вон!

Причем, что интересно, орет на Маслову, потому что мы все сидим, а Маслова стоит, как будто собирается, несмотря ни на что, произнести тост.

– Немедленно покиньте помещение, – говорит тогда «пиджак», и уж такой у него голос, что из-за стола нас как ветром выносит. Федяшев, однако, ветчины все же напоследок уцепил и даже тяпнуть успел на ходу – удивительно шустрый юноша!

– Кто вам разрешил сюда входить? – орет крашенная. – Кто?

И мы все, как один, поворачиваем головы к «пиджаку», и «пиджак» издает протяжный стон, как Борис Годунов в одноименной опере.

– Не сюда-а-а... – стонет пиджак. – Вам – не сюда-а-а!

– Что же теперь делать, что делать, – квохчет рыжая, и прыгает вокруг «пиджака», и прямо руки себе заламывает. – Ведь сейчас придут же... придут!

Тут «пиджак» становится решителен, как майор, принявший дивизию.

– Ирина Евгеньевна, – чеканит он, – звоните на базу, пусть быстро везут новое. Это – убрать!

Крашенная испаряется, и «пиджак», повернувшись к нам, блеет речитативом:

– А вам – в буфете, там, та-ам... – И делает рукой широкий жест – не столько в сторону буфета, сколько куда-то вообще – к чертовой матери.

– А вот это вам, Георгий Иванович, так не пройдет, – шипит на лестнице, обгоняя Михалюка, Маслова. Лицо у нее красное, как транспарант, а глазки злые, но довольные – и я понимаю, что Жоре, кроме Леонида Ильича, будет пришито и коллективное поедание обкомовской ветчины.

Я гляжу на Михалюка, Михалюк – на Федяшева, а тот только глазками моргает, дитя невинное. Тут у меня начинается смеховая истерика с икотой. Я смеюсь и икаю, икаю и смеюсь, и никак не могу решить, с чем бороться сначала.

В буфете, действительно, накрыто: котлетка с лапшой, кусок хлеба, по стопке водки и треснутый маринованный помидор с краю. Разложено по тарелкам, как в детском саду.

Минуту молчания прервала Маслова.

– Что ж, – бодро сказала она. – Давайте садиться, товарищи! – И села первой.

– С праздничком, – отозвался Михалюк.

1988

# Человек с плаката

Под утро пошел дождь. Он пошел с серых, заброшенных рваными облаками небес, ветер подхватывал его и швырял на кубики многоэтажек, на пустой киоск «Союзпечати», на огромное полотнище плаката, возвышавшегося над проспектом.

На плакате этом было что-то написано метровыми буквами и стоял над буквами человек, уверенным взглядом смотревший вдаль – туда, откуда по серой полосе проспекта скатывались в просыпающийся город грузовики.

Дождь хлестал плакатного человека по лицу, порывы ветра пронизывали насквозь его неподвижную фигуру, и, промокнув до нитки, он понял, что больше так не выдержит ни минуты.

Осторожно поглядев по сторонам – проспект был сер и пуст, – человек присел на корточки и спрыгнул с плаката. Поежился, поднял воротник немодного синего пиджака и, наворачивая на ботинки пласты грязи, запрыгал к ближайшему блочно-панельному кубику.

Во втором подъезде, обняв метлу, курил дворник Курдюков. Увидев бегущего, он открыл не полностью укомплектованный зубами рот, отчего папироска, повисев на оттопыренной губе, кувыркнулась вниз. Курдюков охнул и прижал к стеклу небритую физиономию. Скосив глаза, он попытался навести их на резкость, но в размерах бегущий не уменьшился.

...Человек с плаката вбежал в соседний подъезд и огляделся. Было темно. Он потянул носом – несло какой-то скверностью. Нахмурившись, человек пошел на запах, но остановился. В неясном, слабо сочившемся свете на исцарапанной стенке четко виднелось слово. Человек прочел его, шевеля губами. Слово было незнакомое; не с плаката.

Человек поднялся на лестничную площадку, пристально разглядел раскрытый патрон, доверху забитое помойное ведро, уставил вниз указательный палец и произнес:

– Грязь и антисанитария – ...

Голос у человека был необычайно сильным.

– ...источники эпидемии!

Сказав это, он решительно отправился вниз.

...Человек с плаката шагнул по кварталу. Дождь лупил по его прямой фигуре, тек по лицу и лился за шиворот, но воспитание не позволяло отсиживаться в тепле, мирясь с отдельными, еще встречающимися у нас недостатками.

– Образцовому городу – образцовые улицы и дома! – сквозь зубы повторял человек, и крупные, с кулак, желваки двигались на его правильном лице. Он шел, перешагивая кипящие лужи, и в праведной ярости уже не замечал разверзшихся над ним хлябей небесных.

Тщетно пытаясь сообразить, который час, Павел Игнатьевич Бушуйский протяжно зевнул, щелкнул выключателем и, почесывая грудь под байковой пижамой, приоткрыл дверь. В полутьме лестничной клетки взору его предстали ботинки шестидесятого примерно размера, заляпанные грязью брюки и уходящий наверх пиджак.

– Здравствуйте! – раздался сильный голос из-за верхнего косяка.

– 3-3... здрась... – выдавил Бушуйский, прирастая к половику.

– Вы начальник ДЭЗ-13?

От этого простого вопроса во рту у человека в пижаме сразу стало кисло.

– Ну я, – сказал он.

Мокрый, грязный, невозможного роста и совершенно незнакомый ему гражданин

нагнулся и вошел в квартиру.

– В чем дело, товарищ? – теряя при отступлении шлепанцы, дал петуха начальник ДЭЗ-13.

– Нуждам населения – внимание и заботу! – надвигаясь на микрорайонного владыку, объявил вошедший.

Услышав такое с утра пораньше, владыка больно ущипнул себя за костлявую ляжку, но проснуться второй раз не получилось.

– Что вам надо? – спросил он, стараясь опомниться.

– Товарищ Бушуйский! – голосом мокрого гражданина можно было забивать сваи. – Работать надо лучше!

От подобного хамства Павел Игнатьевич пришел наконец в себя и уже открыл было рот, чтобы посулить вошедшему пятнадцать суток, но поглядел ему в глаза – и раздумал. Что-то в выражении этих глаз остановило его.

– Сегодня лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня! – пояснил свою мысль гражданин и, положив пудовые руки на плечи Бушуйскому, крикнул в ухо, как глухому: – Превратим наш район в образцовый!

Начальника ДЭЗ-13 отличала большая сообразительность.

– Превратим, превратим... – мягко, чтобы не раздражать спятившего горемыку, согласился Бушуйский, мечтая, однако, не о превращении района в образцовый, а совсем напротив – о валидоле или, в крайнем случае, рюмке коньячка.

Совершенно удовлетворенный ответом, гражданин-горемыка широко улыбнулся: губы его растянулись, как эспандер, и встали на свои места. Он крепко пожал Павлу Игнатьевичу руку, после чего она сразу отнялась, маяча широченной спиной, шагнул к двери, но вдруг, к ужасу хозяина квартиры, обернулся:

– Дали слово – выполним?

– Выполним-выполним, – немедленно заверил Бушуйский, осторожно заглядывая в лучезарные глаза сумасшедшего.

– Экономьте электроэнергию, – напомнил на прощанье гражданин, погасил свет в прихожей и ушел.

Заперев дверь, Бушуйский бросился к телефону. «Предупредить милицию», – думал он, пытаясь попасть пальцем в отверстие диска. Но, набрав нолик, мудрый начальник ДЭЗ-13 тут же нажал на рычаг и – по здравом размышлении его можно понять. Жаловаться на гражданина, посоветовавшего работать сегодня лучше, чем вчера?..

«Надо же, – угревшись под одеялом, вздохнул он философски минуту спустя, – вот так жил человек, жил – и вдруг тронулся... Эх, жисть-жестянка!» И владыка погрузился в теплую тину дремы.

Город просыпался.

Дома, как огромные корабли, всплывали в серый день. Уже выходили из подъездов люди, бросали безнадежные взгляды на небеса, открывали зонты, поднимали воротники плащей и, поежившись, ныряли в сырую непогоду. Десятками забивались они на островок суши под козырьком остановки и оттуда тянули шеи, с надеждой вглядываясь вдаль... Автобуса все не было.

Один из стоящих сильно выделялся среди прочих граждан. Во-первых, на той высоте, где у граждан были шляпы, у этого была грудь. Детина сутулился и пригибал голову, чтобы уместиться под козырьком. Ни плаща, ни зонта у детины не имелось, и выглядел он так, словно только что оделся в секции уцененных товаров.

Вел себя гражданин тоже странно, а именно: всем, радостно улыбаясь, говорил «доброе утро, товарищи», за что, без сомнения, огреб бы от товарищей по первое число, кабы не разность размеров. Товарищи имели об этом утре отдельное мнение. Предвкушая посадку, на здорового гражданина смотрели с персональной ненавистью, отчего на лице у того медленно проступило недоумение.

Наконец, из-за поворота выполз автобус, грязный, как Земля за пять дней до первого выходного. Когда служивый люд заметался по лужам, неадекватный гражданин предложил было пропустить вперед женщин и людей преклонного возраста, но уж не тут-то было! Демонстрируя силу коллектива, его молча стиснули с боков, оттерли в сторону, повозили лицом по стеклу и вдавили в автобусное чрево; двери со скрежетом закрылись у него за спиной.

Человек с плаката, согнувшись в три погибели, трясся в полутемном автобусе.

Он ехал просто так, куда-нибудь; ехал, искренне сокрушаясь, что не может своевременно и правильно оплатить свой проезд. Ему было стыдно, но это чувство уже заглушалось другим. Жизнь влекла его; с волнением заглядывал он в людские лица, с тревогой всматривался в пейзаж, проползающий за окном.

Мир, в который попал он, был огромен и удивителен.

Вот, например, сидит симпатичный молодой человек – почему он сидит? Ведь написано же над сиденьем... Неужели инвалид? Странно... Вот косо льется с рамы на сиденье вода – кто так сделал эту раму? Человек морщил крупный лоб. И почему так шатает автобус, и такая грязь везде, и люди перебираются через нее по разбитым бетонным плитам? Почему не отремонтировано, не сделан водосток? Ведь все во имя человека, все для блага человека! А бетонные плиты в грязи? Ведь экономика какой должна быть? Неужели кто-то не в курсе? В чем же дело? Напрягаясь в поисках ответов, человек морщил большой лоб...

На конечной двери раскрылись, и автобус начал выдавливать из себя пассажиров. Последним изнутри выпал высокий человек в синем костюме. Он постоял минуту, поднял воротник и побрел за всеми, а на месте, где стоял он, начала расплываться по асфальту синяя лужица, словно пролили немного краски.

К полудню дождь перестал падать на землю. Солнце засверкало над крышами, над опорами электропередачи, над очередью за апельсинами. Когда последние капли разбились об асфальт, из вестибюля метро, пошатываясь, вышел человек. Румянец будто осыпался с его щек – и как ни огромен был он сейчас, а раньше был все-таки выше. Пиджак на гражданине уже не казался новым, да и брюки сильно потерпели от действительности.

Перемены, словом, были очевидные. Но тот, кто решился бы повнимательнее заглянуть человеку в глаза, смог бы заметить главную: у него стал беспокойный взгляд, там появилась неуверенность, вертикальная складка прорубилась между бровей, а уголки рта опустились вниз.

Виной этому, надо признать, были жители города. Это они так встревожили человека. С ними что-то было не так! Они не смотрели вдаль уверенными взглядами – они вообще не смотрели вдаль, не были взаимно вежливы, не уступали мест престарелым; они шли, переговариваясь на странном языке – вроде бы русском, но таком, которого человек почти не понимал. Из черной дыры с ревом налетали поезда и, набив утробу людьми, с воем уносились прочь. Людская река швыряла большого человека, как щепку, людские лица мелькали вокруг – и от всего этого слабость потекла по его суставам, и, вырвавшись наконец наверх, человек судорожно вдохнул теплеющий воздух и опустился на мокрую скамейку у ободранного газетного стенда, с ужасом понимая, что все вокруг совсем не так, как должно быть.

Синяя струйка у его ног светлела, расплываясь в дождевой воде.



– Сердце прихватило?

У скамейки стояла женщина.

– Чего молчишь-то?

Женщина открыла сумку, вынула металлическую трубочку, вытряхнула две белые таблетки.

– Такой молодой, а уже сердце... – Она покачала головой. – Вот, возьми.

Человек недоуменно смотрел на нее. Потом подобие улыбки тронуло широкие полосы его губ.

– Чего смотришь-то? – Женщина смутилась. – Да бери ты их, вот бедолага, ей-богу...

– Бога нет, – ответил человек. Потом крепкими зубами разжевал таблетки, вспомнил еще что-то и сообщил: – Религия – опиум народа!

Женщина ойкнула, посмотрела на него большими глазами и вдруг рассмеялась. И он, сам не зная почему, с облегчением засмеялся в ответ.

Раньше человек знал только одну женщину. Громадная, почти с него ростом, она стояла на противоположной стороне проспекта со снопом пшеницы. Рядом, подпирая ее плечами, высились двое близнецов: один в каске, а другой в очках и с циркулем. Та женщина не вызывала у человека никаких чувств, кроме уважения.

А от этой, маленькой, с ямочкой на щеке, у него потеплело внутри и вдруг захотелось странного: прикоснуться к ней, погладить по голове, обнять. Он испугался, он встал, чтобы уйти, но земля поплыла под ногами.

Женщина перестала смеяться.

– погоди-ка, – сказала она, – ты что – голодный? Мужчина молчал.

– Ты сегодня ел?

Мужчина отрицательно покачал головой.

– Гос-споди, бывают же стервы! – с чувством произнесла женщина и, подумав не больше секунды, прибавила: – Идем, покормлю тебя! Ой, да не бойся ты. Я тут близко...

Человек с удивлением обнаружил, что послушаться ее не может.

Жила женщина действительно недалеко.

– Входи, входи.

Через минуту он сидел на низеньком табурете и опасливо косился на узкоглазую, почти совсем раздетую девушку у синего моря, сиявшую с календаря. Потом перевел удивленный взгляд на облупленный подоконник, баночку с луковицей, на стены в подтеках, на связку газет в углу и – с замиранием сердца – на маленькую женщину, возившуюся у плиты.

– Чего молчишь? – на секунду обернувшись, спросила она.

– Думаю, – честно ответил он.

– Ну-ну, – улыбнулась женщина, и симпатичная ямочка снова прыгнула на ее щеку. – Сейчас будет готово.

Ему очень понравилась эта улыбка; и вообще в кухоньке ему было хорошо; вот только роста благосостояния народа здесь не наблюдалось совсем. Женщина осторожно поставила на стол тарелку и села напротив.

– Ешь.

У нее был теплый голос, и глаза теплые – и, поглядев в них сейчас, человек вдруг понял, что с этой женщиной он хочет пойти в районный отдел ЗАГСа и там связать себя узами брака. И, поняв это, ужасно заволновался.

– Ты что?

– Нет, ничего, – сказал он и покраснел, потому что ложь унижает человека.

– Ты ешь, ешь...

Он послушно взял ложку.

– Дай-ка пиджак! – Женщина ловко вдела нитку в игольное ушко. – Как тебя звать-то? – спросила через минуту.

Человек медленно опустил ложку в щи и задумался.

– Слава... – проговорил он наконец.

– Слава, – повторила женщина, примеряя к нему это имя. – А меня Таня.

Она тремя взмахами пришила пуговицу и, нагнувшись, откусила нитку. Человек украдкой смотрел на нее, и ему было хорошо.

– Ты не переживай особо, – вдруг сказала женщина. – Перемелется – мука будет...

– Да, – ничего не поняв, согласился мужчина и на всякий случай добавил: – Хлеб – наше богатство.

– А? – Таня поглядела на него долгим, тревожным и удивленным взглядом, и от этого взгляда у человека еще круче перехватило дыхание. – Ты чего?

– Я? – переспросил он. В груди его остро заняло какое-то новое чувство. – Я... – Он отложил ложку. Он решил. – Таня. – Голос человека зазвучал ровно и торжественно. – Я хотел сказать вам... – Он сглотнул. – Давайте с вами создадим семью – ячейку общества.

– Ты... Ты что? Ты с ума сошел? – Маленькие бусинки вдруг выбежали из ее глаз. – Издеваешься... За что?

Она резко встала, отошла к окну и отвернулась. Человек растерялся.

– Я не издеваюсь, – проговорил он наконец. – Я абсолютно нормален. Я серьезно.

Женщина вздрогнула, как от удара, взяла с подоконника сигареты и зачиркала спичкой. Человек насторожился. Он понял, что сделал что-то не так. В повисшей тишине потикивали ходики.

– Станный ты какой-то, – затянувшись наконец, сказала она в стекло и оглянулась. – Слушай, ты чего это, все время?..

– Чего я все время? – Человек изо всех сил пытался понять, что происходит.

– Ну, говоришь чего-то. Слова разные.

– Слова?

– Ну да, – Таня внимательно поглядела на него. – Ну, ты не обижайся только. Но ты будто какой-то ненастоящий, правда...

– Почему – ненастоящий? – отдельно, не сводя с женщины пристальных глаз, спросил человек.

Она не ответила – и тогда жернова мыслей заворочались в его лобастой голове.

– Таня, – сказал он, вставая. Слова медленно сходили с крупных губ. – Я сейчас уйду.

– Подожди! – Ее глаза заглядывали снизу, искали ответа. – Ты обиделся? Обиделся, да? Но я не хотела, честное слово... Господи, вечно я ляпну чего-нибудь! – Она жалобно развела руками. – Не уходи, Слава, сейчас картошка будет. Ты же голодный!

Последние слова она сказала уже шепотом.

– Нет, – ответил человек, чувствуя, как снова начинает плыть земля под ногами.

Он тонул в ее зеленых глазах, дымок поднимался от сигареты, зажатой в тонких пальцах. Он хотел сказать на прощание, что Минздрав СССР предупреждает, но почему-то промолчал, а потом, уже на пороге, сказал совсем другое:

– Таня. Вы – мне. Очень нравитесь. Это правда. Но я. Должен идти. Мне надо.

Говорить было трудно. Приходилось самому подбирать слова, и человек очень устал. Он хотел во всем разобраться.

– Заходи, Слава, – тихо ответила женщина. – Я тебя накормлю. – И протянула пиджак.

Что-то встало у человека в горле, мешая говорить. Он, как маленькую, погладил ее по

голове огромной ладонью. Синяя струйка потянулась за ним к лифту.

Человек шел через город.

Он не знал адреса, он никогда не был там, куда шел, но что-то властно вело его, какое-то странное чувство толкало в переулки, заставляло переходить кишасшие машинами улицы и снова идти. Его пошатывало, синяя струйка стекала по грязным ботинкам, окрашивая лужи на тротуарах, но человек не замечал ее. Он шел, боясь заглядывать в лица.

Он был чужим в этом бойком, свинченном светофорами городе – чужим со своим пиджаком, со своим ростом, со своими хорошими мыслями, заколоченными в восклицательные знаки.

У перехода человек остановился, пропуская машину, и она окатила его бурым месивом из лужи. Быстро обернувшись, он увидел за рулем холеную женщину, с тоской вспомнил Таню, ее кухню, луковицу в баночке на облупленном подоконнике – и насупил брови, уязвленный сравнением, и снова, как тогда, на скамейке, услышал свое сердце.

– От каждого по способности – каждому по труду! – Глухо произнес человек, провожая стремительный «Мерседес», и помрачнел, размышляя о таинственных способностях женщины за рулем. Проходившие мимо представительницы советской молодежи прыснули. «Псих!» – громко сказала одна представительница, а другая, пообразованнее, сказала: «Крэйзи!»

Человек шел через город, и, как почва в землетрясение, трещинами расходились извилины за высоким куполом его лба. Они впитывал в себя этот мир, он начинал понимать его, и что-то нехорошее бурлило в нем. Возле площади с огромным каменным гражданином на постаменте человек перешел улицу по диагонали. «Красный свет зажегся – стой!» – ожесточенно прошептал он, и кривая усмешка обезобразила крупное лицо.

Смеркалось, когда, повернув в затерянный переулок, человек остановился у подъезда старого, с облупленной лепниной на стенах, дома: здесь!

Кукин, чертыхаясь, начал пробираться через полутемный, заваленный листами картона коридор. В дверь снова трижды позвонили – громко и требовательно.

– Кто? – крикнул он, вытирая руки тряпкой, смоченной в растворителе.

– Слава, – ответили из-за двери.

«Храпцов приперся», – недовольно подумал Кукин, открывая.

Но это был не Храпцов.

– А-а! А-а-а-а!!! – завопил Кукин, попятился, обрушил с табурета коробку с красками и упал на полотно «Пользуйтесь услугами сберегательных касс», сохшее у стены.

Вошедший закрыл дверь и повернулся. Кукин сидел на полу и слабо махал рукой, отгоняя привидение.

– А-а, – простонал он, поняв наконец, что привидение не уйдет. – Ты как?.. – Слова прыгали у него на губах. – Ты откуда?

– От верблюда, – ответил гость. Он был грязен и нечесан, глаза горели диким огнем, но отдадим должное Кукину – он-то узнал вошедшего сразу.

Из лежащей на боку банки тихонько выползла синяя масляная змейка. Гость осторожно присел на корточки, поднял банку, втянул носом родной запах.

– Ну, здравствуй, – сказал он художнику.

Художник сидел, выставив вперед острый локоть и отчетливо предвкушая руки вошедшего у себя на шее. Художник был невзрачен, с узким иконным личиком, в старом прорванном свитерке на майку, но умирать ему еще не хотелось.

– Ты меня не узнаешь? – кротко спросил человек. Нервный смешок заклокотал в худой кукинской груди.

Он мелко закивал и, стараясь не делать резких движений, начал подниматься. Гость ждал, сдвинув брови. Совсем не таким представлял он себе своего Создателя, и досада, смешанная с безразличностью, закопошилась в груди.

– Поговорить надо.

– П-пожалуйста. – Хозяин деревянным жестом указал в глубь квартиры. – Заходи... те.

Темнело. Дом напротив квадратиками окон выкладывал свою вечернюю мозаику; антенны на его крыше сначала еще виднелись немного, а потом совсем растаяли в черном небе. Стало накрапывать.

Потом окна погасли, квадратики съела тьма, только несколько их упрямо светились в ночи. Где-то долго звали какого-то Петю; проехала машина. Дождь все сильнее тарабанил по карнизу, и струи змейками стекали вниз по стеклу...

Художник и его гость сидели на кухне.

Между ними стояли стаканы; в блюдечке плавали останки четвертованного огурца, колбасные шкурки валялись на жирном куске «Советского спорта»; раскореженная банка скумбрии венчала пейзаж.

Художник жаловался человеку на жизнь. Он тряс начинающей сесть головой, размахивал руками, обнимал человека за плечи и снизу заглядывал в глаза. Человек сидел не совсем вертикально, подперев щеку, отчего один глаз у него закрылся, другой же был уставлен в стол, где двоился и медленно плавал туда-сюда последний обломок хлеба.

Человеку было плохо. Сквозь душные волны тумана в его сознание то врывались жалобы художника на жизнь, то вдруг – проглянувшее солнце и маленькая женщина у скамейки, то загаженный темный подъезд. Иногда большие полыхающие буквы складывались в слова «Пьянству – бой!».

Он не понимал, как произошло, что он сидит за грязным столом с патлатым человечком в свитере, и человечек обнимает его за плечи. Внутри что-то медленно горело, краска стекала с ног на линолеум, человек упрямо пытался вспомнить, зачем он здесь, и не мог.

Он посмотрел на маленького в свитере, вытряхивавшего из горлышка последние капли, – и горькая обида опять заклокотала в нем.

– Ты зачем меня нарисовал?

Маленький протестующе замотал руками и сунул человеку стакан.

– Нет, ты ответь! – крикнул человек. Маленький усмехнулся.

– Вот пристал, – обратился он к холодильнику «Саратов», призывая того в свидетели. – Сказали – и нарисовал. Кушать мне надо, жра-тень-ки! И вообще... отвали от меня, чудило полотняное... На вот лучше.

Человек упрямо уставился в стол.

– Не буду с тобой пить. Не хочу.

Замолчали. Бескрайнее и холодное, как ночь за окном, одиночество объяло человека.

– Зачем ты меня такого большого нарисовал? – снова спросил он, подняв голову. – Зачем? – И вдруг пожаловался: – Надо мной смеются. Я всем мешаю. Автобусы какие-то маленькие...

Художник притянул его к себе, облизнул щеку и зашептал в самое ухо:

– Извини, друг, ну чес-слово, так получилось. Понимаешь, мне ж платят-то с метра. – Разведя руками, он зажевал лучок, а до человека начал медленно доходить высокий смысл сказанного.

– Сколько ты за меня получил? – спросил он наконец. Рыцарь плаката жевать перестал и

насторожился.

– А? – Потом усмешечка заиграла у него на губах. – Ла-адно, все мои. Аккордная работа. Двое суток тебя шаршил.

Беспросветная ночь шумела за окном.

– Я пойду, – сказал человек, выпрямился, схватился за косяк и увидел, что маленький в свитере стал с него ростом.

Помедлив, он судорожно потер лоб, соображая, что же случилось. «Ишь ты, – тускло подумалось сквозь туман, – гляди, как вырос». Вместе с плакатистом выросла дверь, выросли плита, стол и холодильник «Саратов»; квадратики линолеума плыли перед самыми глазами.

– Ну куда ты пойдешь, дурачок? Давай у меня оставайся. Раскладушку дам. Жена все равно ушла...

– Нет. – Человек отцепил от себя навсегда пропахшие краской пальцы. – Я туда. – Он махнул рукой, и лицо его вдруг осветилось нежностью. – Там мой плакатик.

– Да кто его читает, твой плакатик? – Плакатист даже завохтал от смеха.

– Все равно!

Уже у дверей человек попробовал объяснить что-то человеку, но раздумал, только безнадежно мотнул головой:

– Ты не поймешь...

«Он не понимает, – думал человек, качаясь под тяжелым, сдиравшим с него хмель дождем. – Он сам ненастоящий. Они сами... Но все равно. Просто надо людям напоминать. Они хорошие, только все позабыли».

Человека осенило.

– Эй! – сказал он, проверяя голос. – Эге-гей!

В ночном переулке, вплетаясь в шум воды, отозвалось эхо.

– Ну-ка, – прошептал человек, и, облизнув губы, крикнул в черные окна: – Больше хороших товаров!

Никто не подхватил призыв. Переулок спал, человек был одинок, но сердце его билось одиноко, ровно и сильно. Человек хотел сказать что-то главное, самое-самое главное, но оно ускользало, пряталось в черной ночи, и от этого обида обручем сдавила ему горло.

– Ускорим перевозку грузов! – неуверенно крикнул он.

– Прекратите сейчас же безобразие! – завизжали сверху и гневно стукнули форточкой.

Но человек безобразия не прекратил. Он предложил форточке летать самолетами «Аэрофлота», осекся, жалобно прошептал: «Не то!» – и, пошатываясь, пошел дальше. Он шел по черным улицам, сквозь черные бульвары, пересекал пустынные площади, качался у бессмысленно мигающих светофоров – и кричал, кричал все, что выдиралось из вязкой тьмы сознания. Он очень хотел привести жизнь в порядок.

– Заказам села – зеленую улицу! – кричал он, и слезы катились по его лицу и таяли в дождевых струях. – Пионер – всем ребятам пример!

Слова стучались в его горемычную голову, налезали друг на друга, как льдины в ледоход. У змеящихся по мосту трамвайных путей он вспомнил наконец-то самое-самое главное, и остановился.

– Человек человеку – брат! – срывая горло, крикнул он слепым домам, взлетающим над набережной. И еще раз – в черное небо, сложив ладони рупором: – Человек человеку – брат!

Он возвращался на свой пост, покинутый жизнь назад, серым утром этого дня. Огромные деревья шумели над ним, со стен огромных домов подозрительно смотрели вслед огромные правильнолицые близнецы.

Под утро дождь прекратился.

Солнце осветило сырую землю, разбросанные кубики многоэтажек, пустой киоск «Союзпечати», огромное полотнище плаката, стоявшее у проспекта. Сверху по полотнищу было написано что-то метровыми буквами, а в нижнем углу, привалившись к боковине и свесив голову на грудь, приютился маленький человек – в грязном мятом костюме, небритый, с мешками у прикрытых глаз. Человек блаженно улыбался во сне. Ему снилось что-то хорошее.

Суточное его отсутствие никем, по странному стечению обстоятельств, замечено не было, но возвращение на плакат в таком виде повлекло меры естественные и быстрые. В милиции, а потом в райсовете затрещали телефоны, и начались поиски виновных. Милиция проявила потрясающую оперативность, и очень скоро ее представители пришли в квартиру члена профсоюза живописцев Кукина Ю. А., каковой Кукин был обнаружен там среди пыльной кучи холстов, на которых намалевано было по разным случаям одно и то же целеустремленное лицо.

Сам член профсоюза находился в состоянии, всякие объяснения исключавшем. Приехавшие, однако, тоже были людьми целеустремленными – и получить объяснения попытались, но услышали в ответ только меланхолическую сентенцию насчет оплаты с метра, после чего члена профсоюза стошнило.

А к человеку, спящему над проспектом, подъехал грузовик; двое хмурых мужиков не торопясь отвязали хлопающее на ветру полотнище и повезли его на городскую свалку.

В огромной металлической ране у проспекта теперь высились дома, чернел лес, по холодному небу плыли облака и пролетали птицы.

Машину подбрасывало на плохой дороге, и человек морщился во сне.

1986

Она сидела на краешке тахты и выла, комкая платок; давя раздражение, влезая в пальто в тесной, с покоробленными обоями прихожей, он успел удивиться: как его могло занести в этот сюжет, в эту квартирку...

– Я позвоню, – буркнул он, сбежал по лестнице вниз и распахнул дверь в слепящий зимний день, в свободу!

До поезда оставалось меньше часа. Черт бы ее побрал, подумал он, черт бы побрал ее с ее слезами и соплями! В окне застыла фигурка в свитере; он на ходу махнул рукой (не останавливаясь!) и быстро пошел сквозь квартал – от взгляда в спину, от тоски и нелепицы последних минут: о чем было говорить, все давно сказано, он не позволит себя шантажировать, никакого ребенка.

Он вдохнул полной грудью колкий воздух окраины, подумал: во снегу навалило, прикинул: сколько отсюда наступит? Трешка? Четыре? Надо бы поскорее.

Стоянка такси пустовала, пуста была и дорога. Сбиваясь на бег, он двинул к шоссе – там не такси, так частник, кого-нибудь поймать можно. Не останавливаясь, он выцарапал из-под пальто часы и только тут понял, как худо дело. Проклятый район, и не выберешься отсюда!

Нагребая в ботинки снега, человек бежал наискось – мимо заледеневших качелей, мимо мертвых гаражей; красно-черный, в крупную клетку, чемодан бил по ноге, в груди пекло – скорее, скорей!

По шоссе медленно катило такси; он крикнул, махнул рукой, метнул затравленный взгляд влево и бросился наперерез. С бешеным гудком пронеслась за спиной «Волга», но он успел проскочить и стоял теперь, хватая ртом воздух, на островке грязного снега. Такси укатывало вдаль.

– Сволочь! – крикнул он вслед. Время стремительно уходило, он чувствовал это и без часов – томительным нытьем в животе. Опоздаю, думал он, ненавидя летевшие мимо машины, опоздаю.

Рука устала, но он не опускал ее ни на секунду. Колымага с почти стертыми шашечками на крыле резко вильнула и остановилась, визгнув тормозами.

– На вокзал! Опаздываю! Червонец!

Ну вот, подумал он, пристраивая к ногам чемодан, теперь от меня ничего не зависит. Он похолодел, нашарив пустой карман пальто. Но обошлось – бумажник лежал в костюме. Так можно и зайкой стать, подумал он, разворачивая билет. Пятнадцать тридцать две. Эх, если бы хотя бы сорок...

– По кольцу поедem?

Таксист кивнул, повернувшись. Был он жирен, маленькие глазки сияли над небритыми щеками. Окорки рук в черных бухгалтерских нарукавниках тяжело лежали на руле. Ну и тип.

Пассажир откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза, пытаясь расслабиться. Должны успеть. Он мысленно прочертил свой маршрут от стоянки такси до вагона, чтобы не дергаться потом, в цейтноте. Не надо было ехать к ней сегодня. Нет, надо! За неделю она бы устроила дел... А теперь? Он мотнул головой, отгоняя неприятные мысли. Позвонит жене? Вряд ли. Ладно, подумал он, время терпит. Кажется, терпит. До какого месяца делают аборт? Покосилась налево. Ну и тип.

Мелькнули часы у метро, но они спешили – свои он сверял, ошибки быть не могло. Проспект стремительно уходил за спину. Каждый светофор, без остановки улетевший назад, был выигранным очком. Молчаливый таксист бросал машину в ничтожные просветы; внутри

что-то скрипело, но разделительная полоса уходила под колеса и счетчик ритмично отщелкивал стометровки. Ну и колымага, снова удивился он. Интересно, сколько ей лет?

Резкое торможение бросило их вперед; красный глаз тупо уставился сквозь лобовое стекло. С досады он долбанул кулаком по ноге. Таксист усмехнулся, блеснув золотым зубом, пробурчал: успеем... Мигнул желтый; они рванулись с места и, выскочив на свободный ряд, первыми полетели вперед.

– Давно шоферишь? – спросил пассажир, пытаюсь отвлечься от этой погони за временем.

– Не, – пробурчал таксист, не отрывая взгляда от дороги. – Вообще-то я лодочник.

– Чего? – недослышал пассажир. – А-а, на «Водном»?

– Ну да, вроде того...

Надо заранее достать билет, подумал пассажир. Лодочник, надо же. Почему лодочник?

Он снова вспомнил о ней: как позвонила утром, сказала «приезжай», он спросил, что случилось (хорошо еще, жены дома не было), а она снова – «приезжай, пожалуйста», а голос такой, что он сразу обо всем догадался. Сидела, как неживая, куталась в плед, как в кокон, когда заговорил о деньгах – заревела, а времени что-либо объяснять уже не оставалось совсем. Зря он вообще завел этот разговор об аборте. Главное, решил же отложить на потом – нет, дернул черт за язык! Никогда нельзя отступать от плана, никогда!

Проползло слева и сгнуло с глаз зеленоватое здание Склифа; ерзая от нетерпения, он не отрывал взгляда от выглянувшего шпиля высотки (там уже рукой подать!) – когда вдруг сдавило сердце; как не вовремя, подумал он, только бы нигде не застрять, только бы больше нигде не застрять!

– Сердце, – глухо говорит человек за рулем, на миг скосив вправо припухлый внимательный глаз.

Они мчатся по Садовому кольцу, с гудением уходит под машину белый пунктир, и впритирку начинают проноситься странные мысли: какое неприятное лицо у этого человека за рулем, что со мною, куда я еду, почему так ноет в груди, и эта испарина, и зимний день расплывается за лобовым стеклом?

– Значит, сердце, – говорит таксист.

Они въезжают под железнодорожный мост; грохот врывается в уши, чья-то рука рвет ему грудь – он не может ни вздохнуть, ни застонать от боли, он закрывает глаза, а когда открывает их —

...навстречу летит неровная, надвое рассекающая березняк проселочная дорога. Небритый человек за рулем напевает что-то на незнакомом гортанном языке, и сквозь гул пассажир слышит свой голос:

– Куда мы?..

– Тут короче будет, – не поворачиваясь, бурчит человек и снова принимается петь.

Стрелка спидометра мотается по шкале, и счетчик начинает вразброд выщелкивать цифры, похожие на годы. Колымага несется по пустой дороге.

– Где мы? – Человек не отвечает. – У меня же поезд! Человек не отвечает.

– Куда вы едете?

Боли почти нет почему-то, но собственный вопрос доносится до него совсем издали; березняк обрывается, дорога круто уходит вниз. Тяжелая рука переключает скорость.

– Послушайте...

Он смотрит на табличку с фамилией и осекается, прочитав. Лодочник, врывается в мозг. Лодочник! Нет, этого не может быть, этого же не бывает!

Но излучина реки уже сверкает на солнце.

И тогда он все понимает и начинает кричать. Он кричит, вжавшись в дверцу,



пронзительно, на одной ноте. Потом крик переходит в скулеж.

Машина тормозит у переправы; лодку, покачивая, бьет о мостки.

– Я не хочу! – визжит он, закрываясь чемоданом. – Мне на поезд!

Рука в мелких черных волосинках выключает счетчик.

– Выходи.

Пассажир затравленно мотает головой.

Лодочник молча выходит сам. Пассажир вцепляется в дверцу обеими руками; сильный рывок выбрасывает его на морозный воздух. Красно-черный чемодан медленно, как в замедленной съемке, валится в снег. Черные полы пальто лежат на белом крыльями раненой птицы. Стоя на коленях, пассажир начинает зачем-то застегивать отскочивший замок. Пальцы не слушаются его.

– Идем.

Тяжелая рука на плече.

Это нечестно, кричит кто-то внутри, почему я? Я еще молод, я не хочу, у меня билет на поезд! Рука в бухгалтерском нарукавнике легонько толкает его в спину – вниз, к черной воде, на которой, скребясь о низкие мостки, покачивается одинокая лодка.

– Отпусти меня, – тихо просит пассажир.

Человек пожимает плечами: ничего личного, план по перевозке...

А я, кричит кто-то внутри, как же я? Тропинка петляет сквозь молодой осинник, все это, как сон, но проснуться не получается. Ноги слабеют; поскользнувшись, он инстинктивно хватается за тонкий шершавый ствол – тот чуть пружинит под рукою, согревая ладонь. Весна! Будут лужи на асфальте, и шальной мартовский воздух, и женщины бабочками выпорхнут из зимних одежд... Как глупо, какая тоска, я не хочу в твою лодку, старик, отпусти меня!

Птицы взмывают над перелеском, сорванные хохотом лодочника.

На мостках, сжимая в кулаке монету, стоит женщина с бледным зареванным лицом. Широкая черная река мерно проходит за ее спиной.

– О-го-го, иду! – радостно кричит небритый старик и быстро ковыляет вниз.

– Стой тут, я мигом, – говорит он, обернувшись. – Знакомая твоя, вишь, раньше успела. В порядке, значит, очереди...

Вороны орут в небе. Ветер начинает раскачивать стволы. Еще не веря в спасение, человек в черном пальто, скуля и цепляясь за кустарник, бросается карабкаться наверх по склону – туда, где возле такси с распахнутой дверцей лежит на снегу его чемодан.

Там, наверху, он оборачивается. Лодка покачивается на середине реки, и лица женщины уже не видно. Визг уключин гонит его, падающего и тяжело бегущего прочь по снежной целине, настигает и снова гонит прочь, белое поле блестит и расплывается перед глазами, медленно превращаясь в залитый светом потолок...

Он любил стоять у окна палаты, глядя на медсестричек, перебегающих из корпуса в корпус в накинутых на плечи пальто. Дело шло к весне. Сердце почти не беспокоило его, и лечащий врач был им доволен.

Кроме жены и матери, никто больным не интересовался; только они да еще какой-то придурковатый таксист, вкативший однажды на своей колымаге через ворота морга.

Ему ответили в окне справок, что состояние хорошее.

# Синдром Степанова

Степанов ехал в троллейбусе с работы и вдруг вспомнил, как сжигали Яна Гуса. Вспомнил, как, ахнув, качнулась толпа за оцеплением, когда, потрескивая, занялся хворост, и вороний крик, взмывший над площадью, и самого Гуса – яростного, намертво прикрученного к тесаному столбу. В давке было трудно дышать, пахло потом и луком. Степанов вспомнил старушку, медленно идущую через площадь, ее мелкое глуповатое лицо и ветку хвороста в птичьей сухой лапке, гогот и улюлюканье толпы. А вот фразы насчет святой простоты, Степанов не помнил: да ее, кажется, и не было вовсе.

Гус молчал, пока, механически, творил ему отпущение бритоголовый детина с пятном от завтрака на сутане, и только когда пламя взметнулось по ногам, закричал что-то срывающимся голосом, но тут заголосили женщины. Через минуту пламя бушевало в полной тишине; люди начали расходиться.

Выйдя из троллейбуса, Степанов перешел через улицу, остановился прикурить, но зажигалка зачиркала вхолостую. Он потряс ее, но когда из ладоней выскочил наконец столбик огня, еще несколько секунд стоял, забыв про сигарету.

Что-то было не так.

Домой Степанов приехал совершенно разбитым. Заварил чай, сунул на всякий случай под мышку градусник, бухнулся в кресло, взял газету с кроссвордом. Прикрыл глаза. Кровь пульсировала в висках глухими толчками; в таком же ритме в осеннем Берлине, в тридцать четвертом, печатали шаги мускулистые ребята в униформе, и в сыром сумраке орал из репродукторов самозаводящийся фальцет.

Восторженно визжали фройлен в узких пальто. Возле Степанова стоял какой-то студентик и пронзительно кричал «хайль», не забывая посматривать, все ли кричат вокруг него.

Степанов поежился, вспомнив этот внимательный взгляд из-за стеклышек.

– Да, – вслух сказал он, и это означало, что все так и было: и истеричные фройлен со вскинутыми в приветствии руками, и песнопения (да-да, они там все время пели), и очкарик.

Он помнил это.

Степанов вынул градусник (тридцать шесть и восемь, и причем тут вообще градусник), пододвинул телефон и, посидев еще немного, набрал номер.

– Ну, Степанов, ты непрост, – рассмеялась женщина на том конце провода, когда он, смущаясь, рассказал о симптомах. Но, сменив тон, тут же успокоила: ничего страшного, давно описанное явление; все это Степанов слышал, читал, смотрел в кино, потом что-то подтолкнуло воображение (горящие листья на бульваре, шум крови в ушах), и началась неуправляемая цепь ассоциаций на фоне общей эмоциональной возбужденности пациента, о какой возбужденности ей, кстати, известно, как никому.

Женщина посоветовала пациенту принять таблетку феназепама, хорошенько выспаться, а наутро позвонить еще раз тому же врачу и пригласить врача в какое-нибудь хорошее кафе...

Поговорив еще в таком тоне, они повесили трубки, а в десять Степанов лег и проспал ночь без сновидений.

Проснулся он за несколько минут до будильника. Спать не хотелось, озноб прошел, голова была ясной. Вчерашнее ушло без следа.

«Интересно, что это со мной было?» – как о постороннем, подумал Степанов и попытался что-нибудь вспомнить. Вспомнилась девушка, которую он любил когда-то, запах ее волос и шепот – десятый класс, весна семьдесят второго. Вспомнился выездной детсад в

Подлипках, папа и мама, приехавшие на родительский день, начало шестидесятых, да – лето шестьдесят первого, как раз в тот день полетел Герман Титов.

Последнее, что помнил Степанов, был двор-колодец в районе Пироговки, сумерки и мама, зовущая ужинать. Дальше начиналось размытое изображение, невыученный урок из учебника истории, где римскому императору пририсованы со скуки очки с усами, но уже ни голосов, ни лиц.

«Как же так? – подумал Степанов. – Ведь я вчера все помнил. Я же все помнил!»

Острое чувство тревоги вдруг накатило на сердце – на секунду показалось Степанову, что от четкости фокуса, от ясности его памяти зависит что-то очень важное для всех.

Потом тревога ушла; Степанов лежал в постели, смотрел на разлинованный солнцем потолок и собирался с мыслями. Легкая тюлевая занавеска, поддуваемая ветром, чуть покачивалась, шуршала по ребру письменного стола. Потикивали часы. Впереди маячил рабочий день с тысячью маленьких неотложных дел; разнеживаться было некогда. С улицы доносились голоса, и один из них – резкий и чуть надсадный – показался Степанову знакомым.

Спустя час, маясь на троллейбусной остановке, он вспомнил: такой голос был у генерала Милорадовича, когда, рывками бросая коня по заснеженной площади, он кричал что-то угрюмому каре, застывшему в ожидании Трубецкого.

1985

Леня Фишман играл на трубе.

Он играл в мужском туалете родной школы, посреди девятой пятилетки, сидя на утыканном «бычками» подоконнике, прислонившись к раме тусклого окна.

На наглые джазовые синкопы к дверям туалета сбегались учительницы. Истерическими голосами они звали учителя труда Степанова. Степанов отнимал у Фишмана трубу и отводил к директрисе – и полчаса потом Фишман кивал головой, осторожно вытряхивая директрисины слова из ушей, в которых продолжала звенеть, извиваться тугими солнечными изгибами мелодия.

«Дай слово, что я никогда больше не услышу этого твоего, как его?» – говорила директриса. – «Сент-Луи блюз», – говорил Фишман. – «Вот именно». – «Честное слово».

Назавтра из мужского туалета неслись звуки марша «Когда святые идут в рай». Леня умел держать слово.

На третий день учитель труда Степанов, придя в туалет за трубой, увидел рядом с дудящим Фишманом Кузякина из десятого «Б». Вася сидел на подоконнике и, одной рукой выстукивая по коленке, другой вызванивал вилкой по перевернутому стакану.

– Пу-дабту-да! – закрыв глаза, выдувал Фишман.

– Туду, туду, бзденьк! – отвечал Кузякин.

– Пу-дабту-да! – пела труба Фишмана.

– Туду, туду, бзденьк! – звенел стакан Кузякина.

– Пу-дабту-да!

– Бзденьк!

– Да!

– Бзденьк!

– Да!

– Бзденьк!

– Да!

– Бзденьк!

– Да-а!

– Туду, туду, бзденьк!

Не найдя, что на это ответить, Степанов захлебнулся слюной.

Из школы их выгоняли вдвоем. Фишман уносил трубу, а Кузякин – стакан и вилку.

Степанов ждал музыкантов у дверей для прощального напутствия.

– Додуделись? – ядовито поинтересовался он. В ответ Леня дунул учителю в ухо.

– Ты кончишь тюрьмой, Фишман! – крикнул ему вслед Степанов. Слово «Фишман» прозвучало почему-то еще оскорбительнее, чем слово «тюрьма».

Учитель труда не угадал. С тюрьмы Фишман начал.

В тот же вечер тема «Когда святые идут в рай» неслась из подвала дома номер десять по Шестой Сантехнической улице.

Ни один из жильцов дома не позвонил в филармонию. В милицию позвонили семеро.

За музыкантами приехали – и дали им минуту на сборы, предупредив, что в противном случае обломают руки-ноги.

– Сила есть – ума не надо, – вздохнув, согласился Фишман.

В подтверждение этой нехитрой мысли, с фингалом под глазом, он сидел на привинченной лавочке в отделении милиции и отвечал на простые вопросы лейтенанта Зобова.

В домах сообщение о приводе было воспринято по-разному. Папа-Фишман позвонил в милицию и, представившись, осведомился, по какой причине был задержан вместе с товарищем его сын Леонид. Выслушав ответ, папа-Фишман уведомил начальника отделения, что задержание было противозаконным.

А мама-Кузякина молча отерла о передник руки и влепила сыну по шее тяжелой, влажной от готовки ладонью.

Удар этот благословил Васю на начало трудового пути – учеником парикмахера. Впрочем, трудиться на этом поприще Кузякину пришлось недолго, поэтому он так и не успел избавиться от дурной привычки барабанить клиенту пальцами по голове.

А по вечерам они устраивали себе Новый Орлеан в клубе санэпидемстанции, где Фишман подрядился мыть полы и поливать кадку с фикусом.

– Пу-дабту-да! – выдувал Фишман, закрыв глаза.

– Туду, туду, бзденьк! – отвечал Кузякин. На следующий день после разрыва он торжественно вернул в буфет родной школы стакан и вилку, а взамен утянул из-под знамени совета дружины два пионерских барабана, а со двора – цинковый лист и ржавый чайник. Из всего этого Вася изготовил в клубе санэпидемстанции ударную установку.

А рядом с ним, по-хозяйски облапив инструмент и вдохновенно истекая потом, бумкал на контрабасе огромный толстяк по имени Додик. Додика Фишман откопал в музыкальном училище, где Додика пытались учить на виолончелиста, а он сопротивлялся. Додику мешал смычок.

В антракте Фишман поливал фикус. Фикус рос хорошо – наверное, понимал толк в музыке. Потом Додик доставал термос, а Кузякин – яблоки и пирожки от мамы. Все это съедал Фишман: от суток дудения в животе у него, по всем законам физики, образовывалась пустота.

В конце трапезы Леня запускал огрызком в окно – в вечернюю тьму, где вместе с другими строителями социализма гремел костями о разошедшиеся доски одного отдельно взятого стола учитель труда Степанов.

Две недели он делал это под звуки фишмановской трубы, а в начале третьей недели тема марша «Когда святые идут в рай» все-таки пробила учительский череп. Степанов выскочил из-за доминошного стола и, руша кости, понесся в клуб.

Дверь в клуб была закрыта на ножку стула, и Фишман и Ко дважды исполнили учителю на бис марш «Когда святые идут в рай».

Свирепая правота обуяла Степанова. Тигром-людоедом залег он в засаду у дверей клуба, но застарелая привычка отбирать у Фишмана трубу сыграла с ним злую шутку. Едва, выскочив из темноты, он вцепился в инструмент, как хорошо окрепший при контрабасе Додик молча стукнул его кулаком по голове.

Видимо, Степанову досталось по идеологическому участку мозга, потому что на следующее утро он наклеузначал на всех троих чуть ли не в ЦК партии.

В то историческое время партия в стране была всего одна, но такая большая, что даже беспартийные не знали, куда от нее деться. Через неделю Фишман, Додик и Кузякин вылетели из клуба санэпидемстанции, как пули из нарезанного ствола...

С тех пор прошло три пятилетки и десять лет жизни без руля и ветрил.

Теперь в бывшем клубе санэпидемстанции – казино со стриптизом: без фикуса, но под охраной. В школе, откуда выгнали Фишмана с Кузякиным, сняли портрет Брежнева, повесили портрет Горбачева, а потом сняли и его. Лейтенант Зобов, оформлявший привод, стал майором Зобовым, а больше в его жизни ничего не произошло.

Вася Кузякин чинит телевизоры.

Он чистит пайки, разбирает блоки и заменяет кинескопы, а после работы смотрит футбол. Но когда вечером в Лондоне, в концертном фраке, выходит на сцену Леня Фишман и поднимает к софитам сияющий раструб своей трубы:

– Пу-дабту-да! —

Вася вскакивает среди ночи:

– Туду, туду, бзденьк!

– Кузякин, ты опять? – шепотом кричит ему жена. – Таньку разбудишь! Выпей травки, Васенька.

– Да-да... – рассеянно отвечает Кузякин, а в это время в Канаде среди бела дня оцепеневают у своей бензоколонки Додик, и клиенты бешено давят на клаксоны, призывая его перестать бумкать губами, открыть глаза и начать работать.

– Сволочь, – бормочет, проснувшись в Марьиной роще, пенсионер Степанов, – опять приснился.

Этюд

– «Оф... фен... ба... хер!» – прочел Карабукин и грохнул крышкой пианино.

– Нежнее, – попросил клиент.

– А мы – нежно... От винта! – Движением плеча Карабукин оттер хозяина инструмента, впрягся в ремень и скомандовал:

– Взяли!

Лысый Толик на той стороне «Оффенбахера» подсел и крякнул, принимая вес. Обратно он вынырнул только на площадке у лифта. Лицо у Толика было задумчивое.

– Тяжело? – сочувственно поинтересовался клиент.

– Советские легче, – уклончиво ответил Толик.

– Раза в полтора, – уточнил Карабукин. Он часто дышал, облокотившись на «Оффенбахер».

Они стояли на черт знает каком этаже, а грузовой лифт – на третьем. Уже два месяца.

– Взяли, – сказал Карабукин.

Через пару пролетов Карабукин молча лег лицом на «Оффенбахер» и лежал так, о чем-то думая, минут десять. Лысый Толик вылез из лямки и сполз вниз по стене. Он посидел, обтер рукавом поверхность головы и, обратившись в пространство, предложил покурить. Клиент торопливо распахнул пачку. Толик взял одну сигарету, потом подумал и взял еще три.

Карабукин курить не стал.

– Здоровье бережете? – льстиво улыбнулся клиент – и сам покраснел от своей бестактности.

– Здоровья у нас навалом, – ответил цельнолитой Карабукин, разглядывая клиента, похожего на подержанную мягкую игрушку. – Можем одолжить.

Тот испугался:

– Не надо, что вы!

Помолчали. Карабукин продолжал рассматривать клиента, отчего тот еще уменьшился в размерах.

– Сам играешь? – кивнув на инструмент, спросил наконец грузчик.

– Сам, – ответил клиент. – И дочку учу. Наступила тишина, прерываемая свистящим дыханием Толика.

– На скрипке надо учить, – посоветовал Карабукин. – На баяне максимум.

– Извините меня, – сказал клиент.

За полчаса грузчики спустили «Оффенбахер» еще на пару пролетов. Они кряхтели, хрипели и обменивались короткими птичьими сигналами типа «на меня», «стой», «ты держишь?» и «назад, блядь, ногу прищемил».

Хозяин инструмента, как мог, мешался под ногами.

Потом Толик объявил, что либо сейчас умрет, либо сейчас будет обед. Грузчики пили кефир, вдумчиво заедая его белой булкой. Глаза у них были отрешенные. Клиент, стараясь не раздражать, пережидал за «Оффенбахером».

– Толян, – спросил наконец Карабукин. – Вот тебе сейчас чего хочется?

– Бабу, – сказал Толян.

– Хер тебе на рыло, – доброжелательно сообщил Карабукин. – А тебе?

– Мне? – Клиент слабо махнул рукой, подчеркивая ничтожность своих притязаний. – Мне бы – переехать поскорее... Я не в том смысле, что вы медленно! – торопливо добавил он.

– А в каком? – спросил Карабукин.

– В смысле: много работы.

– Это вот?.. – Карабукин пошевелил в воздухе растопыренной пятерней.

– Да, – стыдясь себя, сказал клиент.

– А бабы, значит, тебе не надо? – уточнил Карабукин.

– Ну почему? – Клиент покраснел. – Этот аспект... – И замолк, сконфуженный.

Они помолчали.

– А вам, – спросил клиент из вежливости, – чего хочется?

– Мне, – сказал Карабукин, – хочется сбросить твою бандуру вниз.

– Зачем? – поразился клиент.

– Послушать, как ебанется, – ответил Карабукин. Клиент пошел пятнами. – Ладно, ни бэ! – успокоил Карабукин. – Я пошутил.

Толик заржал сквозь булку.

– Что вы нашли смешного? – спросил клиент.

– А вот это... – охотно ответил Толик и двумя руками изобразил падение «Оффенбахера» в лестничный пролет. И опять от души захохотал.

– Это не смешно, – сказал клиент.

– Ладно, – откликнулся незлобивый Толик. – Давай лучше изобрази чего-нибудь. Чем зря стоять.

Клиент, в раннем детстве раз и навсегда ударенный своей виной перед всеми, кто не выучился играть на музыкальных инструментах, вздохнул и открыл крышку. «Оффенбахер» ощерился на лестничную клетку желтыми от старости зубами.

Размяв руки, очкарик быстро пробежал правой хроматическую гамму.

– Во! – сказал восхищенный Толик. – Цирк! Клиент опустил полноватым задом на подоконник, нащупал ногой педаль и осторожно погрузился в первый аккорд. Глаза его тут же затянуло поволокой, пальцы забродили вдоль клавиатуры.

– Ну-ка, стой, – приказал Карабукин.

– А? – Клиент открыл глаза.

– Это – что такое?

– Дебюсси, – доложил клиент.

– Ты это брось, – неприязненно сказал Карабукин.

– То есть? – не понял клиент. Карабукин задумчиво пожевал губами.

– Ты вот что... Ты – «Лунную сонату» можешь? Очкарик честно кивнул.

– Вот и давай, – сказал Карабукин. – Без этих ваших...

– Что значит «ваших»? – насторожился клиент.

– «Лунную сонату», – отрезал Карабукин и для ясности снова пошевелил в воздухе растопыренными пальцами. – Добром прошу.

– Хорошо, – вздохнул пианист. – Вам – первую часть?

– Да уж не вторую, – сказал Карабукин.

На звуки «Лунной» откуда-то вышла старуха, похожая на некормленное привидение. Она прошаркала к «Оффенбахеру», положила на крышку сморщенное, средних размеров яблоко, бережно перекрестила игравшего, поклонилась в пояс грузчикам и ушла восвояси.

– Вот! – нравоучительно сказал Толику Карабукин, когда соната иссякла. – Бетховен! Глухой, между прочим, был на всю голову! А у тебя, мудилы, уши, как у слона, а что толку?

– Сам ты слон, – ничуть не обидевшись, ответил Толик – и, стуча несчастным «Оффенбахером» по стенами и перилам, они поволокли его дальше. Клиент морщился от каждого удара, прижимая заработанное яблоко к пухлой груди.



– Бетховен... – сипел Толик, размазанный лицом по инструменту. – Бетховен бы умер тут. Глухой... Да он бы ослеп!

На очередной площадке они рухнули на пол. Из легких вырывались нестройные хрипы. Клиент, стоя в отдалении, опасливо заглядывал в глаза трудящимся. Ничего хорошего как для художественной интеллигенции вообще, так и, в особенности, для пианистов в этих глазах видно не было.

Клиент же, напротив, любил простой народ. Любил по глубокому нравственному убеждению, легко переходившему в первобытный ужас. В отчаянном расчете на взаимность он любил всех этих грузчиков, сантехников, шоферов, продавщиц... Гармония труда и искусства грезилась ему всякий раз, когда рабочие и колхозники родной страны при случайных встречах с прекрасным не били его за бессмысленную беглость пальцев, а, искренне удивляясь, давали немного денег на жизнь.

– Хотите, я вам еще сыграю? – не зная, чем замолить свою вину, осторожно предложил он.

– Потерпеть не можешь? – спросил Карабукин.

– Не, пускай, почему! – вдруг согласился Толик. – Концерт, блядь, по заявкам! – рассмеялся он. – Давай, убогий, люди!

Музыка взметнулась в пролет лестничной клетки. Навстречу, по прямой кишке мусоропровода, просвистело вниз что-то большое и гремучее, где-то в недостижимом далеке ударилось о землю и со звоном разбилось на части. С последним аккордом клиент погрузился в «Оффенбахер» аж по плечи – и затих.

– Наркоман, что ли? – с уважением спросил Толик. – Чего глаза закатил?

– погоди, – осек его Карабукин, озадаченный услышанным. – Это – что было?

– Шуберт.

– Тоже глухой? – поинтересовался Толик.

– Нет, что вы! – испугался клиент.

– Здоровско! – Толик так обрадовался за Шуберта, что даже встал. – А я смотрите что могу!

Он шагнул к «Оффенбахеру», одной рукой, как створку шкафа, отвел в сторону клиента, обтер руки о штаны, отсчитал нужную клавишу и старательно, безошибочно и громко отстукал собачий вальс. Каждая нота вальса отражалась на лице хозяина инструмента, но прервать исполнение он не решился.

В последний раз влупив по клавишам, Толик жизнерадостно расхохотался, после чего на лестничной клетке настала относительная тишина. Только в нутре у «Оффенбахера», растревоженном сильными руками энтузиаста, еще долго что-то гудело.

– Толян, – сказал пораженный Карабукин, – что ж ты молчал?

– В армии научили, – скромно признался Толян.

– Школа жизни! – констатировал Карабукин и повернулся к клиенту. – Теперь ты.

...День клонился к закату. Толик лежал у стены, широко разбросав конечности по лестничной клетке неизвестно какого этажа.

За время их путешествия с «Оффенбахером» в подъезде прозвучала значительная часть мирового классического репертуара. Переноска инструмента сопровождалась вдохновенными докладами клиента о жизни и творчестве лучших композиторов прошлого. Сыграно было: семнадцать прелюдий и фуг, дюжина этюдов, уйма пьес и один хорошо темперированный клавир.

В районе пятнадцатого этажа Толик сделал попытку исполнить на «бис» собачий вальс, но был пристыжен товарищем – и покраснел. В последний раз это случилось с ним в

трехлетнем возрасте, во время диатеза.

Полет валькирий сменился шествием гномов, а земли все не было. Лысый, крепкий, как у лося, череп Толика блестел в закатном свете. Чудовищное количество переходило в какое-то неясное качество, и казалось: череп меняет форму прямо на глазах.

Напротив Толика, привалившись к косяку и с тревогой прислушиваясь к своей развороченной душе, сидел Карабукин.

– Это – кто? – жадно спрашивал он.

– Рахманинов, – отвечал клиент.

– Сергей Васильевич? – уточнял Карабукин.

Они стаскивали «Оффенбахер» еще на пару пролетов вниз и снова располагались для культурного досуга.

– А можно вас попросить, Николай Игнатьевич, – сказал Карабукин как-то под утро, – исполнить еще раз вот это... – Суровое лицо его разгладилось, и, просветлев, он намычал мелодию. – Вон там играли... – И показал узловатым пальцем вверх.

– «Грезы любви»? – догадался клиент.

– Они, – сказал Карабукин, блаженно улыбнулся – и заснул под музыку.

Через минуту в подъезде раздался голос проснувшегося Толика.

– Ференц Лист! – сказал Толик. Сильно испугавшись сказанного, он озадаченно потер лысую голову. Потом лицо его разнесло кривой улыбкой.

– Господи, твоя воля... – прошептал он.

Однажды Николай Игнатьевич съездил на лифте домой и привез оттуда к завтраку термос чая, сушки и бутерброды. Он был счастлив полноценным счастьем миссионера.

Грузчики не спали. Они разговаривали.

– Все-таки, Анатолий, – говорил Карабукин, – я не могу разделить ваших восторгов относительно Губайдулиной. Увольте. Может быть, я излишне консервативен, но мелодизм, коллега! – как же без мелодизма!

– Алексей Иванович, – отвечал лысый Толик, прикладывая к шкафообразной груди огромные ладони, – мелодизм безнадежно устарел! Еще в тысяча девятьсот восьмом году, как вы, конечно, помните, Скрябин писал Танееву...

Тут они заметили подошедшего клиента и внимательно на него посмотрели, что-то вспоминая.

– Простите, что вмешиваюсь, – сказал клиент. – Но давайте попьем чайку – и двинемся.

– Куда? – спросил Карабукин.

– Как «куда»? – бодро ответил клиент. – Вниз!

– Не хочется нас огорчать, Николай Игнатьевич, – сказал Карабукин и, повернувшись, нежно погладил лаковый бок «Оффенбахера», – но вниз мы пойдем без него.

– Как «без него»?

– Одни.

– Как «одни»?

– Ну-ну, – сказал Карабукин. – Будьте мужчиной.

– Видите ли, – мягко объяснился Толик, – я ведь не подъемный кран. И Алексей Иванович тоже. Согласитесь: унизительно тяжести на себе таскать, когда повсюду разлита гармония...

– Я вам заплачу... – позорно забормотал клиент, шаря по карманам.

– Эх, Николай Игнатьевич, Николай Игнатьевич, – укоризненно протянул Карабукин, – даже странно слышать от вас такое...

– Что деньги?... – заметил лысый Толик. – Бессмертия не купишь.

Они по очереди пожали клиенту вялую руку, спросили у него адрес консерватории и ушли.

Клиент сел на ступеньку и минут пять смотрел на «Оффенбахер». Он чувствовал себя миссионером, съеденным во имя Христа. Потом он мысленно попробовал «Оффенбахер» приподнять и мысленно умер. Потом воля к жизни победила, клиент вызвал лифт и направился к магазину.

Через пять минут он вернулся с тремя мужиками, которым как раз переноски «Оффенбахера» не хватало, чтобы наклюкаться наконец до лысых ежей. Мужики впряглись в оставленные грузчиками ремни и с криком понеслись вниз.

Через пять минут, сильно постаревшие, они повалились на лестничную площадку и начали дышать кто чем мог.

– Слышь, хозяин, – придя в себя, заявил наконец один из вольнонаемных, – ну-ка, быстро сбацал чего-нибудь.

– Ага! – поддержал другой. – Пока все равно лежим.

– Ты это... – сказал третий и почесал голову сквозь кепку. – «Лунную сонату» можешь?

Все трое уставились на работодателя, и он понял, что его звездный час настал.

– А вот хер вам всем на рыло! – сказал хозяин «Оффенбахера». – Тащите так!

1995

# Жизнь масона Циперовича

Ефим Абрамович Циперович работал инженером, но среди родных и близких был больше известен как масон.

По дороге с работы домой Ефим Абрамович всегда заходил в «Гастроном». Человеку, желавшему что-нибудь купить, делать в «Гастрономе» было нечего, это знали все, включая Ефима Абрамовича, но каждый вечер он подходил к мясному отделу и спрашивал скучающего детинушку в халате:

– А вырезки, что, опять нет?

Он был большой масон, этот Циперович.

Дома он переодевался из чистого в теплое и садился кушать то, что ставила на стол жена, Фрида Моисеевна, масонка. Фридой Моисеевной она была для внутреннего пользования, а снаружи для конспирации полжизни проходила Феодорой Михайловной.

Ужинал Ефим Абрамович без водки. Делал он это специально. Водкой масон Циперович спаивал соседей славянского происхождения. Он специально не покупал водки, чтобы соседям больше досталось. Соседи ничего не подозревали и напивались каждый вечер, как свиньи. Он был очень коварный масон, этот Циперович.

– Как жизнь, Фима? – спрашивала Фрида Моисеевна, когда глотательные движения мужа переходили от «престо» к «модерато».

– Что ты называешь «жизнью»? – интересовался в ответ Ефим Абрамович. Масоны со стажем, они могли разговаривать вопросами до светлого конца.

После ужина Циперович звонил детям. Дети Циперовича тоже были масонами. Они масонили, как могли, в свободное от работы время, но на жизнь все равно не хватало, потому что один был студент, а в ногах у другого уже ползал маленький масончик по имени Гриша, радость дедушки Циперовича и надежда мирового сионизма.

Иногда из соседнего подъезда приходил к Циперовичам закоренелый масон Гланцман, в целях конспирации взявший материнскую фамилию Финкельштейн и ушедший с нею в глубокое подполье. Гланцман пил с Циперовичами чай и жаловался на insult и пятый пункт своей жены. Жена была украинка и хотела в Израиль. Гланцман в Израиль не хотел, хотел, чтобы ему дали спокойно помереть здесь, где промасонил всю жизнь.

Они пили чай и играли в шахматы. Они любили эту нерусскую игру больше лапты и хороводов – и с трудом скрывали этот постыдный факт даже на людях.

После пары хитроумных гамбитов Гланцман-Финкельштейнов уползал в свое сионистское гнездо во второй подъезд, а Ефим Абрамович ложился спать и, чтобы лучше спалось, брал «Вечерку» с кроссвордом. Если попадалось: автор оперы «Демон», десять букв – Циперович не раздумывал.

Отгадав несколько слов, он откладывал газету и гасил свет над собой и Фридой Моисеевной, умасонившейся за день так, что ноги не держали.

Он лежал, как маленькое слово по горизонтали, но засыпал не сразу, а о чем-то сначала вздыхал. О чем вздыхал он, никто не знал. Может о том, что никак не удастся ему скрыть свою этническую сущность; а может, просто так вздыхал он – от прожитой жизни.

Кто знает?

Ефим Абрамович Циперович был уже пожилым масон и умел вздыхать про себя.

Страдая от жары, Маргулис предъявил офицеру безопасности полиэтиленовый пакет с надписью «Мальборо», прикрыл лысеющее темя картонным кружком – и прошел к Стене.

У Стены, опустив головы в книжки, стояли евреи в черных шляпах.

Собственно, Маргулис и сам был евреем. Но здесь, в Иерусалиме, выяснилось, что евреи, как золото, бывают разной пробы. Те, что стояли в шляпах лицом к Стене, были эталонными евреями, и то, что у Маргулиса было национальностью, у них было профессией; они безукоризненно блестели под Божьим солнцем. А в стране, откуда приехал Маргулис, словом «еврей» дразнили друг друга дети.

Дегустируя торжественность встречи, он застыл и прислушался к себе. Ему хотелось получше запомнить свои мысли при первой встрече со Стеной, и это оказалось совсем несложно. Сначала пришла мысль о стакане компота, потом – о прохладном душе на квартире у тетки, где он остановился постоем. Потом он ясно увидел стоящим где-то далеко внизу, у какой-то стены, дурака с пакетом «Мальборо» в руке и картонным кружком на запеченной башке, и понял, что это он сам. Потом наступил провал, потому что Маргулис так перегрелся. Из ступора его вывел паренек в кипе и с лицом интернатского завхоза.

– Ручка есть? – потерев Маргулиса за локоть, спросил паренек. – А то моя сдохла. – И он помахал в душном мареве пустым стержнем. В другой руке у паренька было зажато адресованное лично Господу заявление страниц на пять.

– Нет, – ответил Маргулис.

– Нет ручки? – не поверил паренек. Маргулис виновато пожал плечами. – А че пришел?

Маргулис не сразу нашелся, что ответить.

– Так, постоять... – выдавил он наконец.

– Хули стоять, – удивился паренек. – Писать надо! Он ловко уцепил за трицепс проходившего мимо дядьку и с криком «хэв ю э пен?» исчез с глаз.

Маргулис огляделся. Вокруг, действительно, писали. Писали с таким сосредоточенным азартом, какой на Родине Маргулис видел только у киосков «Спортлото» за день до тиража. Писали все, кроме тех, что стояли в шляпах у Стены: их заявления Господь принимал в устной форме.

Маргулис нашел клочок бумаги и огляделся. У лотка в нише стоял старенький иудей с располагающим лицом московского интеллигента. Маргулис, чей спекшийся мозг уже не был способен на многое, попросил ручку жестами. Старичок доброжелательно прикрыл глаза и спросил:

– Вы еврей?

Маргулис кивнул: этот вопрос он понимал даже на иврите.

– Мама – еврейка? – уточнил старичок. Видимо, гоим письменные принадлежности не выдавались.

Маргулис опять кивнул и снова помахал в воздухе собранными в горсть пальцами. Старичок что-то крикнул, и перед Маргулисом вырос седобородый старец гренадерского роста.

Маргулис посмотрел ему в руки, но ничего пишущего там не обнаружил.

– Еврей? – спросил седобородый. Маргулис подумал, что бредит.

– Йес, – сказал он, уже не надеясь на жесты.

– Мама – еврейка? – уточнил седобородый.

– Йес! – крикнул Маргулис.

Ничего более не говоря, седобородый схватил Маргулиса за левую руку и сноровисто обмотал ее черным ремешком. Рука сразу отнялась. Маргулис понял, что попался. Устраивать свару на глазах у Господа было не в его силах. Покончив с рукой, седобородый, бормоча, примотал к голове Маргулиса спадающую картонку. При этом на лбу у несчастного оказалась кожаная шишка – эдакий пробивающийся рог мудрости. Линза часовщика, в которую позабыли вставить стекло.

Через минуту взнузданный Маргулис стоял лицом к Стене и с закрытыми глазами повторял за седобородым слова, смысла которых не понимал. В последний раз подобное случилось с ним в шестьдесят шестом году, когда Маргулиса, не спрося даже про мать, приняли в пионеры.

– Все? – тупо спросил он, когда с текстом было покончено.

– Ол райт, – ответил седобородый. – Файв долларз. Маргулис запротестовал.

– О кей, ту, – согласился седобородый.

С облегчением отдав два доллара, Маргулис быстро размотал упряжь, брезгливо сбросил ее в лоток к маленькому иудею и опрометью отбежал прочь. Он знал, что людей с располагающими лицами надо обходить за версту, но на исторической родине расслабился.

Постояв, он вынул из пакета флягу и прополоскал рот тепловатой водой. Сплювывать было неловко, и Маргулис с отвращением воду проглотил. «Что-то я хотел... – подумал он, морща натертый лоб. – Ах да».

Ручку ему дал паломник из Бухары, лицом напоминавший виноград, уже становящийся изюмом.

– Я быстро, – пообещал Маргулис.

– Бери совсем! – засмеялся бухарец и двумя руками стал утрамбовывать свое послание в Стену.

Ручка была не нужна ему больше. В самое ближайшее время он ожидал решения всех проблем.

Маргулис присел на корточки, пристроил листок на пакете с ковбоем и написал: «Господи!»

Задумался, открыл скобки и приписал: «Если ты есть».

Рука ныла, лоб зудел. Картонный кружок спадал с непрерывно лысеющего темени. Маргулис вытер пот со лба предплечьем и заскреб бумагу.

У Всевышнего, о существовании которого он думал в последнее время со все возрастающей тревогой, Маргулис хотел попросить всего нескольких простых вещей, в основном касавшихся невмешательства в его жизнь.

Прожив больше полусотни лет в стране, где нельзя было ручаться даже за физические законы, Маргулис очень не любил изменений. Перестановка мебели в единственной комнате делала его неврастеником. Перспектива ремонта навевала мысли о суициде. Добровольные изменения вида из окон, привычек и гражданства были исключены абсолютно.

Закончив письмо, Маргулис перечел написанное, сделал из точки запятую и прибавил слово «пожалуйста». Потом перечел еще раз, мысленно перекрестился и, подойдя к Стене, затолкал обрывок бумаги под кусок давно застывшего раствора.

# Кинотеатр повторного фильма

Я увидел ее у кассы, пока пытался дозвониться жене.

Она рассматривала афишу на апрель: зеленый распахнутый плащ, в тонкой руке – пакет (книжки, тетрадки, яблоко – вечный студенческий набор). Я еще успел подумать: надо же, до чего похожа – но тут девушка обернулась.

Это была она, и ей было девятнадцать, как тогда, вначале.

Двенадцать лет назад.

Я повесил трубку на рычаг. Стрельнув глазами, девушка знакомо сморщила носик: вот, мол, уставился...

В дверной проем врывались свет и гомон улицы Герцена. От окошка кассы отлип долговязый парень с билетами в руке, улыбнулся, что называется – рот до ушей, и, запихивая в кошелек сдачу, шагнул ей навстречу.

Прошло еще несколько секунд, прежде чем до меня наконец дошло, что это – я сам.

Вам случалось внимательно рассматривать свои детские фотографии? Тогда вы знаете это ощущение: солнечный день с потрепанной карточки вдруг пронизывает вас теплом, и вы ясно вспоминаете и этот день, и это солнце, и старое пальтишко, – и все, что случилось потом, уместается в несколько сантиметров от вас до черно-белого прямоугольника, где весело скалится в объектив человек, которым вы были когда-то.

Взял билеты, оборачиваюсь, а она смотрит на меня и улыбается одними глазами. А глаза у нее знаете какие? Песочные, с крупинками янтаря – и когда она смотрит, кажется, что наступило лето; скорей бы укатить к черту на кулички, лежать на горячем песке у моря, и касаться друг друга, и падать в прохладную воду, и плыть рядышком...

Иногда я чувствую, что если сейчас же не поцелую ее, меня кондрашка хватит. Честное слово! А потом, никого и не было, только хмырь какой-то у телефона: главное, стоит и пялится – хоть бы трубку для приличия снял... Ну и смотри, думаю, дядя, завидуй, что тебе остается! И обнял ее еще крепче. А у нее щеки покраснели – симпатичная, сил нет! – и давай колотить мне кулачками в грудь – как фортепианными молоточками, ей-богу. «Да-да, – говорю, – войдите!», а она шепотом: «Вредина, ну вредина же!» – а у самой смешинки в глазах.

Я вспомнил этот день. Вспомнил фильм, на который мы тогда ходили, – ну конечно, он! Семьдесят третий год, конец первого курса, боже мой, сколько лет прошло! Семьдесят третий. Короткое замыкание, недосмотр небесного диспетчера – и вот они целуются, а я звоню жене и пялюсь на них, как старушка у подъезда.

Кино, потом бульвар, ее рука. «Родичи на даче...» – она сказала это, когда возвращались по Тверскому. Помню, как пересохло в горле, как мучительно долго тянулся поезд, и мы молчали, не разнимая рук. От метро до ее дома шли пешком, перешагивая сверкающие на солнце лужи, и сердце мое выпрыгивало из грудной клетки и кружило, как молодой сеттер, метров на десять впереди...

К столику, где над стаканами яблочного сока сидели парень и девушка, подошел человек. – Можно к вам?

– Пожалуйста, – ответил парень и, напрягшись, бросил взгляд в сторону: столики вокруг пустовали.

– Спасибо.

Человек поставил свой стакан и сразу отглотнул чуть ли не половину. Парень и девушка переглянулись.

– Извините, – сказал незнакомец и улыбнулся, – вдруг, знаете, захотелось посидеть рядом со счастливыми людьми.

Лицо у парня закаменело, но в голосе человека – того самого, что пилился у кассы, – не было издевки, и парень только напряженно улыбнулся в ответ.

– Вот, Паш, – откликнулась девушка, – мы с тобой, оказывается, счастливые люди... – Глаза из-под мягких ресниц с любопытством изучали незнакомца, и он сделал еще один большой глоток.

И вдруг спросил:

– Хотите, я вам погадаю? Парень усмехнулся.

– А вы умеете? – В голосе девушки звенела ирония.

– Да, – хрипло ответил он, и она, не раздумывая, протянула ладошку – легкую, хрупкую и почти прозрачную, как слюда. Человек помедлил, но девушка улыбалась, не убирая руки.

– Это не обязательно, – сказал он. – Я умею гадать по лицам.

Зачем эта встреча? Подписанное наверху – «исправленному верить»? Но что я могу изменить и что рассказать?

Что еще два года он будет ждать ее в метро с букетиком тюльпанов, что будут прогуливать лекции, бродя по привычным, как переплетенные пальцы, улочкам, по тихому, пронизанному солнцем Коломенскому, а зимой прятаться в кафешке, и он будет дыханием отогревать ее ладошки, два белых лепестка?

Что однажды эти глаза начнут избегать его, и разговор перестанет клеиться, и они промолчат всю долгую дорогу от «Темпа», где смотрели эту дурацкую комедию с де Фюнесом, и в наступивших сумерках ее рука будет лежать в его ладони неподвижно, и он сам отпустит эту чужую руку, а у дома она быстро скажет: «Ну, пока», – и войдет в подъезд, не оглянувшись?

Прошное налетело на меня, его горькая волна накрыла с головой, сбила с ног и потащила назад.

Рассказать, как встретились на следующий день, как пытались сделать вид, что ничего не произошло? Она была нежной, ее рука снова была теплой и живой, мы ели круглое, с островками варенья, мороженое из одной вазочки, мы смеялись, но ее уже уносило от меня, как уносит от Земли воздушный шарик, наполненный газом из шипящей трубки...

Потом были еще встречи и расставания, фильмы – хорошие и плохие, была холодная, нескончаемая зима и снова весна, но что-то уже сломалось непоправимо, и мы оба чувствовали это. Я не мог сам отпустить тоненькую ниточку, связывавшую нас – у нее не хватало сил эту ниточку оборвать.

А может, она просто ждала, что все разрешится само собой?

Что рассказать еще?

Когда я вернулся из армии, мы встретились там, где встречались обычно, и медленно пошли рядышком вдоль университетской ограды. Рядышком, но не касаясь друг друга. Дошли до Ленинских гор; выбрали к ее дому. За это время я многое узнал, мы обо всем спокойно поговорили. Издалека напоминали, наверное, пожилую супружескую пару, совершающую вечерний моцион.

– Ну все, я пошел? – спросил я.

Она поглядела мне прямо в глаза – первый раз после нашей встречи – погладила по щеке



и заревела. И я заревел тоже. Мы ревели, обнявшись на площадке возле лифта – и это было наше прощание.

– По лицам? – переспросила девушка и рассмеялась. – Интересно, интересно... Давайте по лицам. Ну? Что же ждет нас впереди?

Этой осенью Москва столкнула нас на улице.

Она была одна – по-прежнему одна. У ее золотистых глаз я увидел первые морщинки, и в самих глазах появилось новое выражение: еще не тревога, но первое предвестие, когда человек начинает слышать, как шуршит песок в его часах.

– Куда ты пропал? – спросила она, и мне показалось, что в голосе ее дрогнула обида. Раньше я звонил ей изредка – на день рождения и еще два-три раза в год, когда тоска накатывала особенно сильно. Звонил – и всегда заставлял дома вечерами.

Я объяснил, куда я пропал.

– Поздравляю... – сказала она. – В общем, у тебя все хорошо?

– В общем, да, – сказал я.

Площадь Белорусского вокзала – не лучшее место для разговора, час пик – не лучшее время. Да и говорить было уже не о чем.

– Звони, – сказала она, – не пропадай.

Позвонил я ей только под Новый год. Мы встретились, пошли в пиццерию – они как раз пооткрывались в тот год по всей Москве – взяли пузатенькую бутылку кипрского вина; я развлекал ее как мог, стараясь получше запомнить это усталое лицо. Потом мы ехали в метро, и ее рука иногда касалась моей, но поезд мчал по туннелю, и гул безнадежно ушедшего времени стоял над нашими головами. Я проводил ее, поцеловал в щеку и быстро пошел обратно – сквозь влажный сумрак, к светящейся шайбе метро. В груди оседал горький ком жалости и недоумения: все, что осталось от моей любви.

Резко затрещал звонок. Раскрылись двери; люди потянулись на сеанс. Парень нетерпеливо повернул голову: этот странный незнакомец раздражал и тревожил его. Раздражала затея с гаданием – парень не верил во всякую чепуху, а тревожило то, как улыбается незнакомцу девушка – его девушка с песочными глазами. Большие руки парня ерзали в карманах курточки.

– Послушайте, – волнуясь, сказал человек. – Я действительно знаю, что с вами произойдет. – И, подавшись вперед, заговорил торопливым шепотом. – Вы будете ходить в кино, отсиживаться в кафешках, бродить по улицам; поедете в Коломенское – вы ведь еще не были в Коломенском? Так будет еще четыре года – и счастливей этих лет у вас в жизни ничего не случится, это уж вы мне поверьте. А потом... – Он повернулся к парню и осекся, заглянув, как в зеркало, в эти раненные ожиданием глаза, до конца узнав это лицо, эти отпущенные под Леннона волосы, эту тайную неуверенность, эту привычку усмехаться, когда тяжело.

Другие – песочные, с солнечными крупцами янтаря глаза светились счастьем и тревогой, и мужчина не сразу отвел от них взгляд.

– Потом будет армия, – медленно подбирая слова, сказал он. – Потом вы встретитесь снова – семнадцатого мая семьдесят девятого года, вечером, на троллейбусной остановке возле метро «Университет» – и уже не расстанетесь никогда.

Он замолчал. Они молчали тоже. Их руки, сами найдя друг друга, были намертво сцеплены под столом.

– Семьдесят девятый... – медленно, словно примериваясь к вечности, проговорил

наконец парень. Ироническая судорога понемногу отпускала его лицо.

– Это гораздо ближе, чем вам кажется, – сказал мужчина.

– А потом, потом? – спросила девушка.

– Потом – еще не знаю. Честное слово, не знаю. Мужчина перевел дыхание и принялся допивать сок, хотя допивать там было уже нечего. Снова дважды протрещал звонок, и над столиком повисла тишина.

– А... А откуда вы знаете... – вдруг сказала она. Мужчина отодвинул стакан и встал.

– Простите, мне пора.

– А...

– Этот фильм я уже видел.

– Подождите! – Девушка вскочила из-за столика. – Ну подождите же... Кто вы?

– Это трудно объяснить, – чуть помедлив, ответил мужчина.

– Да-а? – вдруг жалобно протянула она. – А можно, я... мы вам как-нибудь позвоним?

Он покачал головой.

– У меня нет телефона.

– Тогда запишите мой, – попросила девушка.

– Я запомню, – чему-то усмехнувшись, пообещал мужчина.

Девушка назвала цифры.

– Повторите. Он повторил.

– Ну вот, – она вдруг радостно улыбнулась. – Очень простой номер, правда?

Он кивнул.

– Правда, все будет так, как вы сказали?

– Да, – ответил он.

– Обязательно позвоните, – попросила девушка. – Ну пожалуйста.

Уже у лестницы мужчина обернулся. Они смотрели ему вслед. Больше в фойе никого не было: начинался сеанс.

Выйдя на улицу, мужчина остановился, мотнул головой, глубоко вдохнул весенний уже воздух и коротко, нервно хохотнул. Потом достал из кармана сигареты, закурил. Он затянулся раз, другой, и пошел по улице, но у телефонной будки замедлил шаг и остановился.

Он постоял, поглядел на пустую кабину, медленно выгреб из кармана мелочь и нашел двушку. Зажав ее в потном кулаке, он стоял посреди тротуара, и прохожие, обходя, задевали его локтями.



# Глава I

## Четверг

Еще сквозь сон чувствую, что по мне кто-то ползает и без умолку лопочет.

– И-ир, – тяну я, стараясь, чтобы голос звучал как можно противнее. – И-ир, убери Чудище. Я так не играю...

– Чудище, – откликается моя половинка с нескрываемой любовью. – Чудище, кто это? Кто это дрыхнет в четверть десятого?

– Имка! – радостно отвечает Чудище, прыгая у меня на голове.

Имка – это я, и сегодня Имке больше не спать. Встаю и, сладко потягиваясь, издаю долгий звук несмазанной двери. С недосыпу меня мотает по комнате и бьет о разные предметы.

Мы с Ирккой состоим при Чудище уже полтора года. «Чудище» произошло от «Чуда» путем наблюдения за трансформацией наклонностей.

В настоящий момент это бывшее Чудо, слезши с кровати и открыв дверцы секретера, методично выбрасывает оттуда мои бумаги.

– Екатерина!

Услыхав официальное обращение, моя дочь, Екатерина Дмитриевна Скворешникова, пригнувшись, как под обстрелом, и вихляя попкой, начинает молча драпать к двери.

– Екатерина! – сурово окликаю я снова. Настигнутое Чудище останавливается и поднимает на меня свои невинные глаза. – Разве можно ЛЕЗТЬ В ШКАФ?

По глазам Чудища становится ясно, что никто в шкаф не лез. Разве может такой замечательный, послушный, милый ребенок лезть в шкаф?

– А кто это сделал? – спрашиваю я тогда с театральным жестом руки.

– Атя, – грустно признается моя честная дочь. Уходить от прямых вопросов она еще не научилась.

Я становлюсь на четвереньки, и бумаги мы собираем вместе. Мир-дружба.

На кухне, не переставая крутиться по одной ей известной траектории, Ирка сообщает: полдесятого, а еще не вскипело, не протерлось, не отжалось, не остыло, когда Чудище позавтракает, надо сразу идти гулять, иначе обедать она будет вообще черте когда, я не забыл, что сегодня зачет?

Я-то? Ну забыл.

Бухаюсь в драное кресло, открываю «склерозник» и выдаю утреннюю порцию звонков.

Звонок первый – Пепельникову: завтра сдавать текст! Не кручинься, Пепельников, ступай себе с богом, будет тебе три куплета к празднику, со слезой и историческим оптимизмом, только уж не обмани, родной, позолоти ручку... Ты видишь, Пепельников, моя муза уже зависла у антресолей, и в руках у нее, вместо лиры, обещанный тобою договор на двести рэ. И я, Пепельников, начинаю понимать, откуда столько оптимизма в советских песнях.

Нет на месте – ну и черт с тобой, позвоню потом, главное – кровь из носу начать сегодня! Дз-зынь!

– Алло!

– Дима?

Людмила Леопольдовна Косицкая – мой ангел-хранитель на грешной земле поэтического перевода: я ведь переводчик, черт возьми; связной культур, а не куплетист какой-нибудь!

– Здравствуйте, Людмила Леопольдовна!

– Здравствуй, Дима. У меня есть к тебе дельце. Но сначала выкладывай, какие новости...

Новостей уйма. Денег нет, за телефон не заплачено, надо купить картошку. «Ни дня без строчки» – это сказано прекрасно, но без учета реальности, в которую входят переезд с ремонтом. В августе закинул я своего Венслея на полку, и за два месяца так до него и не добрался. Ему-то что, он два века ждал... Но видит бог: разделаюсь с халтурой, заткну финансовую дыру и сразу осяду в библиотеке.

– Двигается помаленьку, – лукавлю я.

– Давай, милый, давай!

От радостного голоса Косицкой мне становится стыдно. Странно признаваться, но я до сих пор, как малец, боюсь огорчить ее.

Ну ничего, ничего... Как говорится, будет день – будет пища; авось и до Венслея доберемся.

А пока что под руками юлой вертится Чудище – и визжит, и кричит «Алё!», и желает лично повертеть колечко. Ирка ожесточенно натирает яблоко, и по ее съезжившейся спине ясно, что в борьбе с этим стихийным бедствием, нашей дочерью, – каждый за себя.

– Извините, Людмила Леопольдовна! – кричу я, не слыша собственного голоса. – Я потом позвоню.

Будет у меня здесь нормальная жизнь, а?

– Катя, у тебя есть свой телефончик! Этот телефон НЕ НАДО ТРОГАТЬ!

Чудище немедленно начинает кривить ротик и, не забывая поглядывать в мою сторону, выдает на-гора Очень Горький Плач.

– Ни капельки не жалко! – безжалостно уверяю я. – Ни ка-пель-ки!

Чудище с воем топчет к маме.

– Кто обидел мою девочку? – не переставая тереть яблоко, интересуется мама. – Кто?

– Имка, Имка!

– Нехороший Имка. Мы за это не дадим ему тертого яблочка и вкусной каши!

Через минуту ябеда сидит перед тарелкой и радостно размазывает содержимое по доступным предметам.

Десять часов, а день еще не начался. Куда-то я еще должен был позвонить, кроме... И раньше, чем вспоминаю, куда, уже ищу на холодильнике коряво записанный карандашом номер: Пашка!

Господи, а я-то забыл. Пашка.

Медленно накручиваю диск, уже зная, что нажму на рычаг, прежде чем начнутся гудки. Что говорят в таких случаях? И что им теперь мои слова?

Года три назад одна моя знакомая притащила в Институт белобрысого пижонистого акселерата с кожаным шнурком на шее и тетрадкой в руках. Акселерата звали Паша. Поглядывая на меня с холодноватым интересом и в буквальном смысле слова сверху вниз, он отдал тетрадку, записал мой телефон, бросил «чао» и отчалил, помахивая спортивной сумкой.

В общем, нахал.

Стихи его, аккуратно переписанные печатными буквами с редкими островками вымарок, я читал не без ехидства. Стихи были жутко вторичные – что-то такое о жизни, в которой все обман, кроме горных вершин. В общем, сопли.

Он позвонил, как договаривались, через неделю, мы сели в метро, и под шум поездов я полчаса безжалостно обгладывал косточки его строк – почти дословно повторяя выражения, в которых лет за десять до того один маститый поэт демонстрировал мне мою поэтическую немощь. Сержант, вымещающий собственные курсантские унижения на новом наборе.

Акселерат сидел бледный, молчал. Один раз, переусердствовав, я поймал на себе взгляд, полный такой затравленности, что сбавил обороты.

На прощанье я милостиво предложил показывать мне то, что он будет писать. Мне понравилось быть мэтром. И вообще, сказал я, не стесняйся, звони. Он кивнул и стал запихивать в свой баул тетрадку. Тетрадка не лезла, и акселерат с силой и ожесточением ударил по ней.

Я думал, больше он не объявится.

Но он объявился – и пригласил меня на какую-то вечеринку, где должен был петь какой-то никому не известный, но, разумеется, гениальный бард. Я отказался; мы разговорились. Суждения его, в отличие от стихов, были оригинальны. Вскоре Паша стал моим приятелем.

Стихов своих он мне больше не показывал, и это меня, кстати, задевало.

Однажды он таки вытащил меня на сборище московских инопланетян конца шестидесятых годов рождения. Инопланетяне рассматривали меня с живым интересом естествознателей к неплохо сохранившемуся реликту. Юный гид, сидя в уголке, тихонько посмеивался в намечающиеся полосы усов.

Так, то исчезая, то появляясь на моем горизонте, белобрысый акселерат удивлял меня до тех пор, пока однажды, уже первокурсником журфака, не пригласил на свои проводы в армию. Я пообещал ему массу новых впечатлений – он пообещал поделиться ими через пару лет.

И вот я сижу в коридоре с аппаратом в руках и собираюсь с мужеством, чтобы набрать номер. Перед тем как отпустить диск в последний раз, делаю глубокий вдох и выдох.

– Да.

– Здравствуйте, Лев Яковлевич. Это Скворешников.

– Кто? – голос у Пашиного отца бесцветный и резкий.

– Скворешников. Я был у вас на Пашиных проводах. В армию. – Я не знаю, как еще объяснить, кто я.

– Да-да, – пауза. – Пашу, наверное, привезут завтра. – Пауза.

– Лев Яковлевич, я утром позвоню?..

– Да, конечно.

Мы молчим еще несколько секунд.

– Хорошо. До завтра.

Трубка молчит, словно пытаюсь понять, что я нашел хорошего. Потом начинаются гудки.

На кухне Ирка, изнемогая, читает «Тараканище», Чудище плюется кашей, дирижирует ложкой и требует всех благ.

– Твоя дочь надо мной издевается! – чуть не плачет Ирка. – Скажи ей, чтобы съела. Ты отец или не отец?

Я отец и поэтому точно знаю: если Чудище чего не хочет, значит, так тому и быть.

– Ир, – говорю я, – оставь человека в покое. (Заодно имею в виду и себя.)

Начало одиннадцатого. Надо срочно соображать, как жить дальше. Подумав, соображаю, что для начала надо умыться. Из зеркала на меня глядит отупевшее от недосыпа, небритое существо неопределенных лет и занятий. Три пригоршни холодной воды скрашивают картину не сильно.

На жужжание электробритвы в коридор прибегает счастливое и грязное Чудище; Ирка, измочаленная утренней борьбой, сидит в кресле с учебником, у нее сегодня зачет, ха-ха.

– Никто, никто не приготовил Ирочке завтрак, – печально сообщает она.

Намек понят, и я начинаю отрабатывать свои утренние сны. Я шурую в холодильнике, одновременно излагая диспозицию: завтра с утра, возможно, похороны Паши. Поэтому за

деньгами и в редакцию надо успеть сегодня. Посему – завтракаем, гуляю с Чудищем и рву когти. К шести возвращаюсь и отпускаю женушку сдавать зачет.

Казавшееся бескрайним пространство свободного дня неожиданно оказывается крохотным и безнадежно забитым.

За столом молчим. Ну, стол – это громко сказано, стол в нашу кухню не войдет; в общем приткнулись, жуем. Ирка уставилась в учебник, не выспалась еще больше моего, бедолага. И просвета не видно. Не отвлекаться! Одну строфу для Пепельникова надо бы соорудить во время гулянья – может, дальше полегче будет. Главное начать...

– О чем задумался, Имка?

– Так, – говорю. – Двести рублей привиделись.

– А-а.

Ирка понимающе хмыкает, и есть над чем. Женихаясь, я строил из себя чистого интеллектуала. Я бы, собственно, и сейчас не против – но чистыми чистый интеллектуал получает сто восемнадцать в месяц...

– Дзынь!

Мама, привет, у нас, как всегда, замот. Да нет, все в порядке. Чудище здорово – еще как! А у вас? Более-менее? Ну хорошо. Мам, все, извини, бегу.

Доглатываем чай. Без двадцати двенадцать. Аврал! Ирка, заговаривая Чудищу зубы, впихивает ее в комбинезончик, я споласкиваю чашку, хватаю тетрадку, ручку и нахожу «рыбу».

Дз-зынь!

Витька, старик, жутко рад тебя слышать. Ты сегодня дома? Я позвоню, ага? А то сейчас тут все кувырком. Извини. Ну, хоп.

– Димка, скорее, она уже парится!

– Я вот он!

Запах прелой листвы и свежего намокшего асфальта ударяет в ноздри. Засадив Чудище в песочницу, примощаюсь рядом в развилке дерева, вынимаю тетрадь. Наши цели ясны, задачи определены... Вперед!

Вот она, моя «рыба»: бу-бу-бу, бу-бу-бу, бу-бу-бу-бу. Трехстопный анапест, чудненько! А про что, интересно, это бу-бу? Как сценарий-то называется? «Могучая поступь державы». Отлично, как раз в размер попадает. Строчка есть.

Для скорейшего прихода вдохновения представляю себе восемь новеньких двадцатипятирублевых.

«И могучая поступь державы...»

Ну, понеслось. Это будет третья строчка. Теперь нужен глагол. Что может делать поступь? Греметь может, идти... Нет, идти поступь не может. Слышаться? «И могучая поступь державы на такой-то планете слышна». На какой? На зеленой планете слышна. Почему на зеленой? Вообще-то Земля голубая, но голубая не влезает в размер. «На прекрасной планете слышна». О!

Перечитываю: железобетон, а не стихи. Значит, годится.

Засим объявляется конкурс на лучшую рифму к слову «державы». Ржавый. Спасибо, не надо. Пижамы. Отцепись от меня! Пожары. Уже тепло. А что в четвертой? «Слышна»? Это полегче. Княжна нежна, мощна страшна. Времена, стремена, племена, семена, пламена, вымена – тьфу!

А ну-ка с разгону: «бу-бу-бу-бу, бу-бу-бу пожары, бу-бу-бу-бу, на все времена, и могучая поступь державы.»

Тут, на самом патетическом месте, меня настигает сигнал бедствия. Чудище стоит в

песочнице с подозрительно задумчивым видом. Бросаю тетрадку, лечу на помощь, успеваю высадить дите под кустик. Теперь бы снова замкнуть дочурку на песочницу и добить строфу.

Я перечитываю написанное и тихо матерюсь. Как не крути, а если могучая поступь слышна всей планете, это – землетрясение. Вздохнув, превращаю могучую поступь в мирную и снова топаю от печки: «бу-бу-бу-бу, бу-бу-бу пожары, и отныне (молодец, Димочка!) на все времена будет мирная поступь державы на прекрасной планете слышна!»

Теперь осталось разобраться с пожарами, и строфа готова. Последним напряжением бровей рожая катастрофическое «отгорели сражений пожары...» – и сажусь перечитывать написанное со шкодливym чувством безнаказанности: моей фамилии под этим ни в каком случае не будет, подпишусь, по месту жительства, Бескудниковым – и концы в воду. Настроение заметно улучшается.

Полпервого, пора и честь знать. Мы медленно шагаем к подъезду. Чудище крепко держит меня за палец. Дома, стараясь не замечать дыма коромыслом, я забрасываю канцпринадлежности в «дипломат».

– Ир, – напоминаю уже от дверей, – буду к шести.

Ирка кидает на меня прощальный взгляд, одновременно декламируя считалку, раздевая Чудище и принимаясь к запахам на кухне. Бедняга, как она со всем справляется? Мелькнув, этот вопрос исчезает без следа, едва я снова вылетаю на воздух. Теперь сначала получить деньги, потом в редакцию – и на телефонный узел. Вперед, вперед!

До метро из наших губерний ехать полчаса, надо провести их с пользой. Было бы нехудо, например, забавать еще одну строфу. Но, как ни тужусь, не могу вспомнить даже ту, что забавал утром. Помучавшись, выбрасываю белый флаг, тупо разглядываю расставленные вдоль шоссе натюрморты. Автобус трясет, и болит изнасилованная моя голова, и медленно ворочаются в ней култыпки мыслей – о протекающем кране, о телефоне и справке из ДЭЗа, о рублях, которые должен я и которые должны мне; вспоминаю, что так и не позвонил Косицкой.

Пашина смерть внезапно является мне в страшной своей ясности: вот я еду в автобусе, поручень холодит ладонь, за стеклом рыжий сентябрьский день – а его нет и никогда не будет больше.

К конечной я засыпаю и просыпаюсь только на улице от собственной неровной походки. Надо, черт возьми, когда-нибудь выспаться!

Институт, в котором я получаю свои аспирантские денежки, прячется в старом особнячке с аккуратной табличкой у современных дверей. Особнячок совсем маленький, но чтобы добраться до кассы, надо преодолеть несколько простых лестниц, одну винтовую и пяток коридоров самой прихотливой геометрии.

У окошка, разумеется, очередь – первый день выдачи. Делать нечего: становлюсь в хвост, вынимаю тетрадь и перечитываю четверостишие про мирную поступь. Острое желание схватить автора этой бредятины за грудки и долго бить об стену головой вспыхивает во мне. Потом вспоминаю, что автор – я, и всякое желание пропадает вообще. Понимаю, что дело худо, и возбудить себя на продолжение никакой поступи мне не удастся.

– Работаете? – с уважением интересуется вставшая позади полноватая дама, кажется, с немецкой кафедры. Я киваю, улыбаясь рассеянно, как и полагается художнику в минуты полета духа. Мгновение сатана подначивает меня показать этой специалистке по трубадурам, над чем я работаю – и посмотреть на выражение ее лица, но я подавляю искушение.

– Не буду мешать, – интеллигентно произносит дама и понимающе улыбается. Ну-ну...

Тут я вспоминаю, что еще не дозвонился Пепельникову и, застолбив место в очереди, бросаюсь бежать по коридорам. Через пару минут достигаю вахты.



Вахтерша на просьбу позвонить с казенного аппарата только что не рвется с цепи. Ладно, удавись ты у своих ключей, у меня двушка есть.

– Алло! Пепельникова будьте добры.

– Секундочку.

В трубке – веселый женский смех и сладкий баритон, на ходу досказывающий соленькое.

– Слушаю... – говорит наконец баритон, поигрывая в нижних регистрах.

– Это Скворешников. Здравствуй, Костя.

– А, Димочка. Привет-привет.

Разговаривает со мною Пепельников так, словно он артист оперетты, а я его поклонница и каждый день встречаю у дома с букетиком нарциссов. Между тем, мы всего лишь бывшие одноклассники.

– Я по поводу песни.

– Жду, Димочка («Почему Димочка?»). Жду с не-тер-пе-ни-ем.

Я почти вижу, как он подмигивает девочкам в персональном, обклеенном собственными афишами кабинете.

– Послезавтра тебя устроит? – спрашиваю.

– Крайний срок, Димочка, – снисходит он после паузы.

– В общем-то, почти все готово, – говорю. – Но хотелось бы еще поработать...

Черт возьми, чего я расшаркиваюсь!

– Поработай, – снова снисходит постановщик юбилейных концертов, и мы прощаемся.

На душе гадко. После пепельниковского баритона хочется вымыть уши. И вообще – получу двести рэ (тьфу-тьфу!), и больше на эти кисельные берега – ни ногой!

– Спасибо, – осклабляюсь я вахтерше, и под глухое рычание в спину бегом начинаю третье за день восхождение – у нас хоть и доцентура, Веймар и «озерная школа», а пропустишь очередь – простишь второй раз как миленький!

Успеваю впритык – хорошо хоть бежал не зря – и с нежнейшей улыбкой всовываю голову в амбразуру. Никому не улыбаются так, как кассиру в день выдачи. Расписываюсь, отхожу, чтобы запихнуть бумажки в кошелек, – и попадаюсь. Тонкий знаток Джона Рида, доцент Копылова вцепляется в мой локоть железной лапкой и не отпускает до тех пор, пока я не перекидываю из ее сумы в свой «дипломат» увесистую папку – на рецензирование. А куда прикажете деваться? Доцент Копылова проедает плешь за пять минут, это проверено. Отобьешься – проест ее твоему научному руководителю, завкафедрой, далее везде. Лучше не связываться.

«Очень срочно». А папочка – кило на полтора!

Ладно, черт с ней; теперь – в редакцию!

Но не тут-то было: на винтовой лестнице в мой локоть опять вцепляются. Прошу любить: наша профсоюзная жрица, Тинатина Константиновна. Эта могла бы и не вцепляться: при ее комплекции разминуться с ней на винтовой лестнице невозможно.

Здравствуйте, Тинатина Константиновна. Почему не бываю на семинарах политпросвещения? Так я же газеты читаю, первоисточники регулярно... Недавно ехал в метро рядом с Сейфуль-Мулюковым. Тинатина Константиновна, драгоценная, ребенок у меня – ма-аленький такой ребенок, а работы – мно-ого... Завтра в Дом дружбы? А почему я? Знаете, я, может быть, не смогу, я занят, у меня... Вы что, какое поручение? Зачем? Да постойте же!

Тинатина удивительно легко для ее весовой категории завинчивается наверх, а я, постояв, свинчиваюсь вниз в самом отвратительном настроении. Везунок, а? За пять минут

влипнуть в две работы! Не пойду я ни в какой Дом дружбы – со мной скоро собственная жена дружить перестанет...

Ну ничего. Зато.

Зато я везу в редакцию довесок переводов, и это только повод для визита. А тайная сладость его в том, что у них давно лежит подборка моих переводов, и недели две назад ушла подборочка наверх...

Фурман, как всегда, еле высовывается из-за горы справочников и словарей: привет, садись, я тут вожусь со Стенли Пирсом, роман толстенный, идет в первый номер, сумасшедший дом, ты не обращай на меня внимания, Сережа сейчас будет.

Сижу, не обращаю внимания.

Вскоре приходит Сережа – у него на столе то же, что у Натана, только гора чуть поменьше. А, привет, говорит Сережа, садится и с неподдельной занятостью начинает перекладывать бумаги с места на место. Мне это сразу ужасно не нравится.

– Я тут принес еще переводы, как договорились, – издали подъезжаю я.

– Переводы? Давай, – говорит Сережа, но энтузиазма в его голосе нет.

– Там ничего не слышно насчет моей подборки? – небрежно спрашиваю я, уже холодея от полного прозрения.

– Забодали, – коротко констатирует Сережа, сочувствующе разводит руками, и в правой ладони откуда возникает моя папка.

– Понятно, – говорю я по возможности непринужденно. И не выдерживаю: – Почему?

– Да нет, переводы качественные, Ларионовой понравились...

Из бумаг выныривает Натан.

– Тебе просто не повезло, – вступает он своим тягучим голосом. – Тут приходил Млынаев, принес главному подборку – те же имена. Ну и сам понимаешь...

Как не понять!

– Что ж, если Млынаев. – Хмыкаю, изображая стойку, коллекционирующего громы небесные. И снова не выдерживаю тона, язвлю: – Наверно, хорошие переводы.

Фурман отвечает мне взглядом, полным неподдельной тошноты.

– Ты приноси что-нибудь еще, – оживляется Сережа. – Вообще, всем нравится, как ты работаешь.

– Я ношу, – отвечаю я.

– Дима, это нормальный ход вещей, – бубнит из-за своей горы Фурман.

– Ясно, – говорю. – Ну, побежал. Счастливо.

– Заходи, – виноватым голосом приглашает Сережа.

А, подите вы ко всем чертям! Почти выбегаю из редакции. Я ведь уже будто видел страницу со своими переводами, и даже, дурень, намекал друзьям: мол, следите за прессой... Дурень – дурень и есть! Ну что ж за невезение такое?

Начало пятого. Можно еще успеть на телефонный узел, но устал, а главное – видеть никого не хочу.

На лестничной площадке темно, и, прежде чем попасть домой, долго тычу ключом в замочную скважину.

– Дима, скорее переодевайся, обед на плите – мне лучше уйти, пока Чудище не проснулось...

За обедом получаю инструктаж: чем кормить, в чем гулять, чего не забыть, а о чем, наоборот, и не вспоминать, например, о своей тетрадке; ты уж позанимайся с ней, порисуй, почитай, не обижай мою дочку, Имка, она хорошая, все, привет, к черту, к черту...

Только закрываю дверь, как из комнаты раздается протяжный скрип: началось.

Чудище сидит в кровати, щурясь от яркого света, и обиженно посасывает соску. Она, кажется, еще не очень понимает, где она и что с ней, но постепенно обнаруживает вокруг себя знакомые предметы и успокаивается. Все на месте. Можно жить. Теперь надо срочно вспомнить, что с нею делать, с моей дочкой. Впрочем, через пару минут она все равно делает, что хочет: поит компотиком игрушки, мои штаны и кресло, бегают по квартире с огромным ломтем сыра и орет от полноты жизни. Под шумок пытаюсь прибраться, но вместо мусора под щеткой постоянно оказывается ее сияющая физиономия.

– Катенька, хочешь мармеладку?

Катенька хочет мармеладку. Успеваю хоть со стола вытеретьь.

– Ущё!

– Больше нельзя, Катя.

– Ущё-ё-ё!

Вот он, наш фирменный ультразвук. Глазищи угольками, кулачки сжаты, мордочка от возмущения красная – одно слово: Чудище. Мармелада не даю. Откупаюсь чтением стихов о двух девочках, которых хлебом не корми – дай поухаживать за растениями.

– Чтобы выросла капуста,  
Это целое искусство.  
Утром встанем-ка, ребятки,  
И проподем наши грядки! —

декламирую я, давясь текстом.

– Ущё чутать это.

– Катенька, мы это уже прочли.

– Ущё чутать это! Читаем ущё, потом ущё.

– А где лошадка? – пытаюсь незаметно слинять, озабоченно спрашиваю я. Номер не проходит, и прежде чем удастся улизнуть из комнаты, я четверть часа работаю коверным. Потом шмыгаю в ванную и запираюсь. Отжимание подгузников успокоит мои нервы, поврежденные девочками-растениеводками. Полмиллиона экземпляров. У-у, халтурщики!

Привожу в порядок и мысли. Во-первых, сегодня надо сильно продвинуться с халтурой: завтра времени не будет, а послезавтра сдавать. Во-вторых, до конца недели прочесть этот талмуд – ну не прочесть, проглядеть для рецензии, а то Копылова заест. В-третьих. Что-то еще было в-третьих, надо обязательно вспомнить!

В-четвертых, слетела подборка. Зашел к главному Млынаев, который и русского-то языка не знает, отдал свою рукопись – и моя, целый год смиренно ползшая к печати, походя давится редакторским сапогом. «Нормальный ход вещей». Огнемета на вас нет.

Выйдя на кухню с тазом белья, вижу Чудище, с интересом изучающее содержимое помойного ведра.

– Екатерина! – ору я нечеловеческим голосом.

В ответ с нагловатой улыбкой всеобщей любимицы Чудище извлекает из мусорных недр фантик и протягивает мне. Кажется, это взятка.

– Ах так?

Слова кончаются. Я хватаю нахалку под мышки и несусь в комнату – Чудище вопит и извивается дождевым червяком. Пытаюсь поставить ее на ноги, но она мешочком валится на пол и заходится от плача. Макаренко из меня, прямо сказать, хреновый. Пожираемый змеем раскаяния, я сбегую на кухню, пускаю по сильнее воду и принимаюсь четвертовать картошку.

Ох, отольются папе дочкины слезы... Сметаю очистки в ведро, вожу по столу губкой, мою руки, вытираю посудным полотенцем – черт с ним, Ирка не видит!

У двери в комнату слышу такую пронзительную тишину, что на спину выбегает сразу стая мурашек. Влетаю – так и есть. Чудище добралось до отвергнутой папки – придя, я в сердцах шлепнул ее на край стола. Мои качественные переводы живописно разбросаны по полу, а на них сидит Чудище и изучает парочку наиболее качественных.

Вот так люди зарабатывают инфаркты.

Я вызволяю бумаги, медленно считаю до десяти и начинаю собирать вещи для гулянья. Минут за пятнадцать, вешая на уши родной дочке лапшу, умудряюсь впихнуть ее в кофту, рейтузы и комбинезончик – и начинаю искать сапожки. Один нахожу за дверью, другого нет.

Если в нашей комнате взорвать пару ручных гранат, вы не сразу заметите перемену. Сапожок, безусловно, где-то здесь. Стараясь не волноваться, становлюсь на четвереньки и начинаю обход.

Чудище с воем восторга вскарабкивается мне на спину. Кажется, я лошадка.

Через десять минут, на грани нервного истощения, сапожок я нахожу – в тазу под ванной. Господи, на что уходит жизнь, а?

...На улице темно. Немного отойдя от горячки последнего часа, я снова начинаю колдовать над своей мирной поступью. Чудище, восседая в колясочке маленьким Буддой, молчит, умница, смотрит на фонари, на небо. Интересно, о чем она сейчас думает? Как отражается мир в этой головенке с хвостами?

Гуляние оказывается плодотворным; возвращаясь, я твержу как попка, чтобы не позабыть, следующий перл: и дороги бескрайние вились, и бу-бу-бу, бу-бу-бу – в боях, чтобы трубы заводов дымились, и комбайны шумели в полях!

Я твержу эту тарабарщину без перерыва, потому что иначе она исчезнет без следа, как рассыпанный набор, потому что это набор и есть – случайных слов, никак не связанных с этим вечерним небом, с жизнью... Ну что же, заполнить бу-бу – и две строфы уже есть. Эта будет второй, а та – третьей. Или наоборот. Без разницы.

Пока варится картошка, мы рисуем. Не знаю, как моя дочь, – я от своих рисунков балдею. Где кошка, где собачка, определит только судебная экспертиза. Картошку тем не менее я досолить забываю, а потом забываю ее остудить. Чудище обиженно кричит и царственным жестом скидывает тарелку со стола. Я ловлю тарелку на лету, дую на ложку, кормлю игрушечное стадо, исполняю с выражением весь репертуар – словом, цирк!

Впихнув все, что можно, в дочь, быстро подчищаю остатки: вот и поужинали...

Шабаш! Отбой всем службам. К укладыванию Ирка обещала быть.

Тупо и блаженно досматриваю программу «Время» – ничего мне не надо, только дайте посидеть, мозги расслабив да ножки вытянув, сколько жилплощадь позволяет. В ящике все как обычно; план года – досрочно, в Ливане – война, биржу лихорадит, у белых позиционное преимущество, в Москве без осадков.

Ну и слава богу.

– Как вы тут жили? – спрашивает Ирка, входя.

– Ничего, – отвечаю.

– Ты не обижал мою девочку?

– Ее обидишь, твою девочку. Ирка осматривает места боев.

– Ну и бардачок... «Бардачок» – это мягко сказано.

– Сейчас все уберу, – жалобно говорю я.

Расчет верный: меня, несчастного, не трогают. Немного очухавшись, снова беру тетрадку, сижу, бессмысленно глядя на лист. Нет, на сегодня все. Пальцы мои высосаны до

костей. Слушаю, как бубнит за стенкой Чудище, смотрю, как беззвучно дергается на экране какой-то урод с микрофоном.

День кончается.

Пашка. Боже мой, неужели этого пацана и вправду – нет? Не надо об этом думать. А о чем надо? О том, как дописать строфу и припев; когда прочесть толстенную папку, лежащую в «дипломате», откуда взять сто рублей за перевод телефона и трешку на сантехника – да мало ли о чем еще?

Входит Ирка, опускается на табурет.

– Спит?

– Засыпает.

Мы сидим, глядя друг на друга и не видя. Потом я подмигиваю, и Ирка морщит нос в ответ.

– Привет, кенгуренок.

– Привет, папуас, – откликается она старым паролем.

– Ужинать будешь?

– Буду.

– Я картошку сварил.

– Ага.

– Ты даже не спрашиваешь, сдала ли я «хвост», – обиженно бурчит Ирка через минуту, ковыряясь в картошке.

– А я знаю, что сдала, – отвечаю я. И уточняю: – Хоть по чему «хвост»-то был?

Ирка перестает жевать.

– Ой, – говорит она наконец совершенно упавшим голосом. – Ой, Дим, не помню.

Минут через пять, а может двадцать пять мы перестаем икать от смеха и ползем баиньки.

Ставлю будильник. Опять досидели до полпервого.

Ложась в постель, вспоминаю, что завтра, может быть, увижу Пашку. Потом вспоминаю, что забыл позвонить Косицкой. Потом гашу свет и, как в бездонный колодец, лечу в сон.

## Глава II

### Пятница

Будильник верещит как поросенок. Прибив его, снова опускаюсь на кровать и прислушиваюсь к организму: то ли мне, как хотел вчера, поработать на свежую голову, то ли, как хочу сегодня, послать все к чертовой матери и положить эту несчастную голову обратно на подушку. Отчаянным рывком поднимаю себя в вертикальное положение и отправляю тело в ванную.

Проснувшись окончательно, ставлю чайник и вольготно раскладываю бумаги на кухонном столике. Вот она, благодать: утро, тишина, час для работы... Если бы еще не дрянь всякую шарашить, а для души... Но – господи, воля твоя! – надо уже сбегать это наконец.

Открываю тетрадь и перечитываю. Нормально. Если не вслушиваться в слова, то вообще хорошо. А кто будет вслушиваться? Никто и не будет.

Сiju, прихлебываю чай, рисую на чистом листе квадраты и треугольники. Изрисовав лист, выдираю его и с минуту гляжу на чистый. В голове вакуум. А говорят, природа не терпит пустоты; еще как терпит. Вот проснется сейчас Чудище – и прощай, утречко. С перепугу из моей черепушки, как чертик из коробочки, выскакивает строка. Не бог весть строчечка, прямо сказать – убогонькая, но казенному Пегасу в зубы не смотрят.

По принятии второго стакана чаю у меня уже имеется трехстрочная болванка: «нас великое выбрало время, чтобы бу-бу-бу-бу-бу росла, и бу-бу-бу, бу-бу поколения.» На «росла» фантазия взыгрывает и выдает оптом с десятков рифм, от «козла» до «санузла». Наливаю третий стакан чаю и бухаю побольше сахару – говорят, помогает.

Просто удивительно, до какой степени может отупеть человек, когда долго пишет незнамо чего.

«Бу-бу-бу-бу не ведая зла!»

Гений. Может, так и оставить с «бу-бу»? Оставить – а Пепельникову объяснить, что это новое слово в поэзии: ноу-хау! каждый имеет возможность вставить недостающее по своему вкусу! творчество – в массы! Только он ведь и гонорар мой поделит с народом, я ж его знаю. Нет уж, добубукаю сам. Святая еще одно четверостишие, припев, а потом уж гулять среди этих «буков» до посинения. Близость финала почему-то не добавляет мне сил, а наоборот – я почти готов сойти с дистанции. Хилый я марафонец... Ну нет, давай, Скворешников, давай – у финишной ленточки лежит целая куча денег, хватит на долги и телефон, жми, Скворешников, осталась сущая чепуха, сутки и четыре пары рифм, попей еще чайку и вперед, только про что бы их, черт побери, рифмовать?

Попробую, как раньше – ни про что.

Но время упущено: на первой же нетленной строке – «бу-бу-бу-бу весенних рассветов» – меня настигает веселый голосочек из комнаты. Ладно, хоть что-то успел, не зря вставал... Убрав тетрадь в недосягаемое место, заглядываю в «склерозник» – ух, сколько сегодня всего! – и уже схватившись за трубку, вспоминаю про Пашку. Чуть не забыл.

Отвечает незнакомый женский голос: они только что уехали, будут звонить; вчера была нелетная погода, сегодня, видимо, уже привезут; позвоните ближе к часу; похороны завтра.

Голос совершенно механический, раз за разом повторяющий одно и то же людям, обрывающим этот телефон... Значит, завтра.

Значит, все остальное – сегодня! Где ты, «склерозничек»?

– Диспетчерская!

– Вы знаете, у нас тут кран...

– Адрес. Говорю адрес.

– Будет в течение дня.

Не успеваю рта открыть – гудки. Ненавижу, когда бросают трубку. Так вот, кажется, взял бы за горло и душил их, пока не научатся хорошим манерам. Дозваниваюсь снова: нельзя ли уточнить время?.. Нельзя. А почему?.. А потому что. Нас много, а они одни, и никто нам не обязан... Теперь, значит, еще куковать дома, сторожить сантехника. Гран мерси.

В комнате идиллия. Привет, дрыхалы! Я-то? Как всегда, часов в шесть. Шучу, в полвосьмого. Все равно, вы дрыхалы, а я рабочий класс. Чудище, ты выспалось? Набралась сил наша девочка? А что это, Чудище, за тетка валяется на моей тахте? Вот только не надо швыряться подушками, это грубо.

Через полчаса все вокруг уже кипит-свистит, и стою я, раб божий, в задумчивости и соображаю, чего мне сегодня хочется больше: пылесосить или кормить девочку? Я выбираю пылесосить – тут по крайней мере знаешь, чего ждать от оппонента.

То, что живет у нас в квартире под кличкой «Ветерок», – это не пылесос, а замаскированный распылитель, маленький враг народа. Под его интимное жужжание я ползаю на карачках, потом сдаюсь и перехожу на ручной сбор кусков пыли. С кухни доносятся звуки боев – высокие договаривающиеся стороны пытаются кормить друг друга яйцом.

Сами, как всегда, едим в суматохе, глотаем, давясь, свой кофе с тостами, благо черствого хлеба и загибающегося сыра в доме всегда навалом. Чудище орет и требует это все себе. Прорвочка, а не девочка. На, на тебе твою «гъенку», ненасытное!

– Привет, кенгуренок.

– Привет, папуас.

– Выспалась?

– Дорогой, мне снился ты...

Язва! Но это мы переживем; было бы хорошее настроение у нашей половинки – тогда наша половинка не будет пилить свою половинку на четвертинки.

Мы едим, ускоряясь по мере того, как догрызает свою «гъенку» Чудище. Догрызет ее – примется за нас.

– Дим, ты когда картошку принесешь?

Даю честное папуасское, что вот-вот принесу, и тут же освобождаюсь от гулянья. На мне сегодня – кухня.

Выпроводив девушек на улицу, я врубаю Высоцкого и под «Охоту на волков» принимаюсь отскребать сковородку. Эх! Вытерев последнюю ложку, с досадой хлопаю по клавише и, расчистив место, сажусь со злосчастной тетрадью.

Бу-бу-бу-бу весенних рассветов! Главное – не задумываться. Обернешься – окаменеешь. Помни, товарищ: награда ждет самого мужественного и отважного – того, кто дорифмует до конца и не спятит; двести рублей ему, мерзавцу, и приз «За волю к победе!».

«Бу-бу-бу-бу весенних рассветов...» А почему, собственно, весенних, что за лирика в государственный праздник? Может, таежных – это посуровее? Или полярных. Нет, это совсем сурово.

«Бу-бу-бу-бу полярных рассветов, и пустынь азиатских бу-бу. (Что бу-бу? Жара, конечно!) – это дней наших бу-бу примета...» Нет, жара не примета наших дней. Тут надо плеснуть чего-нибудь героически-созидательного. Форэкзампиль, как говорил мой однокурсник Жора по прозвищу Утятя – форэкзампиль, то бишь например: новостройки в полярных рассветах, и сады в бу-бу-бу-бу пустынь – это дней наших славных (ура-а!) примета... Это дней наших славных примета. (Ну!) Это дней наших славных примета...

Получи гонорар и остынь. Ой.

Хорошенького понемножку. Я захопываю тетрадку: еще минута такой поэзии, и у меня предохранители полетят.

А ну-кась, чего нам Копылова подбросила? Папочка со шнурочками и на пружинке. Отлично, папочку оставим себе, этот будет гонорар. Смотрим содержимое. Город Курган, Рудольф Коняхин, «Шекспировское в творчестве Джорджа Гордона Байрона». Одиннадцать глав и заключение. Сто шестьдесят страниц, и список литературы на сорок пунктов. Убил бы гада.

Тяжко вздохнув, наугад раскрываю тяжеленную папку. Потом перелистываю пару страниц и вчитываюсь снова, желая без лишних тонкостей зацепиться за главную идею. Наливаясь злостью, штудирую еще с десятков листов, прежде чем идея доходит до меня во всей прозрачности: Коняхину хочется в кандидаты искусствоведения. А певец Гяура ему по такому же барабану, как и всем остальным.

Гипотеза заинтересовывает меня, и уже с неподдельным любопытством я погружаюсь в рукопись. Ах, какая прелесть! Сладкая волна мщения вдруг подкатывает к сердцу: я, черт возьми, тоже не лыком шит, меня на мякине не проведешь, я тебе сейчас покажу «Шекспировское в творчестве Байрона», я к тебе сам буду призраком являться.

Схватив тетрадь, я нахожу чистую страницу и начинаю строчить рецензию. Пишу я все в одной тетради – и переводы, и халтуры, и что купить в магазине – пишу сразу со всех сторон, вырывая листы по мере ненадобности, и кончается моя тетрадь обычно на середине, когда в районе скрепки начинается зеркальное письмо.

Для разгрома избираю стиль строго-классический, сухой даже стиль: знай наших. Увлекаюсь и не сразу подхожу к телефону.

Здравствуй, мам. Все в порядке. Работаю; девушки гуляют. Как вы? Мои планы? А что? Съездить к тете Лизе? А что такое? Мам, не могу. Сейчас жду сантехника, а в четыре – одна бодяга в Доме дружбы, но я должен быть. Неужели совсем никто не может? Да если б хоть заранее, мам... А что – что-нибудь серьезное? Навестить и продукты? Мам, в другой раз, правда... Не обижайся. Ну, я позвоню.

Мысль о заболевшей тетке мешает вернуться к работе. Неудобно получается. Но что я могу поделать! Ладно, проехали.

Беру ручку, ковыряю ею в ухе, перечитываю начало рецензии – лихо! С минуту пытаюсь вернуться в ритм, и вдруг неожиданно обнаруживаю, что добивать Рудольфа Коняхина из Кургана мне совершенно не хочется. Ну да, плохая работа, даже очень плохая, и ни при чем тут ни Шекспир, ни Байрон, но ведь работал человек, читал, списывал; одна перепечатка рублей восемьдесят.

Я пытаюсь представить неизвестный мне город Курган, а в нем этого Рудольфа – наверное, семейного, может быть, уже лысеющего человека. И вот он сидит сейчас где-нибудь на такой же шестиметровой кухне и ждет, что напишут на его папке в головном московском Институте, а я обрадовался, наточил зубы и собираюсь плясать на костях. Стыдно.

Байрону ничего не нужно, и Шекспиру тоже; они что могли заработали, а нам с Рудольфом еще крутиться на всех перекрестках мира, добывая хлеб наш насущный! Нахожу чистый лист и пишу рецензию – сдержанную, строгую и доброжелательную. Дописываю уже торопливо: в прихожей слышны голоса – скорее туда, полюбоваться нагулянным розовощеким Чудищем, узнать последние новости.

– Ты, конечно, приготовил нам обед? – интересуется моя ядовитая половинка.

Конечно, нет. Замаливая грехи, быстро вынимаю Чудище из семи одежек и сажаю на



горшок. У Ирки – сто рассказов о нашей дочке: какая она забавная, добрая, умная... Из комнаты раздается грохот.

Бесштанное Чудище, шпионом прокравшееся мимо нас, стоит под пианино, с выражением лица «ой, что-то случилось, но я ни при чем!», а мой секретер...

– Опять?

– Да, – кротко отвечает дите.

Но как она умудрилась вывалить сразу все папки? Сразу – все? Нет, определенно талантливый ребенок.

Я торжественно открываю цикл репрессий. Нашлепанное Чудище с воем валится на пол, но во мне нет ни грамма раскаяния.

– Очень стыдно, Катя! О-чень!

Я сажусь на корточки перед бумажными завалами и уже подумываю, как бы приладить к дверцам нехитрые проволочки-запоры, – сто лет назад ведь решил сделать запоры, все руки не доходили! – но тут на меня вываливаются останки расчетных книжек, и я понимаю, что за квартиру не плачено уже три месяца. Тьфу!

Эти пени и киловатты сведут меня в могилу. Обреченно опускаюсь на тахту посреди бумажных ошметков и, марая лист, начинаю считать, кто кому и сколько должен: обменщица, дама без комплексов, оставила все это на меня, а я возись. Если б еще Чудище не тянуло все, до чего дотягиваются ее шустрые лапки, я бы, может, собрал мозги в кучку и вспомнил, как решаются задачи на простые проценты...

Тут с кухни раздается рев, в дверях появляется Ирка, и я понимаю, что рев этот имеет ко мне самое прямое отношение.

Может, я все-таки буду убирать удлинитель после того, как торчу у телевизора, или сделаю что-нибудь, чтобы люди не спотыкались и не разбивали себе носов? – осведомляется моя безжалостная половинка. А если я совсем безрукий, то надо так и сказать. Через несколько реплик мы беседуем в лучших традициях итальянского неореализма. В процессе обмена мнениями выясняется: моей жене осточертело жить, как на вокзале, среди неввернутых лампочек, шатающихся шкафов и незакрывающихся окон, а мне, в свою очередь, осточертело вообще все, и если на то пошло, никто не запрещает моей жене найти мужа, который будет круглые сутки ввинчивать лампочки. Разговор заканчивается тем, что я пулей вылетаю из квартиры.

Всю дорогу до метро продолжаю мысленно доругиваться с Иркой – тем яростнее, чем очевиднее понимаю, что кругом неправ.

Я стою у автобусного окна и обиженно смотрю на проползающее мимо шоссе; уже у метро вспоминаю, что хотел заехать на телефонный узел, – но не возвращаться же! Куда я, кстати, еду? Ага!

Движимый мстительным желанием завалить жену лампочками, выскакиваю у магазина «Свет», становлюсь в хвост и уже у кассы обнаруживаю, что кошелек я, конечно, забыл, а мелочи в кармане аккурат на одну.

Что дальше? В библиотеку уже нет смысла: туда, обратно, а в четыре надо быть на Арбате. Да и что я сейчас напишу? Посидеть бы в кафешке, успокоиться, поесть наконец – ушел ведь без обеда, мол, не надо мне от вас ничего, Мельмот Скиталец, понимаешь – так ведь денег нет! Распираемый злобой на белый свет, тащусь в Дом дружбы народов. И ведь даже, дурак эдакий, не знаю, на что иду. Чертова Тинатина, долбанная общественная жизнь!

У входа – дипломатические машины: судя по флажкам, что-то экзотическое. Стенды ваши мне без надобности, а вот буфет – это хорошо, да здравствует советско-африканская дружба, манго, кофе и пирожные. А бесплатно в Африке аспирантов угощают? Нет? Ну и не

надо мне ничего, провалитесь вы со своим буфетом. Просто издевательство какое-то, хоть лампочку грызи – и зачем купил ее, все равно же еще раз ездить, хоть кофе бы попил! Нет, что за день, а?

Надо срочно брать себя в руки, решаю я, нельзя так просаживать время и нервы. Сажусь в кресло, минуту смотрю на фланирующую по фойе публику – интересно, как они едят в своих нарядах, эти африканцы? – и вынимаю тетрадь. Хоть добубукать, что ли. Но, видно, не судьба: ко мне намертво прилипает странный человек – из числа тех, чьи физиономии мелькают на всех тусовках, а имени не знает никто. Я имел неосторожность ему кивнуть – и вот он уже сидит рядом и рассказывает о своих творческих планах. Да задавись ты! Но отлепить от себя сумасшедшего нет никакой возможности: как всякое стихийное бедствие, его можно только переждать.

– Идем? – светло спрашивает он, когда наконец открываются высокие двери зала, и я с ужасом понимаю, что в его творческие планы входит провести в общении со мной еще пару часиков. Тут я постыдно бормочу что-то насчет желудка и попросту сбегаю в туалет.

Опасаясь, что верный друг не оставит меня и в тяжелую минуту, запираюсь в кабинке. Здесь, что ли, поработать?

Хорошее, кстати, местечко, тихое. Пережидая положенное время, изучаю надписи на стенах. Вот оно, доказательство единства советского народа: в заброшенном сельском ДК и в центре Москвы – одна рука, один стиль!

Налюбовавшись, осторожно открываю дверку и, удивляя маленького негра у раковины, выглядываю из туалета.

Кажется, оторвался. Собрание уже идет: тихо опускаюсь на свободное место с краю.

В трибуне стоит строгий немолодой человек в дорогих очках: разрешите... посвященное... в этом зале... многолетнее... узы дружбы... всегда.

Потихоньку осматриваюсь: зал полупуст, взрослые дяди и тети, моргая, сидят с постными лицами, на которые уже поставила печать подступающая летаргия. Строгий человек размеренно ставит бетонные блоки слов; люди из президиума сумрачно смотрят в зал, изучая соратников по убиению жизни.

Сквозь белый шум речи вдруг остро вспыхивает во мне досадное чувство, что чего-то я опять не сделал, забыл – и я несколько секунд мучаюсь, прежде чем вспоминаю о вчерашнем звонке Витьки Крылова: да, надо обязательно позвонить, найти время, пересечься, а может, затащить к нам, накормить, подымить на кухне – то есть дымить-то будет Крылов, а я уж потерплю – поговорить, как водится, сначала о всякой шелухе, а потом – о главном. Раньше не было недели, чтобы мы не просиживали ночь в куреве и чаепитии; потом почти одновременно женились, потом, тоже почти одновременно, получили еще по одной записи в паспортах: я – о рождении дочери, он – о возвращении ему первозданной независимости. По этому случаю Крылов умотал в горы, вернулся веселый, бородатый и вольный, как кавказский орел. Мне показалось, он совершенно счастлив.

– Ну как тебе на свободе? – поинтересовался я как-то.

– Старик, – веско ответил из трубки крыловский голос, и я словно увидел его печальный, черный вороний глаз, – свобода в больших количествах называется одиночеством.

Надо сегодня же позвонить!

Строгий мужчина маячит в трибуне, путаясь в падежах – и я проникаюсь к нему нежданным сочувствием: как же он старается, как симулирует полет мысли, как отрабатывает свой белый, с маслицем, кусочек хлеба!

Признавайся, очкастый, ты тоже Коняхин?

Вычерпав котелок своих банальностей, очкарик с видимым облегчением выходит из

трибуны под вежливое похлопывание партерных, а входит в трибуну грузный негр. Бубуканье начинается снова – на двух языках, с переводом. Я уже не знаю, сколько времени сижу в этом зале, глаза неудержимо слипаются, и, благодарный армейской выучке, я засыпаю, как на политзанятиях, – без храпа, с гордо поднятой головой. Иногда сознание мое субмариной всплывает на поверхность; в эти секунды я различаю то упитанного негра, то женщину с вавилоном на голове, то алую полосу транспаранта. При очередном моем всплытии в зале раздаются какие-то особые, искренние аплодисменты, и я понимаю, что собрание закончено.

Выйдя из зала, я на поролоновых ногах бреду опять в туалет – нельзя же выходить на улицу с такой физиономией! Приведя себя в чувство, уставляюсь на часы: почти шесть. Был бы пообедавши, мотнул бы сейчас в библиотеку, а так – конечно, домой. Голод уже прошел, оставив после себя резь в животе и слабость.

Размазанный по поручню, два века ползу в родные пенаты. После разгрузки угля зимой езда в нашем автобусе – самая тяжелая физическая работа из всех, которые мне приходилось делать.

Выпустят меня из этой братской могилы – или как?

Вот моя деревня, вот мой дом родной, пятиэтажный, без лифта и перспектив. Говорят, года через два прокопают сюда метро – и наши акции в Банном переулке сразу поднимутся на несколько пунктов.

Чудище выбегает из комнаты с зажатой в кулаке обезьянкой. Лапа у обезьянки висит на веревочке, но сегодня нашей девочке повезло, воспитательного процесса не будет – все мои локаторы и антенны направлены на кухню, чтобы по кастрюльному звону и напору воды определить Иркино настроение. Три года семейной жизни утончают человеческую наблюдательность до недоступной холостякам остроты.

– Привет, – говорю я входя, голосом нейтральным, равно готовым и к труду, и к обороне.

– Привет, – отвечает Ирка таким же неопределенным тоном.

– Купил лампочку, – сообщаю я. В зависимости от желания это можно понять и как «исправляюсь», и как «подавись ты своей лампочкой!».

Тонкая французская игра.

– Хорошо, – говорит Ирка. То ли «спасибо, молодец», то ли «плевать я хотела, чего ты там купил!» – Есть будешь?

Слава богу. Кажется, война закончена.

Окончательное примирение происходит за ужином. Ирка говорит, что она плохая жена и совсем обо мне не заботится – как я только терплю ее с ее характером; я говорю, что совсем напротив, она – лучшая из моих жен, завтра же велю казнить половину гарема и буду любить только ее, и остаток жизни посвящу борьбе с удлинителем.

Даже Чудище с ее нагловатыми претензиями не мешает нашему воркованию.

Поев, я на радостях иду в ванную и, засучив рукава, начинаю сверлить дырки в стене: то-то будет женушке праздник, когда корыто перестанет падать ей на голову, а повиснет на крючках, как у людей!

Праздника не получается. Вторая дырка оказывается в жутко неудобном месте, упираться в дрель приходится левой рукой, а под штукатуркой обнаруживается какой-то сверхпрочный материал. Начинаю орудовать пробойником – на грохот прибегает Ирка, а Чудище прячется под стол и правильно делает: пробойник вырывается из плоскогубцев и, просвистев мимо меня, чуть не втыкается в стенку напротив. Нервы у меня сдают, и я ору дурным голосом, чтобы у меня не стояли над душой и уходили подобру-поздорову, пока я не поубивал всех пробойником к чертовой матери.

Свершив наконец хозяйственный подвиг, я швыряю инструменты в ящик; знаю, что

потом опять буду полдня искать какой-нибудь шуруп, но аккуратничать сейчас выше моих сил.

На кухне – классическая картина: изведение дефицитного продукта и читка вслух. Под шумок дрожащими от сверления руками беру тетрадку и переселяюсь в комнату. Надо обязательно осилить сегодня эту сучью «поступь» – завтра времени не будет. Ах ты... Забыл! Я хватаю телефонную трубку, и руки у меня дрожат – уже не от сверления: неужели пропустил?.. Не прощу себе, не прощу!

– А, привет, – отрывисто говорит Лев Яковлевич.

– Простите, это Скворешников... Пашу – привезли?

– Да. Сегодня в три часа. Похороны – завтра. Я тайно выдыхаю – почти с облегчением.

– Лев Яковлевич, куда мне подъехать?..

– Куда? Зачем?

– Я думал... если нужна моя помощь...

– Ах да.

– Куда мне подъехать?

– Давай к девяти, к военкомату.

– Хорошо. До завтра.

Значит, завтра. А как же Пепельников? Надо будет дозвониться до него с самого утра и перенести встречу. Скажу, что все готово, но не могу встретиться. Перенесу на воскресенье. А вдруг попросит продиктовать по телефону? Скажу, что звоню не из дому, нет рукописи. Ну, Штирлиц, погоди!

Ирка с Чудищем переходят к водным процедурам, а я беру творческий отпуск – все на борьбу с припевом! Там еще, кажется, и размер другой, где-то у меня была записана «рыба»... Я со всех сторон обнюхиваю тетрадь, черта с два тут чего-нибудь найдешь, – а, вот! «Буря мглою небо кроет». Хорошенькая «рыба»...

Молодец, Димочка, вспомнил про Косицкую. Никого нет дома. Ладно, позвоним попозже, а сейчас – вперед! «Буря мглою небо кроет.»

И вот я сижу в кресле среди мусора и игрушек, откинув голову и закрыв глаза над открытой тетрадкой, над четырьмя мертворожденными четверостишиями; сижу, пытаюсь выдавить из темной своей головушки хоть строчку, но строчки нет, и полстрочки нет, а есть заунывное гудение вьюги, ее однообразные модуляции, вырастающие из простых слов, написанных бог весть когда и совсем не мною: буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя... вихри снежные крутя... у-у-ш-щ-щ...

– Димка! ну ты даешь!

Надо же, закемарил. Ирка разгребает завалы на столе, собирает ужин, смеется:

– Бедный мой старичок...

– Чудище спит? – сурово спрашиваю я, пытаюсь скрыть смущение.

– Дрыхнет как сурок.

Мы ужинаем, поглядывая в телевизор и обсуждая, с какой стороны будем выбираться из-под кучи дел, под которой погребена наша жизнь, но ни я, ни Ирка уже не верим, что спасение возможно. Вздохнув, моя самоотверженная половинка садится шить Чудищу сарафанчик, а я иду воевать с морозильной камерой.

Добыть оттуда мясо надо сегодня, иначе Чудищу завтра не будет котлеток, а Чудище обожает котлетки. Холодильничек у нас дореформенный, к морозилке без ледоруба не подберешься. Вместо творческих мук я пилю, режу, чертыхаюсь – и через каждые две минуты, вытирая руки обо что попало, бегаю к телефону: вдруг как прорвало всех!

Сначала приятель детства, которого я сто лет не видел и горя не знал, выясняет, не

занимаюсь ли я репетиторством, а выяснив, спрашивает, как вообще жизнь; потом студентка с курса, где весной по недосмотру учебной части я принимал зачет, долго рассказывает мне о трудностях своей личной жизни, в связи с чем я почему-то должен расписаться у нее в зачетке; потом меня призывают на службу человечеству из учебной части: в следующую пятницу – юбилей всеми любимого проректора по науке; Димочка, вы так хорошо пишете, у вас легкая рука, сочините эдакое с юмором, всем будет приятно...

Попробую, соглашаюсь я с воодушевлением Прометея, увидавшего на горизонте Зевесова орла.

Расправившись с мясом и телефоном, совершаю еще один боевой вылет в сторону припева. Бесполезно. Полный ступор, ничегошеньки общественно полезного. Отчаявшись, решаю добить хотя бы то, что есть, и с отвагой смертника погружаюсь в текст. Стойко преодолеваю тошноту и не поднимаю головы, пока к половине первого ночи вместо милых сердцу «бу-бу» не встают каменными скифскими бабами положенные случаю слова. Тогда я зеваю, сколько позволяет челюсть, и удовлетворенно озираюсь вокруг. Боевой друг и товарищ все возится с сарафанчиком.

– Бедолага, – говорю я, довольный собою до краев, – шла бы спать.

Не напишу куплета, думаю, и черт с ним: сдам Пепельникову так, авось проскочит... Ирка грустно смотрит на меня, качает головой.

– Чаю – попьем?

Ирка пожимает плечами: как хочешь, мне все равно.

– Ты чего?.. – спрашиваю, а в сердце уже вползает досада.

– Димка, Димка, ничего ты не понимаешь...

Ирка встает, закрывает свои коробочки и уходит с кухни. Я – не понимаю. Да все я понимаю. Ну и дурак же я.

Ирку нахожу в ванной: она всматривается в зеркало, медленно расчесывая волосы.

– Кенгуренок, – говорю, – ты у меня самый красивый. Я тебя очень люблю, честное слово.

Ирка смотрит на меня из зеркала, продолжая медленно расчесывать гриву.

– Ты просто – ко мне – привык, – размеренно произносит наконец она с убивающей интонацией смирения и покорности жестокой судьбе.

– Неправда, – говорю я.

– Нет, правда, – говорит она тем же тоном, продолжая разглядывать свое лицо.

Вставать через шесть часов.

Когда я ложусь, Ирка еще возится на кухне. Полежав немного в темноте, не выдерживаю, шлепаю к ней. Господи, второй час – затеяла делать Чудищу творожок!

– Бедный мой кенгуренок...

Ирка, обернувшись, заглядывает мне в глаза и молча тычется в ключицу носом. Нос этот, между прочим, хлюпает.

Я обнимаю ее, сквозь пижамку легко проступают детские ребрышки и лопатки. Что-то почти забытое, сладкое затопляет мое сердце.

– Я люблю тебя, скелетина моя.

– А ты – моя, – бурчит Ирка.

– Какой же я дурак, – шепчу я.

– Угу, – соглашается Ирка, почесывая кончик носа о мою шею.

# Глава III

## Суббота

Эта пыточная машина – наш будильник – когда-нибудь сделает меня заикой.

Семь двадцать. В темпе, в темпе, Дмитрий Олегович! Сегодня опаздывать никак нельзя. Слава богу, бриться не надо: в нашем доме слышно, о чем шепчутся через этаж, а у меня электробритва.

В холодильнике – одна тоска. Или, если быть точным, две тоски: пельмени и маргарин. Ладно, не графья, перетопчемся. Завтракаю чаем и бубликом, обкусанным накануне дочкой. Жизнь становится желанной, и я даже начинаю напевать – до тех пор, пока не вспоминаю, куда еду.

Выйдя, тихонько поворачиваю ключ в замке.

Автобус не идет, народ стоит хмурый, словно не я один – все едут на похороны. Ох, неудобно будет, если опоздаю: напросился и не приехал... Бедные родители. Он ведь один у них, кажется. Один. Не хочу даже думать, каково им сейчас. К черту! Лучше почитаю «Известия», про принципиальный спор Карпова с Каспаровым в защите Грюнфельда.

Что за сон снился мне? Хвостик слишком мал, чтобы за него ухватиться – сон был тревожный и как-то связанный с сегодняшним днем, с Пашкой, но сюжет распался невозстановимо. Мне часто снятся тревожные сны. Один я хорошо помню, он повторялся несколько раз с точностью киноленты – сон про начало следующей войны. Об этом тоже лучше не думать.

Ладно, все! Выбросили из головы и забыли! Что сегодня, кроме похорон?

Воспоминание о припеве отзывается зубной болью и тошнотой одновременно. Зачем я ввязался в это дело? Откуда возьму эти четыре строчки? Может, позвонить Пепельникову и послать его куда-нибудь... в сторону Добронравова? Но тогда выходит, зря я тужился, рожал «могучую поступь»? И потом – двести рублей. Черт возьми эти деньги! Переводы не печатают – вон, уже полшкафа скопилось, а узнают про халтуру, начнут носы воротить: фу, какая мерзость!

Мерзость надо дописывать, и дописывать сегодня. И от метро не забыть позвонить Пепельникову. Похороны кончатся часам к трем – ехать на поминки или нет?

Косицкой – не дозвонился! Черт возьми, у нее же было какое-то дело, вечером – не забыть, не забыть, не забыть! Все равно забуду. Нет, это невыносимо.

Военкомат стоит в глубине казенного скверика с выкрашенными серебрянкой урнами по углам. На этажах пусто, дверь военкомата открыта, и там, у входа, три фигуры. Они! Вот только этого бородача я не знаю.

– Здравствуйте.

Пашина мама смотрит на меня, не узнавая, потом мелко-мелко кивает головой. По лицу ее разлито совершенное безразличие к происходящему.

– Привет, – Лев Яковлевич возбужденно трясет мою руку. – Видишь, ерунда какая получается – нет машины.

– Да, – отвечаю я. Совершенно не представляю, как себя вести, что говорить.

– Обещали, что все организуют... – Лев Яковлевич, словно оправдываясь передо мной, разводит руками. Еще несколько минут мы слушаем, как что-то объясняет по телефону массивный полковник и что-то объясняют ему.

Ждем около получаса. Лев Яковлевич без остановки ходит по пустому вестибюлю, Ольга Александровна сидит недвижно, смотрит в одну точку где-то за окном. Маленький

бородач, тиская в руках спортивную шапочку, бесшумно покачивается на стуле.

– Да что ж такое? – взрывается наконец Пашин отец. – Когда же будет машина?

Дежурный за стеклом поднимает на него бесцветный взгляд, означающий: он при исполнении, что и как делать – знает, торопить его, если надо, будет начальство, а не всякие тут...

– Левушка, – с неожиданной нежностью говорит Ольга Александровна. – Левушка, не надо. Я прошу тебя.

И я вздрагиваю, увидев на ее лице уже забытую мной Пашину улыбку.

– Подожди, Лева, – говорит бородач, вставая. – Я сейчас. – И, пошарив глазами, быстро выходит на улицу.

– Может, сходить еще к военкому? – говорю я, чтобы что-нибудь сказать, чтобы не слышать больше этого невыносимого молчания у стеклянной стены.

– Не знаю, – без выражения произносит Ольга Александровна и снова, как зверек к запертой дверке, возвращается к окошку. – Товарищ дежурный, как же так? Нам же обещали...

– Откуда я возьму машину? – громко и раздельно, как слабоумной, говорит ей вдруг офицер с повязкой. – Откуда я возьму машину, если их нет?

– Так что ж вы молчите? – тихо-тихо спрашивает тогда Пашина мама. – Почему вы нам сразу не сказали?

– Как вам не стыдно? – спрашивает она после паузы каким-то совсем детским, обиженным голосом.

– Не надо предъявлять мне претензий, – говорит человек за стеклом. – Я не люблю, когда мне предъявляют претензии.

– Не смей так разговаривать с женщиной! – кричит Лев Яковлевич. – У нее сын погиб! Сы-ын, понимаешь? У тебя есть ребенок?

– Вы мне не тыкайте, – отвечает дежурный. Чувства собственного достоинства у него навалом.

– Оля, Лева! – В дверях стоит бородач. – Едем, я у себя договорился.

– Стыдно, товарищ дежурный, – говорит Пашина мама, и я с тоской вспоминаю вдруг, что она – школьная учительница.

– Да бросьте вы его! – неожиданно кричит тихий бородач. – Нашли с кем разговаривать! Сначала мы едем молча. Потом Ольга Александровна касается моей руки.

– Простите, вы же – Скворешников?

– Да, – говорю я.

– Ну конечно. Я вас вспомнила. Паша все говорил о вас. Через слово – Скворешников... Мой замечательный мальчик.

– Ты подумай, – с переднего сиденья поворачивается Лев Яковлевич – только тут замечаю, какие красные у него глаза. Сколько дней они не спят уже? – Говорили: все организуют сами.

– Хрен с ними, Лева, – не отрывая взгляда от дороги, говорит маленький бородач. – Пропади они пропадом.

– Он такие письма писал хорошие. – Лицо у Ольги Александровны по-прежнему спокойно; улыбка – та, Пашина – мелькает на ее губах иногда. – А я знала, что так будет, я еще тогда знала.

Она начинает рассказывать о Паше – какой он был в детстве, и потом, и всякие случаи из его жизни, а Лев Яковлевич вспоминает, как Пашка в пять лет изображал на даче привидение, вспоминает так, словно мы и едем на эту дачу, а не забирать Пашино тело, и – о боже! – они смеются.

– А меня он называл Бородатина-Сергунятина, – говорит бородач.

– Бородатина-Сергунятина, – подтверждает Лев Яковлевич.

Потом все замолкают, и становится слышно, как шуршат по асфальту шины. Ширк-ширк, ширк-ширк. Потом Ольга Александровна говорит:

– У меня взяли сына – и не вернули. Взяли – и не вернули.

– Перестань, – резко обрывает ее отец.

Мы подъезжаем к каким-то воротам, и бородач, кинув: «Я сейчас», хлопает дверцей и скрывается за ними.

Через час добытый им катафалк уже медленно разворачивается где-то на окраине Москвы. Я выхожу, разминаю ноги, оглядываюсь – и у меня начинает сладко щемить сердце; через несколько секунд я понимаю, почему.

За низкой больничной оградой – башня и пятиэтажки, потом налево пустырь и станция метро; я знаю тут каждый поворот.

Странно: ведь я любил ее. А сейчас и лица не помню. Только голос с хрипотцой и запах волос, мне было восемнадцать лет тогда, я звонил вечером от этого метро, зимой, и ждал, когда она спросит: «Ты хочешь приехать?».

Я отвечал «да», она говорила: «Ну и приезжай» – и смеялась.

После развода (она называла это «пауза в личной жизни») она жила с бабушкой. Как звали бабушку, не помню, помню только, что жутко ее стеснялся. А моя разведенная возлюбленная спокойно прикрывала дверь в свою комнатку, садилась на диван, и встряхивала рыжей шевелюрой, и смотрела на меня, и улыбалась.

Долго смотреть ей не приходилось. Мы обнимались до потери пульса, но решиться на большее, слыша, как поскрипывает от любого сквознячка не запирающаяся дверь, я не мог.

– А она не войдет? – не выдержав, спросил я однажды напрямик.

– У нее своя личная жизнь, у меня – своя, – лаконично ответила моя рыжая наставница. – Не войдет.

Вскоре она бабушку куда-то спланировала, и я, позвонив домой, промямлил что-то насчет подготовки к семинару по языку – в общем, сказал, домой меня сегодня можно не ждать.

– Ну хорошо, – с пониманием сказал отец. – Занимайся.

Мы занимались ночь, и день, и снова ночь, и к концу занятий я разучился говорить даже по-русски. А потом прошла зима, и моя возлюбленная перестала спрашивать, хочу ли я зайти. Однажды я зашел к ней без спросу – и был представлен добродушному мужику в свитере, просторно расположившемуся в кресле, где раньше сидел я.

Так это все и закончилось. И если разобраться, никакой любви там отродясь не было – просто мне только исполнилось восемнадцать, а у нее на ту зиму пришлась пауза в личной жизни. И все это так банально, что не о чем и говорить – но почему тогда сладко ноет сердце, и я отсчитываю этажи серой девятиэтажки, чтобы найти ее окно на шестом?

Энергичная женщина быстро отпирает низкие ворота морга. Мы входим и останавливаемся у огромного, заколоченного в деревянные брусья цинкового ящика.

– Он здесь, – говорит Лев Яковлевич.

Ольга Алексеевна стоит во дворе, прислонившись к машине.

– Ты посиди немного, Оля, посиди! – махнув рукой, кричит Пашин отец и – нам: – Давайте снимать цинк.

Он торопится все время, он боится хоть на секунду остаться без дела.

Я выхожу на воздух; два мужичка в ватниках нараспашку молча стоят у самых ворот.

– Мужики, – спрашиваю я, – инструмент есть какой-нибудь?



Коротышка старательно ковыляет за угол. Другой, худой, прокуренный до серых щек, коротко спрашивает, чуть погодя:

– Афган?

– Нет, – говорю я, отсекая расспросы.

– А эта, у машины – мать?

– Мать, – говорю.

– Ах ты...

Прокуренный коротко излагает все, что он думает про войну, про армию, про эту жизнь вообще... Из-за угла ковыляет коротышка.

– Вот...

Лицо у коротышки сморщенное какое-то, глаза слезятся. Кажется, он немного пьян.

Мы высаживаем мощные бруски, и бородач, завладев ножницами, начинает резать цинк. Взлетает к низкому потолку и начинает качаться в тесном кубе морга жуткое «цвиуинь», и, унимая этот невыносимый звук, мы с Пашиным отцом разом хватаемся за раскромсанный край ящика.

– Консерва дурацкая, – шепчет он. – Вот черт возьми. Мы осторожно вынимаем гроб и вносим его в УАЗик.

Там, улучив момент, я шепчу бородачу вопрос, мучивший меня все это время:

– Открывать будем?

Он строго смотрит на меня:

– Не надо.

– Что? что?

– Я думаю, Лева, ведь открывать не надо? – повторяет бородач, глядя на меня досадующим взглядом.

Лицо у Пашиного отца каменеет.

– Я хочу посмотреть на него.

– Не надо, Лева.

Ища поддержки, Лев Яковлевич смотрит на меня; в глазах его светится огромная, какая-то совершенно собачья тоска.

– Наверное, действительно не стоит... – мямлю я.

– Я хочу – на него – посмотреть.

– Хорошо, – говорит бородач. – Только...

– Да. Без нее.

Боясь задеть Пашину голову, я ломиком поддеваю крышку. Мы снимаем ее; я вижу лицо Льва Яковлевича и быстро отхожу, как будто самое важное сейчас – сразу отдать ломик.

Коротышка в ватнике по-прежнему стоит у дверей морга, но уже один. Он смотрит не отрываясь. Маленькое лицо его болезненно сжимается, словно в каком-то странном тике. Он поднимает на меня глаза, и я вижу, что коротышка плачет.

Я лезу в карман за трешкой из бумажного комка, сунутого мне бородачом на все эти дела, и сую ему. Коротышка мотает головой.

– Бери, отец, бери, – уже раздражаюсь я.

Коротышка мотает головой; слезы без остановки бегут по его щетинистым щекам.

От УАЗика отбегает Лев Яковлевич, не оборачиваясь, машет рукой: заколачивайте!

В машину с Пашиным телом сажусь я и, сев, сразу кладу руку на гроб, чтобы не очень трясло Пашу, когда поедem. В маленьком окошке исчезают больничные корпуса, деревья и плачущий смешной коротышка в ватнике нараспашку, ковыляющий вслед. Коротышка машет рукой...

Дорога до кладбища неблизкая. Я смотрю, как мотается по полу упавшее ведро. Наконец ведро ударяется в гроб, и, пробравшись вперед, я заклиниваю его под сиденьем.

В голове пустота – просто еду, жду конца дороги. Паши больше нет. У моих ног в обтянутом тканью ящике лежит его замороженное тело в новенькой гимнастерке: нелепый маскарад. Мы все едем, куда-то поворачиваем, медленно переваливаем через трамвайные пути и снова едем – и вдруг я обнаруживаю, что без перерыва повторяю дурацкие мои строчки о мирной поступи. Они скрежещут в мозгу, как лопата по сухому асфальту. Я остервенело мотаю головой, пытаюсь прекратить этот кошмар, но чугунные шары продолжают мерно сталкиваться в черепе, одно и то же, снова и снова, и я сдавливаю виски, чувствуя, что могу спятить от этого медленного самоубийства, и когда машина тормозит наконец у ворот кладбища, выскакиваю из нее, как из камеры пыток.

Глотаю осенний воздух; сейчас все пройдет. Заплаканные женщины и немногословные мужчины окружают нас; исчезает за углом похоронной конторы стремительная фигура Льва Яковлевича. Чуть поодаль, у ограды – горстка Пашиных друзей. В них уже почти ничего не осталось от тех, с которыми я знакомился два года назад: растерянные, серьезные. Меня, кажется, никто не узнал. А может, и узнал; у них не очень-то поймешь. Но двое отделяются от горстки, подходят ко мне.

– Здравствуйте. Я киваю.

Полноватый очкарик и девушка.

– Скажите, а Паша – здесь?

– Да, в машине. – Ну и глазищи у этой девушки! Надо же, чего бывает на свете...

– А... – Она ловит мой взгляд – не слишком, кажется, подходящий к ситуации – и на секунду осекается. – Вы его видели?

– Нет, – почти не вру я. – Он в закрытом гробу.

Но то, что я не мог не видеть, заколачивая этот гроб, снова встает передо мной.

– Как он погиб? – спрашивает парень, поправляя очки на одутловатом лице.

– Не знаю. Я не спрашивал. – Ответ получается жестче, чем я хотел.

Мы молчим некоторое время, потом одутловатый молча же тянет черноглазую за рукав плаща, и они отходят. Интересно, есть у нее что-нибудь с этим парнем – или просто из одной компании?

Люди продолжают прибывать. Какие-то женщины обнимают Пашиного отца; как он сильно сутулится! А Пашка был совершенно прямым – мамина осанка. Люди прибывают, заполняя площадку у входа, и уже проходящие на кладбище посматривают с интересом, пытаясь угадать: кого хоронят, почему столько народу?

Разговоры вполголоса, кивки незнакомым. Кого-нибудь ждем? Кажется, бабушку. (О господи, еще и бабушка. А я-то надеялся, что самое страшное уже видел.)

Ожидание становится невыносимым; потом – движение; пора, давайте, суета у машины. Знаете, участок в самом конце кладбища... На руках? Конечно, на руках. И чей-то почти обиженный голос: а что, открывать не будут? Как же, а проститься? Вы что, не понимаете?.. Ах, ну нельзя так нельзя.

Алый ящик плывет на плечах над желтым маревом кладбищенских аллей, поворачивается, покачивается, переходя с рук на руки. Уступив свое место, я оказываюсь в плотном людском потоке. Мы идем молча – и долго в сентябрьском полусвете мучит скрип сотни подошв.

Могила у самой стены, четверо крепких ребят ждут, оперлись на лопаты. Гроб ставят на тележку; облепляя решетку, становимся вокруг. Несколько военных стоят отдельной группой. Салюта не будет. На лицах – корректная отрешенность, молоденький прапорщик нетерпеливо

переминается с ноги на ногу.

Тишина, долго скручивавшаяся в женских платочках, в сжатых пальцах, разом взрывается долгим стонущим «а-а-а», и тут же: да поддержите же ее, валидол, есть у кого-нибудь от сердца? Старушку отводят в сторону – нет, повторяет она, нет, нет, нет!

Сутулая фигура у гроба; пальцы гладят ткань крышки. Матери рядом нет. Я оглядываюсь и вижу ее метрах в десяти, стоящую одиноко возле чужой решетки. Бледное лицо совершенно спокойно. Только тут до меня доходит: она просто не верит во все это. Она еще не поняла.

– Ну, давайте...

Как странно. Гроб закрыт; дикая, щемящая надежда: может, Пашки там и нет?

Обтянутый тканью ящик ложится в землю.

Тишина обратной дороги разбавлена негромкими разговорами: да-да, ужасно, я бы не вынесла; а как он погиб? тс-с, не надо об этом; ужасно, ужасно; а кто эта девушка в сером пальто, она так плакала; неужели поминки будут у них дома – как же все поместятся? И подмешивается к горечи: слава богу, уже позади эти немыслимые минуты у заколоченного гроба над ржавым колодцем могилы.

– Простите, вы, наверное, Скворешников?

Черные глаза девушки заплаканы: да, серое пальто – это про нее...

– Скворешников, – говорю.

– Вы – поэт, – почти сердито произносит парень. Он, конечно, рядом.

– Ну... почти, – ненавижу, когда меня называют так. – Я – переводчик поэзии.

– Все равно, – категорически заявляет мне одутловатый.

Пожимаю плечами.

– Это я вам звонила, – торопливо говорит девушка. – Паша отдал Коле тетрадь, когда уходил, а там ваш телефон...

Вот оно что. Вот почему я здесь.

– Ясно, – говорю, – спасибо.

– Вы читали Пашины стихи? – нервно поправляя очки, осведомляется одутловатый Коля. С большим удовольствием я бы узнал имя девушки.

– Читал.

– Вам не нравится.

Я неопределенно пожимаю плечами: стихи и стихи.

– Вот, возьмите, – Девушка требовательно протягивает мне почтовый конверт. – Это Пашины письма оттуда.

– Там стихи, – говорит парень.

Ну конечно. Я – поэт, там – стихи. Мне предлагается оценить и организовать посмертную публикацию. Ребятки, вы нашли кого просить – не говоря уже о том, что смерть не является в поэзии смягчающим обстоятельством...

– Хорошо, давайте.

Страх, смешанный с любопытством, овладевает мной. Опять разбирать этот сумасшедший почерк, смиренный печатными буквами с аккуратными островками вымарок. Вот только уже не встречу на «Фрунзенской» белобрысого акселерата с кожаным шнурком вместо галстука.

– Вы не поедете с нами? – спрашивает девушка.

– Куда?

– Ко мне. Все Пашины друзья едут ко мне.

– Не знаю... Дел не впрокорот... Насчет дел я, конечно, не соврал.

– Знаете, я вам оставлю адрес: сможете – приезжайте.

– Спасибо.

Бумажку прячу в карман. Может, правда, плюнуть на все?..

– Если смогу – приеду.

Подхожу к Пашиным родителям; Дима, а вы разве не поедете к нам? Нет? Ну конечно, работа... Спасибо вам.

Пашина мама вдруг подается ко мне, утыкается в плечо.

– Оля, – раздраженно говорит отец. – Оля!

– Все, все. – Пашины глаза вновь смотрят на меня с ее лица. – Все! Спасибо вам.

Я мнусь еще несколько секунд, потом поворачиваюсь и ухожу. Автобус увозит меня по щербатой дороге все дальше от покосившихся решеток, к кольцевой, к телефонам-автоматам, к маленькому рынку у метро... Напряжение отпускает понемногу, и вскоре я уже благосклонно поглядываю в грязное окно на проплывающую мимо улицу с манящим, тихим названием Библиотечная. Время скорби честно прожито мной – пора возвращаться, вспоминать все сто тридцать пять дел, отложенных утром. Пепельников!

Забыл ему позвонить. Все! Это конец. Он наверняка заказал текст кому-то еще. Есть умельцы – за час залудят эту поступь и не поморщатся. От мысли, что в эту самую минуту какой-нибудь прохиндей, попивая кофий, уже рифмует «время – стремя», я издаю стон – стон страдания, ревности и финансовой катастрофы. Случившаяся рядом сердобольная старушка протягивает мне анальгин. Спасибо!

Дорогу до метро я досиживаю, как на углях, выскочив, опрометью бросаюсь к автоматам. Телефонную книжку я, конечно, не взял, но пепельниковский номер, слава аллаху, затвержен наизусть.

Занято.

Набираю еще несколько раз, потом уступаю место прыщавому парню и долго слушаю, как он уламывает какую-то Нинон пойти размяться. «Ну че ты?» – говорит он, и через минуту: «Ну ладно, че ты?»

Когда он наконец дочекивает, я почти вырываю трубку из его рук. Если все это было напрасно – я не знаю, что я сделаю! Наконец – долгие гудки в трубке, сердце мое обрывается и летит куда-то в область живота. Ну?

Ворчливый голос советует мне правильно набирать номер.

– Я набираю правильно! – ору я в библикающую трубку и бросаю ее на рычаг. Убивал бы таких советчиц. Двушки у меня кончаются, нервы тоже. Изможденный, выхожу из кабины и опускаюсь на уборочную машину – из тех, которыми распугивают припозднившихся пассажиров.

Спокойно, все в порядке. Текст у меня практически готов, рабочий день – до пяти. Все хорошо. Все просто замечательно. Кому я еще должен отзвонить? Ну конечно! Подайте двушку, граждане!

– Алле!

– Людмила Леопольдовна, здравствуйте, это Скворешников.

– Почему ты не позвонил, Дима? Что-нибудь случилось?

– В общем, да, – говорю я, мысленно обложив себя последними словами. – У меня друг погиб. Сегодня вот похоронили.

– О боже.

Легкое угрызение совести царапает меня: получилось, будто не звонил я из-за Паши... Пытаюсь представить, что сказала бы Косицкая, узнай она о моих трудах к красным датам, – и не могу. Ничего бы не сказала. Просто потеряла бы ко мне интерес, и все. Я слышал

однажды, как она разговаривала по телефону с одним «бывшим учеником», как брезгливо был он отрекомендован мне по окончании разговора. Не приведи господи услышать когда-нибудь такой голос обращенным ко мне.

– Людмила Леопольдовна, у вас было какое-то дело...

– Да, милый. У тебя ведь из Венслея уже есть что-то? В сердце у меня тенькает.

– Есть, – говорю я неправду.

– Ну вот и славно.

По голосу ее, бодрому и чуть небрежному, догадываюсь: мне приготовлен подарок.

– Знаешь, где находится редакция «Мира и литературы»?

– Да, – говорю я чуть быстрее, чем следовало бы, и полминуты, проклиная себя, слушаю инструктаж.

– Людмила Леопольдовна... – Сгорая от стыда, я начинаю разыгрывать требовательность к себе. – Может, не Венслея – хотелось бы еще над ним посидеть...

Еще бы не хотелось – там только подстрочник!

– Посидишь, Дима, – весело подбадривает Косицкая, – а Венслея все-таки принеси, у них сейчас как раз восемнадцатый век идет. Два-три стихотворения.

Два-три!

– Когда нужно принести? – кротко спрашиваю я.

– Вообще-то вчера, – смеется Косицкая. – Но можно до среды. И чем скорее, тем лучше.

– Ясно, – говорю. – Постараюсь. Спасибо вам.

Ну почему, остолоп эдакий, я не перезвонил ей сразу же? Была бы у меня почти неделя, а так – сегодняшний огрызок и три дня. Академический журнал! «Джон Венслей в переводах Дмитрия Скворешникова»!

Срочно расправляться с «поступью». Сейчас же!

Через минуту дозваниваюсь Пепельникову, и сразу верхним чутьем понимаю: все в порядке. Коротко и, насколько возможно, с достоинством сообщаю: текст готов, но сегодня передать уже не смогу, только завтра. Мой работодатель несколько обескураженно соглашается: только с самого утра, Димочка, и не опаздывай, пойду с твоей нетленкой по начальству, а в понедельник – уже на самый верх...

О том, что Пепельников имеет в виду под «самым верхом», лучше не задумываться, не мое собачье дело. А вот описание предстоящих с моей нетленкой хлопот мне определенно не нравится. Ладно, мы ребята простые, намеков не понимаем. Нам бы припевчик накорябать поскорее – и с глаз долой, из сердца вон! Только откуда ж его взять, припевчик?

И тут меня осеняет. Я знаю, откуда.

В библиотеке почти пусто, только корпят над конспектами две студентки, листает подшивки старушка, да в углу, обложившись древностями, водит носом по странице маленький горбун.

Окаменив лицо, я прошу у библиотекарши трехтомник песен и маршей – милая девушка, оформляя заказ, бросает на меня взгляд, полный сочувствия к внезапно и тяжело заболевшему человеку.

Получив красные кирпичи, тридцать лет и три года ожидавшие меня, своего первого читателя, я притуляюсь в кресле у столика. Ну, Дмитрий Олегович, давай. Лиха беда начало. «Буря мглою небо кроет...»

Через полчаса, собрав в кучку все написанное четырехстопным хореем, я затеваю совершенно хамскую компиляцию: пересаживаю эпитеты из песен к глаголам из маршей, меняю «веселье» на «весенний», «народ» на «вперед», переписываю все начисто – и, как Пигмалион, отхожу в сторонку, чтобы полюбоваться своим детищем.

Вот она, моя Галатея – четыре куплета и припев. Моя уродочка. Влюбиться в нее я, конечно, не смогу, но продам всем желающим – и завтра же... Смысла тут не больше, чем на любой из тысячи страниц трехтомника – но, видит бог, и не меньше! А оптимизма просто девать некуда.

Жди меня, Пепельников, завтра в девять утра, получай, драгоценный, свой заказ, потому что я его больше видеть не могу.

Вам стыдно за меня, граждане? Кому стыдно – дайте двести рублей.

Господи, неужели все? Вот это вот безобразие – и долги, и за свет-газ, и женушке чего-нибудь; глядишь, и в кафешку вырвемся, прокутим на двоих червонец... А главное – Венслей! Сегодня же, сейчас же – Венслей! Господи, как хорошо-то; почему я раньше не сообразил про марши?

Домой, скорее домой!

– Ди-им... – тянет из кухни жалобный голос. – Это ты?

– Я.

– Это хорошо-о. А то твоя дочь меня доконала-а. Шум воды обрывается, Ирка выходит в коридор, прислоняется к стенке.

– Здравствуй, Скворешников.

– Здравствуй, Скворешникова, – отвечаю.

– Ну как? – спрашивает она.

– Отлично!

– Что-о-о? – Ирка даже отрывается от стенки.

Дурак же я. Дурак бесчувственный, сволочь. Пораженный неожиданным чувством, так и стою у двери – в расстегнутой куртке, с «дипломатом» у ног.

– Извини, – бурчу я.

– Дим, ты чего?

– А... – машу рукой. – Так...

– Может, уж сбегашь за картошкой? Пока не переоделся... Картошка – мой вечный долг перед человечеством. На улице уже темнеет. Скоро будет темнеть еще раньше, а потом наступит зима, и в первом номере «Мира и литературы» появятся мои переводы. Скорей бы добраться до папки. В магазин я врываюсь почти бегом.

Дома, еле заставив себя переодеться, бросаюсь к машинке. С каким же удовольствием отстукиваю я наконец четыре злосчастные строфы с припевом-компиляцией; как сладко знать, что больше никогда в жизни не прочтешь этих слов, что честно сделал свое дело, приволок эстафетную палочку на следующий этап – и можешь идти в кассу...

Торжественным дирижерским жестом ставлю последний восклицательный знак.

Теперь поужинать – и за дело. Хозяйственную барщину я отработал картошкой – вечер, без сомнения, мой. Мысль, что вот-вот, уже в любой момент, могу достать из секретера милую сердцу папку с полотняными широкими завязками, папку, на которой не без изящества написано черным фломастером английское Wensley, – мысль эта будоражит меня и лишает вкуса тушеную картошку с мясом и кружками моркови.

Заглотив ужин, я смиряю себя и добровольно становлюсь к раковине: надо дождаться, пока утихнет Чудище, надо подготовиться к встрече. Долгой была наша разлука; как-то примет он меня теперь? Простит ли трехмесячное заточение в секретере, измену с «поступью»? Будь благосклонен ко мне, Джон Венслей – и я извлеку тебя на свет из-под бумажных завалов, не держи на меня зла, Джон – я, если вдуматься, не так уж и виноват...

Посуда давно вымыта; я долго вытираю со стола, мою руки с мылом, тщательно

вытираю о полотенце. Все. Надо начинать. Что-то страшновато.

Я захожу в комнату, где уже при свете ночника сидит на Иркиных коленях сонное Чудище, целую ее в теплый лобик, целую Ирку – я так люблю, когда у нас мир. Ирка понимающе проводит пальцем по моей ладони.

В полутьме безошибочно извлекаю из темных глубин секретера папку с тесемками, выхожу из комнаты, плотно притворяю дверь. Я сажусь за кухонный столик, скидываю с него на кресло дочкины ботиночки; кладу на столик папку и осторожно тяну вверх широкую полотняную тесемку...

Ты, держащий на ладони этот мир, зачем вглядываешься в меня так пристально? Что Ты увидел во мне, раздираемом смрадной чернотой и небесным светом? Куда велишь идти по этой каменистой тверди, простершейся подо мной во все стороны? Для чего сокращаешь сердце, запертое в тесной клетке ребер? Я знаю, что скоро исчезну – так почему же радуется каждому дню моя душа, парящая над старым телом на тонкой ниточке дыхания? Ты, держащий на ладони этот мир, позволь еще пройти под этими облаками, вдохнуть еще раз дарованный Тобою воздух!

Я ставлю чайник, наливаю в чашку заварку – руки подрагивают от волнения. Я сажусь, снова гляжу на листок с подстрочником, потом в черноту окна – как хорошо, что оно выходит на пустырь, можно не задергивать штор, смотреть на россыпи огоньков в дальних домах, мерцающие сквозь ветви точки жизни.

Ты, держащий на ладони этот мир...

Размеренный, чуть тяжеловесный ямб староанглийского стиха уже начинает заполнять меня, я вслушиваюсь в его неспешный ход, в глубокое дыхание строки, я всматриваюсь в лист, пытаюсь разглядеть за чередой слов лицо человека по имени Джон Венслей. Портретов его не осталось; известно, что был священником, что умер больше двух веков назад в Средней Англии. Интересно, в какую сторону отсюда Англия? Кажется, вон на ту засыпающую девятиэтажку и дальше, через шоссе и пустыри...

Закипает чайник. Я налил его доверху, на несколько чашек: сегодня надо перевести стихотворение хотя бы вчерне.

Ты, держащий на ладони этот мир...

Я прихлебываю чай, ожидая, когда из первой, уже сложившейся, строки начнут прорасти остальные. Россыпь далеких огоньков за пустырем постепенно редет, потом лишь отдельные точки прорываются сквозь ветви деревьев – где-то, значит, тоже не спят, может, такая же грешная богема, как я, может, просто припозднились из гостей. Работа не идет, в голову лезут всякие глупости – то «мирная поступь», то телефон, за который я так и не заплатил, то черноглазая девушка и ржавый колодец могилы. Устал я.

В последнюю чашку еле нахлюпывает половина. Начало второго, за окном сплошная темень. На листе, лежащем передо мной – тоже. Перевода нет. Есть хорошо зарифмованное стихотворение; оно даже похоже на оригинал – так похожа на самолет модель в натуральную величину. Но там, где венслеевский стих отталкивается от земли и уходит в небо, от моего отваливаются крылья, обнаруживая пятна клея на картонных стыках.

Я перечитываю перевод, и уже сам не понимаю, что тут такого, в этом стихотворении, отчего зашло дыхание тогда, в Иностранке, весной. Голова раскалывается от усталости, в венслеевские строки по-хозяйски вламывается «мирная поступь», и, сдавив руками виски, я еще несколько минут сижу, один в уснувшем городе, пытаюсь навсегда разобрать на молекулы и уничтожить этот бред.

Потом снова перечитываю перевод.

Потом обнаруживаю себя лежащим головой на столе между подстрочником и чашкой с недопитым чаем. Шея затекла; жить не хочется. Не хочется переводить, думать, читать, допивать чай. Хочется спать.

Еще минуту уговариваю себя пойти в душ, но безрезультатно. Завтра в девять – Пепельников. Будильник ставлю на четверть восьмого, потом добавляю себе еще десять минут сна.

Последняя мысль, мелькающая перед полным исчезновением сознания: вот оно, счастье.



# Эпилог

## Воскресенье

Я открываю глаза оттого, что кто-то в моем мозгу кричит: – Проспал!

Открыв глаза, я сразу понимаю, что так и есть.

Вскакиваю и бесшумно, как индеец, пробираюсь на кухню. Дьявол! Двадцать минут девятого! Не включил будильник, болван!

Это катастрофа. Через сорок минут Пепельников ждет меня на другом конце города. Ежась, ловлю в ладони ледяную струю, плещу в лицо. Вытереться досуха терпезу не хватает – так, с влажной физиономией, и выбегаю на кухню, мокрыми руками, чертыхаясь, начинаю чиркать спичкой. Спичка зажигается с пятого раза. Теперь, когда на счету каждая секунда, все будет выходить с пятого раза.

Пока кипятится вода, успеваю одеться и кинуть в «дипломат» свежеперепечатанную халтуру. Вроде все. Обжигаясь, глотаю чай, на ходу хватаю несколько сушек из шкафа.

С лестницы, ругаясь заветными словами, бегу назад – опять забыл кошелек! Мои девушки спят как сурки – надо же! Хватаю финансы, спотыкаюсь о куклу, чертыхаюсь и снова скатываюсь по ступенькам. Такси!

Воспоминание о сладком пепельниковском баритоне – «без опозданий, Димочка...» – прошибает меня почище стакана водки. Запросто, пират, оставит без договора – или откупится сотней, негодяй. Ну что, никому не нужна моя пятерка? Налетай, частный сектор, пользуйся случаем! Я бегу по обочине спиной вперед, размахиваю руками, пока наконец не бросаюсь к притормозившим «жигулям». Милые вы мои, век не забуду!

Через двадцать минут я сую моему спасителю синенькую и выскакиваю из машины. Без трех минут, порядок, успел. Только на часах над улицей почему-то без трех восемь, а не без трех девять. Смешно, на целый час отстают. И соседние тоже.

Я еще чешу по тротуару размашистым шагом, но до меня уже начинает доходить, и шаг становится короче. Я останавливаюсь и снова смотрю на часы, повисшие над полусонной улицей. Потом на свои и опять на уличные.

О господи!

Я стою посреди тротуара и чувствую, что сейчас разревусь от обиды – на свои дырявые мозги, на человечество, сговорившееся уморить меня недосыпом, на родных, не напомнивших о переводе часовой стрелки на час назад по случаю перехода на зимнее время.

В странном состоянии, похожем на невесомость, я бреду по тротуару, прохожу мимо пустынной остановки, где должен был ожидать меня Пепельников, а гуляют два жирных голубя, сворачиваю на аллею, прохожу еще немного и опускаюсь на грязно-белую скамейку с приклеившимся к ней бурым осиновым листком. «Дипломат» кладу рядом.

Не выспался, прикатил черт-те куда, угрохал пятерку. И что тут делать целый час? Ни книги не взял, ни тетрадки. Ничего нет – только этот прилипший лист, и утренний пробирающий холодок, и в обе стороны от скамейки – Нескучный сад, изгибами тянущийся вдоль неспешной реки, и просторные небеса над садом, наполненные беспокойными птицами – они чайнками кружатся в бескрайнем стакане неба, покрикивают, напоминая городу о приближении зимы.

Я сижу, глядя на реку и поеживаясь, один среди города, спящего с выключенным секундомером.

Я сижу на грязно-белой скамейке с прилипшим к ней бурым листком, пришпиленный, как жучок к картонке, к этому свободному часу. Тайм-аут... «Время – вне». Вне всего, кроме

этого сада и неба, под которым сидит на скамейке плохо выбритый, с нечищенными ботинками человек. Дмитрий Олегович Скворешников. Тридцать лет. Женат. Имеет дочь.

Я сижу, глядя на бегущего по аллее, размеренно дышащего человека в красной вязаной шапочке – вот он скрылся за деревьями и стал прошлым, прошедшим, как вчерашний день с кладбищенскими покосившимися оградами и черноглазой девушкой, которой я никогда не позвоню, хотя знаю ее телефон; не позвоню, потому что жизнь одна – хотя, может быть, именно поэтому стоило бы позвонить; прошедшим, как та ночь на случайной даче, с дождем, отбивавшим несусветный джаз по низкой крыше, когда случайная компания свела нас с Иркой; прошедшим, как те пахнущие хлебом овраги, по которым я спешил к рыжей девчонке, про которую думал, что ее люблю; как абрикосы, которые привозил мне в банке дедушка в летние ясли в Лианозове... Прошрое, прошедшее, горькое и радостное, медленно заполняет мою жизнь, как вода заполняет колодец, его все больше, прошедшего, все больше.

Легкий ветерок, плавно опускавший на асфальт сухие листья, крепнет. Я поднимаю воротник, плотнее укутываю горло шарфом. Идти мне некуда: в девять я сел на эту скамейку, в девять с нее встану.

Секундомеры выключены, тайм-аут еще не окончен.

День, когда я познакомился с Пашей, вдруг отчетливо вспоминается мне; Пашина длинная жилистая фигура и усмешка; его веселое рукопожатие. Он должен был целоваться с черноглазой девчонкой в сером пальто, лазать по горам, растить детей и приезжать с ними к родителям – как им жить теперь, откуда взять силы, чтобы жить?

Холодок пробегает по моей выпрямленной спине. Я нащупываю на груди пролежавший там почти сутки конверт.

Потертый прямоугольничек без марки; несколько сложенных вчетверо, истлевших на сгибах листков, плотный квадратик фотографии. Паша – незнакомый, взрослый – смотрит на меня в упор. Я отвожу взгляд.

Ветер пошевеливает язычок конверта. Нервничая, я наугад разворачиваю листок, потом другой; я читаю короткие столбцы стихов, вписанных разорванным, отчаянным почерком между коротких, сухих, словно уже и не важных сообщений о себе: жив, служу... Я читаю стихи этого незнакомого, взрослого человека с карточки, боясь понять до конца и наконец до конца понимая, что это его похоронили мы вчера на тесном подмосковном кладбище. И волчий тоскливый вой подкатывает к горлу, стоном вырывается сквозь зубы.

Ты, держащий на ладони этот мир... Что-то, чему нет названия, сжимает мое сердце и отпускает его, наполняя горьким спокойствием.

Ветер тербит углы листков. Я бережно кладу бумажный прямоугольник во внутренний карман. Солнце косо пробивает кроны – еще сентябрьское, греющее солнце. Сад звучит вокруг меня, оплетает шелестом и шуршанием, словно намекая на возможность какой-то иной жизни. Я провожу ладонью по рейкам сиденья – какое детское, забытое ощущение...

Сколько еще отпущено мне?

Я сижу на грязно-белой скамейке с прилепившимся к сиденью листком, впитываю в себя напоследок этот странный день, этот осенний час, взятый взаймы до весны и осторожно вынутый из моей жизни. «Дипломат» с рифмованным уродцем на продажу тактично лежит в полуметре от меня – словно не имеет ко мне никакого отношения. Еще восемь минут. Восемь минут свободы. Я снимаю с запястья браслет, достаю из кармана расческу, отламываю от нее зубчик и нажимаю им на гнездо коррекции времени. Аккуратно перевожу часы и оставляю их на ладони, поглядывая, как подбираются цифры к черте, за которой продолжится моя жизнь.

**Из последней щели**  
*(подлинные мемуары Фомы Обойного)*

В тяжелые времена начинаю я, старый Фома Обойный, эти записки. Кто знает, что готовит нам слепая судьба за поворотом вентиляционной трубы? Никто не знает, даже я.

Жизнь тараканья до нелепости коротка. Жестокая насмешка природы: люди и те живут дольше – люди, которые неспособны ни на что, кроме телевизора и своих садистских развлечений. А таракан, венец сущего... Горько писать об этом.

В минуты отчаяния я часто вспоминаю строки великого Хитина Плинтусного:

Так и живем, подбирая случайные крошки,  
Вечные данники чьих-то коварных сандалий...

Кстати, о крошках. Чудовище, враг рода тараканьего, узурпатор Семенов сегодня опять ничего не оставил на столе. Все вытер, подмел пол и тут же вынес ведро. Негодяй хочет нашей гибели, в этом нет сомнения. Жизнь его не имеет другого смысла; даже если вы увидите его сидящим с газетой или уставившимся в телевизор, знайте: он ищет рекламы какой-нибудь очередной дряни, чтобы ускорить наш конец. Ужас, ужас!

Но надо собраться с мыслями; не должно мне, подобно безумому юнцу, перебегать от предмета к предмету. Может статься, некий любознательный потомок, шаря по щелям, наткнется на мой манускрипт – пусть же узнает обо всем! Итак, узурпатор Семенов появился на свет наутро после того, как Еремей совершил Большой Переход...

Великие страницы истории забываются; нынешних-то ничего не интересует – лишь бы побалдеть у газовой конфорки. И потом – эта привычка спариваться у всех на глазах... А спроси у любого: кто такой Еремей? – дернет усиком и похиляет дальше. Стыд! А ведь имя это гремело по щелям, одна так и называлась – щель Любознательною Еремеем, но ее переименовали во Вторую Бачковую...

А случилось так: Еремей пропал безо всякого следа, и мы уже думали, что его смыло – в те времена мы и гибли только от стихийных бедствий. Однако он объявился вечером, веселый, но какой-то нервный. Ночью мы сбежались по этому поводу на дружескую вечеринку. На столе было несчетно еды – в то благословенное время вообще не было перебоев с продуктами, их оставляли на блюдах и ставили в шкафы, не имея дурной привычки совать всё в целофановые пакеты; в мире царила любовь; права личности еще не были пустым звуком... Да что говорить!

Так вот, в тот последний вечер Иосиф с Тимошей, как всегда, раздавили на двоих каплю отменного ликера и пошли под плинтус колбасить с девками, Степан Игнатьич, попив из раковины, в ней уснул, а мы, интеллигентные тараканы, заморив червячка негромкой беседой, собрались на столе слушать Еремея.

То, что мы услышали, было поразительно.

Еремей говорил, что там, где кончается мир – у щитка за унитазом, – мир не кончается.

Он говорил, что если обогнуть трубу и взять левее, то сквозь щель можно выйти из нашего измерения и войти в другое, и там тоже унитаз! Сегодня это известно любому недомерку двух дней от роду: мир не кончается у щитка – он кончается аж на пять метров дальше, у ржавого вентиля. Но тогда!..

Еще Еремей утверждал: там, где он был, тоже живут тараканы – и очень неплохо живут! Он божился, что тамошние совсем непохожи на нас, что они другого цвета и гораздо лучше питаются.

Сначала Еремею не поверили: все знали, что мир кончается у щитка за унитазом. Но Еремей стоял на своем и брался показать.

– А чего тебя вообще туда потянуло? – в упор спросил тогда у Еремея нервный Альберт (он жил в одной щели с тещей). Тут Еремей, покраснев, признался, что искал проход на кухню, но заблудился.

И тогда мы поняли, что Еремей не врет. Побежав за унитазный бачок, мы сразу нашли щель и остановились возле нее, шевеля усами.

– Офигеть, – сказал Альберт.

Он первым заглянул внутрь и уже скрылся до половины, когда раздался голос Кузьмы Востроногого, немолодого таракана правильной ориентации.

– Не знаю, не знаю... – проскрипел он. – Может, и хорошая. Только не надо бы нам туда...

– Почему? – удивился я.

– Почему? – удивились все.

– Потому что, – лаконично разъяснил Кузьма и, так как не всем этого разъяснения хватило, строго напомнил: – Наша кухня лучше всех!

С молодых усов слышу я эту фразу. И мама мне ее говорила, и в школе, и сам сколько раз, и все это тем более удивительно, что никаких других кухонь до Еремея никто из нас не видел.

– Наша кухня лучше всех, – немедленно согласились с Кузьмой тараканы; с Кузьмой затруднительно было не соглашаться.

– Но почему нам нельзя посмотреть, что за щитком? – крикнул настырный Альберт. Жизнь в одной щели с тещей испортила его характер.

Кузьма внимательно посмотрел на говорившего.

– Нас могут неправильно понять, – терпеливо разъяснил он.

– Кто? – опять не понял Альберт.

– Откуда мне знать, – многозначительно ответил Кузьма, продолжая смотреть внимательно. Тут, непонятно отчего, я почувствовал вдруг тоскливое нытье в животе – и, видимо, не я один, потому что все, включая Альберта, снялись и молча пошли обратно на кухню.

Вернувшись, мы дожевали крошки и, разбудив в раковине Степана Игнатъича, которого опять чуть не смыло, разошлись по щелям, размышляя о преимуществах нашей кухни. А наутро и началось несчастье, которому до сих пор не видно конца. Ход вещей, нормы цивилизованной жизни – все пошло прахом. Огромный мир, мир теплых местечек и хлебных крошек, просторно раскинувшийся от антресолей аж до ржавого вентиля, был за день узурпирован тупым существом, горой мяса с длинными ручищами!

Первыми врага рода тараканьего увидели Иосиф и Тимоша. Поколбасив под плинтусом, они выползли под утро подкрепиться чем бог послал, но бог послал Семенова. Иосиф, отсидевшись за ножкой, подкрепился позже, а Тимоше не довелось больше есть никогда. Семенов зверски убил его.

Дрожащей лапкой пишу об этом, но что ж! – тараканья история кишит жестокостями. Сколько живем, столько и терпим от людей. Нехитрое дело убить таракана; летописи переполнены свидетельствами о смытых, раздавленных и затоптанных собратях наших. Человек – что с него взять! Бессмысленное существо, которому хочется как-то заполнить время, когда не ест, не спит и не смотрит в телевизор, – а разума, чтобы плодотворно пошебуршиться, нет.

Да и откуда там взяться разуму? Когда Бог создал кухню, ванную и туалет, провел свет и пустил воду, он создал, по подобию своему, таракана – и уже перед тем, как пойти поспать, наскоро слепил из отходов человека. Лучше бы он налепил из них мусорных ведер на

голодное время! Но, видно, бог сильно утомился, творя таракана, и на него нашло затмение.

Это господне недоразумение, человек, сразу начал плодиться и размножаться, но так как весь разум, повторяю, ушел на нас, то нет ничего удивительного в том, что дело кончилось телевизором и этим тупым чудовищем, Семеновым.

...Иосиф, сидя за ножкой, видел, как узурпатор взял Тимошу за ус и унес в туалет, вслед за чем раздался звук спускаемой воды. Враг рода тараканьего даже не оставил тела родным и близким покойного.

Когда шаги узурпатора стихли, Иосиф быстренько поел и побежал по щелям рассказывать о Семенове.

Рассказ произвел сильное впечатление. Особенно удались Иосифу последние секунды покойника Тимоши. Иосиф смахивал скупую мужскую слезу и бегал вдоль плинтуса, отмеряя размер семеновской ладони.

Размер этот, надо сказать, никому из присутствовавших не понравился. Мне он не понравился настолько, что я даже попросил Иосифа пройти еще разок. Я думал: может, давешний ликер не кончил еще своего действия, и рассказчик, отмеряя семеновскую ладонь, сделал десяток-другой лишних шагов.

Иосиф обиделся и побледнел. Иосиф сказал, что если кто-то ему не верит, этот кто-то может выползти на середину стола и во всем убедиться сам. Иосиф сказал, что берется залечь у вентиляционной решетки с группой компетентных тараканов, а по окончании эксперимента возьмет на себя доставку скептика родным и близким – если, конечно, Семенов предварительно не спустит того в унитаз, как покойника Тимошу.

Иосифу принесли воды, и он успокоился.

Так началась наша жизнь при Семенове, если вообще называть жизнью то, что при нем началось.

Первым делом узурпатор заклеил все вентиляционные решетки. Он заклеил их марлей, и с тех пор из ванной на кухню пришлось ходить в обход, через двери, с риском для жизни, потому что в коридоре патрулировал этот изувер.

Впрочем, спустя пару дней риск путешествия на кухню потерял всякий смысл: Семенов начал вытирать со стола объедки и уносить куда-то помойные ведра, причем с расчетливым садизмом особенно тщательно делал это поздно вечером, когда у всякого уважающего себя таракана только-только разгуливается аппетит и начинается настоящая жизнь.

Конечно, у интеллектуалов вроде меня имелось несколько заглазников, до которых не могли дотянуться его воняющие мылом конечности, но уже через пару недель призрак дистрофии навис над нашим неприятным сообществом. Иногда я засыпал в буквальном смысле слова без крошки хлеба, перебиваясь капелькой воды из подтекающего крана (чего, слава богу, изувер не замечал); иногда, не в силах сомкнуть глаз, выходил ночью из щели и в тоске глядел на сородичей, уныло бродивших по пустынной клеенке.

Случались обмороки; Степан Игнатьич дважды срывался с карниза, Альберт начал галюцинировать вслух, чем регулярно создавал давку под раковиной: чудилось Альберту бесследное исчезновение тещи, возвращение Шаркуна и набитое доверху мусорное ведро...

Ах, Шаркун! Вспоминая о нем, я всегда переживаю странное чувство приязни к человеку, – впрочем, вполне простительное моему сентиментальному возрасту.

Конечно, ничто человеческое не было ему чуждо – увы, он тоже не любил тараканов: жаловался своей прыщавой дочке, что мы его замучили, и все время пытался кого-нибудь из нас прихлопнуть. Но дочка, хотя и обещала нас куда-то вывести, обещания своего не выполнила (так и живем, где жили, без новых впечатлений), а погибнуть от руки Шаркуна мог только закоренелый самоубийца. Он носил на носу стекляшки, без которых не видел дальше носа – и когда терял их, мы могли столоваться с ним из одной тарелки. Милое было время, что говорить!

Но я опять отвлекся.

Через неделю после начала семеновского террора случилось вот что. Братья Геннадий и Никодим, чуть не погибнув во время утренней пробежки, успели улизнуть от семеновского тапка – и с перепугу сочинили исторический документ, известный как «Воззвание из-под плитуса». В нем братья обличали Семенова и призывали тараканов к единству.

Увы, тараканы и в самом деле разобщены – отчасти из-за того, что венцом творения считают не таракана вообще (как идею в развитии), а каждый сам себя, отчасти же по неуравновешенности натуры и привычке питаться каждый своей, отдельно взятой, крошкой.

Один раз, впрочем, нам уже пытались привить коллективизм...

Было это задолго до Семенова, в эпоху Большой Тетки. Эпоха была смутная, а Тетка – коварная: специально оставляла она на клеенке лужи портвейна и закуску, а сама уходила со своим мужиком за стенку, из-за которой потом полночи доносились песни и отвратительный смех.

Тайный смысл этого смеха дошел до нас не сразу, – но когда от рези в животе начали околевать тараканы самого цветущего здоровья; когда жившие в ванной стали терять координацию, срываться со стен и тонуть в корытах с мыльной водой; когда, наконец, начали рождаться таракашки с нечетным количеством лапок – тогда только замысел Большой Тетки открылся во всей черноте: Тетка, в тайном сговоре со своим мужиком, хотела спойть наш целомудренный, наивный, доверчивый народ.

Едва слух о заговоре пронесся по щелям, как один простой таракан по имени Григорий Зашкафный ушел от жены, пошел в народ, развил там жуткую агитацию и всех перебудил. Не прошло и двух ночей, как он добился созыва Первого всетараканьего съезда.

Повестка ночи была самолично разнесена им по щелям и звучала так:

п. 7. Наблюдение за столом в дообеденное время.

п. 12. Меры безопасности в обеденное.

п. 34. Оказание помощи в послеобеденное.

п. 101. Всякое разное.

Впоследствии под личной редакцией бывшего Величайшего Таракана, Друга Всех Тараканов и Основателя Мусоропровода Памфила Щелястого историки неоднократно описывали Первый всетараканий съезд, и каждый раз выходило что-нибудь новенькое, поэтому, чтобы никого не обидеть, буду полагаться на рассказы прадедушки.

А помнилось прадедусшке вот что. Утверждение повестки ночи стало первой и последней победой Григория. Тараканы согласились на съезд только при условии, что будет буфет, причем подраковинные заявили, что если придет хоть один плинтусный, то ноги их не будет на столе, а антресольные сразу создали фракцию и потребовали автономии...

Подробностей прадедушка не помнил, но, в общем, дело кончилось большой обжираловкой с лужами теткиного портвейна и мордобоем, то есть, минуя пп. 7, 12 и 34, сразу перешли к п. 101, а Григорий, не вынеся стыда, наутро сжег себя на задней конфорке.

Остальных участников съезда спасло как отсутствие вышеописанного стыда, так и то счастливое обстоятельство, что эпоха Большой Тетки вскоре закончилась: однажды ночью она спела дуэтом со своим мужиков такую отвратительную песню, что под утро пришли люди в сапогах и обоих увели, причем Тетка продолжала петь.

Напоследок мерзкая дрянь оставила в углу четыре пустые бутылки, в которых сгнуло полтора десятка так и не организовавших наблюдения тараканов.

...Дух Григория, витавший над задней конфоркой, осенил Никодима и Геннадия: спасшись от семеновского тапка, братья потребовали немедленного созыва Второго всетараканьего съезда.

Возможно ли забыть то, что случилось дальше? О нет! Пускай ноги мои дают сбои, а усы провисают, память о той ночи по-юношески свежа. По крайней мере та ее часть, которую не отшибло, о чем ниже.

В полночь «Воззвание из-под плинтуса» было прочитано по всем щелям с таким выражением, что тараканы немедленно поползли на стол, уже не требуя буфета. (Тараканы, хотя и не могут совсем без еды, существа чрезвычайно тонкие и очень чувствительные к интонации, причем наиболее чувствительны к ней малограмотные, а из этих последних – косноязычные.)

Выползши на стол, антресольные по привычке организовали фракцию и потребовали автономии, но им пооткусывали задние ноги, и они сняли вопрос.

Слово для открытия взял Никодим. Забравшись на солонку и вкратце обрисовав положение, сложившееся с приходом Семенова, и размеры его тапка, он передал слово Геннадию для внесения предложений по ходу работы съезда. Взяв слово и тоже вскарабкавшись на солонку, Геннадий предложил для работы съезда избрать президиум и передал слово обратно Никодиму, который тут же достал откуда-то список и его зачитал. В списке никого, кроме него и его брата Геннадия, не обнаружилось.

В процессе голосования выяснилось, что большинство – за, меньшинство – не против, а двое умерли за время работы съезда.

Перебравшись на крышку хлебницы, избранный в президиум Геннадий снова дал слово



Никодиму. Никодим слово взял и, свесившись с крышки, предложил повестку ночи:

п. 6. Хочется ли нам поесть? (Шебуршение на столе.)

п. 17. Как бы нам поесть? (Оживленное шебуршение, частичный обморок.)

п. 0,75. Буфет – в случае принятия решений по пп. 6 и 17. (Бурные продолжительные аплодисменты, скандирование.)

В процессе скандирования умерло еще четверо.

При голосовании повестки подраковинные попытались протащить пунктом плюс-минус девяносто объявление все-тараканьего бойкота плинтусным, но им было указано на несвоевременность, и пунктом плюс-минус девяносто пошло осуждение самих подраковинных за подрыв единства.

После перерыва, связанного с поеданием усопших, съезд продолжил свою работу.

По пункту 6 с крышки хлебницы выступил с докладом Никодим. Выступление его было исполнено большой силы. Не зная устали, он бегал по крышке, разводил усами и в исступлении тряс лапками, отчего однажды даже свалился на стол, где, полежав немного, и продолжил речь – прямо в гуще народа.

Никодим говорил о том, что больше так жить нельзя, потому что он очень хочет есть. Подробно остановился на отдельных продуктах, которые хотел бы поесть. Это место вызвало особенный энтузиазм на столе – председательствующий Геннадий, свесившись с солонки и стуча по ней усами, вынужден был даже призвать к порядку и напомнить, что за стенкой спит Семенов, будить которого не входит в сценарий работы съезда.

Единогласно проголосовав за то, что больше так жить нельзя и надо поесть, развязались с пунктом шесть; изможденный выступлением Никодим начал карабкаться обратно на хлебницу, а председательствующий Геннадий предоставил слово себе.

Его речь и события, развернувшиеся следом, стали кульминацией съезда. Геннадий начал с того, что раз больше так жить нельзя, то надо жить по-другому. Искусный оратор, он сделал паузу, давая несокрушимой логике сказанного дойти до каждого.

В паузе, иллюстрируя печальную альтернативу, умер один подраковинный.

– Но что мы можем? – спросил далее Геннадий. Тут мнения разделились, народ зашебурился.

– Мы можем все! – крикнул кто-то. Собрание заплодировало, кто-то запел.

– Да, – перекрывая шум, согласился Геннадий, – мы можем все. Но! – тут он поднял усы, прося тишины, а когда она настала, усы опустил и начал ползать по солонке, формулируя мысль, зарождавшуюся в его немыслимой голове. И все поняли, что присутствуют при историческом моменте, то есть таком моменте, о котором уцелевшие будут рассказывать внукам.

Мысль Геннадия отлилась в безукоризненную форму.

– Мы не можем спустить Семенова в унитаз, – сказал он. Образ Семенова, спускаемого в унитаз, поразил съезд.

В столбняке, осенившем собрание, стало слышно, как сопит за стенкою узурпатор, и ни с чем не сравнимая тишина повисла над столом. Одна и та же светлая мысль пронизала всех.

– Не влезет... – мрачно сказал Альберт, ставший пессимистом после года совместного проживания в одной щели с тещей. Луч надежды погас, едва осветив мрак нашего положения.

– Я продолжаю... – с достоинством напомнил Геннадий. – Поскольку мы не можем спустить Семенова в унитаз, – повторил он, – а есть подозрение, что сам он туда не полезет, то придется, сограждане, с Семеновым жить. Но как?

В ответ завыли тараканихи. Дав им отвыться, Геннадий поднял лапку. Вид у него был

торжественнейший. Геннадий дождался полной тишины.

– Надо заключить с ним договор, – сказал он. Тишина разбавилась стуком нескольких упавших в обморок тел, а затем в ней раздался голос Иосифа.

– С кем – договор? – тихо спросил он.

– С Семеновым договор, – просто, с необычайным достоинством, ответил Геннадий.

И тут загомонило, зашлось собрание.

– С Семеновым? – перекрывая вой, простонал Иосиф. – С Семеновым! – истерически выкрикнул он и вдруг прямо по спинам делегатов, пошатываясь и подпрыгивая, побежал к солонке. Продолжая выкрикивать на разные лады проклятое слово, Иосиф начал карабкаться на солонку, но Геннадий его спихнул – и вот дальше я ничего не помню, потому что упал Иосиф на меня.

Вытащенный из давки верной подругой моей жизни Нюрой Батарейной, я был ею наутро проинформирован о ходе работы съезда.

Вот чего было дальше.

Упав на меня, Иосиф страшно закричал – чем, как я подозреваю, меня и контузил. Все в панике забегали, а родственники Иосифа побежали к солонке, чтобы поотрывать Геннадию усы. Трех из них Геннадий спихнул, но четвертый, никому решительно не известный, по имени, как выяснилось впоследствии, Климентий Подтумбовый, спихнул-таки его сзади на трех своих родственников, и пока спихнутые выясняли, где чьи усы, Климентий предоставил слово сам себе.

Прочие делегаты тем временем носились друг через друга по клеенке, плитусные искали подраковинных, Кузьма Востроногий кричал, что наша кухня лучше всех, а Никодим с хлебницы отрекался от Геннадия и обещал принести справку, что он круглая сирота.

Пока присутствующие нарушали регламент, оказавшийся на солонке без присмотра Климентий успел протащить штук тридцать собственных резолюций, сам ставя их на голосование и голосуя под протокол.

В процессе этого увлекательного занятия Климентий незаметно для себя вошел в раж. Так, под номером 19 прошло решение улучшить ему жилищные условия под тумбой, номером 24-м он со всей семьей зачислялся на общественное довольствие с обслугой, после чего (видимо, в целях экономии времени) ставить номера на резолюциях Климентий перестал.

Последним принятым документом была резолюция, обязывавшая Семенова стоять возле тумбы, под которой живет Климентий, и отпугивать от нее тараканов. Проголосовав это, Климентий сам удивился настолько, что слез с солонки и пошел спать, не дожидаясь закрытия съезда.

Действие же на столе тем временем продолжало разворачиваться довольно далеко от сценария. Разобравшись с Геннадием, родственники Иосифа пошли на поиски отрекшегося брата, в то время как сам Иосиф бегал по спинам делегатов, собирая свидетелей своего падения. Свидетели разбежались от него, как угорелые, топча Кузьму, продолжавшего при этом кричать что-то хорошее про нашу кухню.

Никодима родственники Иосифа не нашли ни на хлебнице, ни вокруг нее. Нюра говорит: наверное, он ушел за справкой, что сирота. Если так, то надо отметить, что справка лежала довольно далеко – еще неделю после этого Никодима никто не видел, да и потом не особенно.

Отдельно следует остановиться на судьбе Геннадия. Побитый родственниками Иосифа, он не стал настаивать на своих формулировках, нервно дернул уцелевшим усом, сказал «Живите вы, как хотите» – и в ту же ночь удалился в добровольное изгнание, под ванну.

Последняя фраза его несколько озадачила оставшихся, потому что они уже давно жили,

как хотели.

По дороге в ванную Геннадий задел ногой Степан Игнатъича, и тот, проснувшись, спросил, скоро ли буфет. Больше ничего интересного не произошло, кроме того, что плитусные с подраковинными все-таки нашли друг друга и, найдя, поотрывали, что смогли.

На этом, по наблюдениям подруги моей жизни Нюры Батарейной, съезд закончил свою работу.

Богатая событиями ночь съезда обессилила нас. Целый день на кухне и в окрестностях не было видно ни души; Семенов, понятное дело, не в счет – этот как раз весь день шатался по территории и изводил продукты.

Куда ему столько? Отнюдь не праздный вопрос этот давно тяготил меня, и в последнее время, имея вместо полноценного питания много досуга, я, кажется, подошел вплотную к ответу. Разумеется, ест Семенов не потому, что голоден – это, лежащее на поверхности, объяснение давно отмечено мною. Нет, не голод гонит чудовище к полкам, ему не знакомо свербящее нытье в животе, выгоняющее нас из тихих щелей на полные опасности кухонные просторы – другое владеет им. Страшно вымолвить! Он хочет опустошить шкаф. Он хочет все доест, вымести крошки из уголков и вытереть полку влажной, не оставляющей надежд губкой. Но, безжалостный недоумок, зачем же он сам ставит туда продукты?

Вечером мы с Нюрой пошли к Еремею – послушать про жизнь за щитком. Придя, мы застали там еще пятерых любителей устных рассказов. Все они сидели вокруг хозяина и нетерпеливо тарабанили лапками. Мы сели и тоже затарабанили. Но тяжелые времена сказались даже на радушном Еремее: крошек к рассказу подано не было.

Воспоминания о жизни за щитком начались с описания сахарных мармеладных кусочков и соевых конфет, сопровождались шевелением усов, вздохами и причмокиванием. Я был несколько слаб после контузии, вследствие чего вскоре после первого упоминания о мармеладе отключился, а отключившись, имел странное видение: будто иду я по какой-то незнакомой местности, явно за щитком, среди экзотических объедков и неопикуемой шелухи, – причем иду не с Нюрой, а с какой-то очень соблазнительной тараканихой средних лет. Тараканиха выводит меня на край кухонного стола и, указывая вниз, на пол, густо усеянный крошками, говорит с акцентом: «Дорогой, все это – твое!» И мы летим с нею вниз.

Но ни поест, ни посмотреть, что будет у меня с тараканихой средних лет дальше, я не успел, потому что очнулся – как раз на последних словах Еремея. Слова эти были: «... и мажут сливовым джемом овсяное печенье». Сказав это, Еремей заплакал.

Начали расходиться. Мы тоже попрощались и, поддерживая друг друга, побрели домой, соблюдая конспирацию.

И вот тут началось со мной небывалое.

Проходя за плитой, я неожиданно почувствовал острое желание нарушить конспирацию, выйти на край кухонного стола и посмотреть вниз. Желание было настолько острым, что я поделился им с Нюрой. Нюра меня на стол не пустила и назвала старым дураком, причем безо всякого акцента.

Полночи проворочавшись в своей щели, уснуть я так и не смог и, еще не имея ясного плана, тайно снялся с места и снова отправился к Еремею.

Еремей спал, но как-то беспокойно: вздрагивал и, подстанывая на гласной, без перерыва повторял слово «дже-ем». И все время шевелил лапками, как будто собирался куда-то бежать.

– Еремей, – тихо сказал я, растолкав его. – Помнишь щель, которую ты нашел возле унитаза?

– Помню, – сказал Еремей и почему-то оглянулся по сторонам.

– Еремей, – сказал я еще тише, – слушай, давай поживем немного за щитком.

– А как же наша кухня? – спросил Еремей, продолжая озиаться.

– Наша кухня лучше всех, – ответил я. – Но здесь Семенов.

– Семенов, – подтвердил Еремей и опять заплакал. Нервы у него в последнее время

совершенно расстроились. – Но только недолго, – сказал он вдруг и перестал плакать.

– Конечно, недолго, – немедленно согласился я. – Мы только посмотрим, разместятся ли там все наши...

– Да! – с жаром подхватил Еремей. – Только проверим, не вредно ли будет нашим овсяное печенье со сливовым джемом!

И мы поползли. Мы обогнули трубу и взяли левее. Возле унитаза при воспоминании о Кузьме Востроногом у меня снова заныло в животе.

– Еремей, – сказал я. – Как ты думаешь, поймут ли нас правильно?

– Наша кухня лучше всех! – крикнул Еремей и быстро нырнул в щель.

Опуская подробное описание нашего путешествия, скажу только: оно было полно приключений. Но упорство Еремея, без перерыва твердившего про сливовый джем, вывело нас к утру в другое измерение, к унитазу.

В тамошнем мире все было как у нас, только по-другому расставлено. Сориентировавшись, мы рванули на кухню и возле мусорного ведра прямо с пола поели вкуснейших крошек. Я, признаться не был расположен покидать эту халяву, но Еремей, попав за щиток, как с цепи сорвался.

– Хватит тебе! – орал он. – Где-то тут должен быть шкаф!

И, стуча усами, помчался вверх. Я бросился вдогонку. Шкаф, действительно, был. Мы собирались уже заползти между створок, когда оттуда показались усы, а вслед за ними выполз огромный и совершенно бурый таракан.

– Хэлло, мальчики, – проговорил он со знакомым акцентом. – Далеко собрались?

– Добрый день, – вежливо отозвался Еремей. – Нам бы в шкаф.

На это вылезший поднес ко рту лапку и коротко свистнул. На свист отовсюду полезли очень здоровые и опять-таки бурые тараканы, и не прошло пяти секунд, как мы были окружены со всех сторон. Последним неторопливо вылез жирный, как спичечный коробок, бурый же таракан с какой-то бляшкой на спине. Этот последний без перерыва жевал, что, может быть, отчасти и объясняло его размеры.

– Шериф, – обратился к нему тот, что нас остановил, – тут пришли какие-то черные ребята, они говорят, что хотят в наш шкаф.

Тут все захохотали, но как-то странно, и, приглядевшись, я обнаружил, что они тоже жуют. Вообще, среди бела дня и посреди кухни они вели себя совершенно по-хозяйски – и совершенно не учитывали человеческий фактор.

Жирный вразвалку подошел к нам и не спеша разглядел: сначала Еремея, потом меня.

– А вы, собственно, кто такие? – спросил он через некоторое время, видимо, так и не разглядев.

– Мы – тараканы, – с достоинством сказал Еремей.

– Это недоразумение, – веско ответил называвшийся шерифом. – Тараканы – мы. А вы собачье дерьмо.

Когда взрыв хохота утих, жирный уставил лапу Еремею в грудь и, не переставая жевать, сказал так:

– Мальчики, – сказал он, – идите, откуда пришли, и передайте там, что в следующий раз мои ребята будут стрелять без предупреждения. А сейчас мы с ребятами посмотрим, как вы бегаєте.

Тут стоявшие вокруг нас образовали коридор, и по этому коридору мы с Еремеем побежали. Сзади сразу начался беспорядочный грохот, и над головами у нас засвистело.

Как я и обещал Еремею, наше пребывание за щитком было чрезвычайно коротким: уже вечером Еремей затормозил возле нашего унитаза, держась за сердце и тяжело дыша. Он

хотел что-то сказать, но сразу не мог. Удалось ему это только через минуту. Сливовый джем, сказал Еремей, вовсе не так вкусен, как он думал. И, может быть, даже вреден для тараканов нашего возраста. Прощаясь со мной возле крана, Еремей попросил также никогда больше не уговаривать его насчет овсяного печенья.

Так закончилось наше путешествие за щиток. Иногда я даже спрашиваю себя, не привиделось ли мне все это, как тараканиха средних лет. Но нет, кажется... А впрочем... Вы же понимаете, в наше время ни за что нельзя ручаться.

Дома меня ждала Нюра. Нашего с ней разговора я описывать не буду, бабы – они бабы и есть.

Всю следующую неделю я болел: бег после контузии не пошел мне на пользу. Жирный с бляшкой являлся мне во сне, а явившись, тыкал лапой в грудь, называл «мальчиком» и заставлял бегать. Но все это оказалось куда легче реальности, ибо вскоре после моей болезни случилось то, что заставило меня, преодолевая слабость, торопиться с окончанием моих мемуаров...

Первое, что я увидел, когда, пошатываясь, вышел из-под отставших обоев, был Семенов. Он стоял ко мне спиной и держал в поднятой руке какую-то штукину, из которой с шипением вырывалась струя. Сначала я ничего не понял, а только увидел, как со стены, к которой протянул руку Семенов, срываясь, летит вниз Дмитрий Полочный, как падает он на кухонный стол и, вместо того чтобы драпать, начинает быстро-быстро крутиться на месте, а Семенов не бьет по нему ладонью, а только с интересом смотрит. Когда Дмитрий перестал крутиться, подобрал лапки и затих, узурпатор взял его за ус и бросил в раковину.

Паника охватила меня. Я бросился обратно под обои, я помчался к Нюре, дрожь колотила мое тело – я понял, что приходит конец. До наступления ночи от семеновской струи погибло еще трое наших, и все в кухне провоняло ею до последней степени.

Ночью, убедившись, что убийца уснул, я зажал нос и снова бросился к Еремею. Еремей, сидя, по холостяцкой своей привычке, в полном одиночестве, раз за разом надувался и, поднося лапки ко рту, пытался свистнуть. Он еще ничего не знал.

Услышав про струю, Еремей перестал надуваться, обмяк и устало поглядел на меня. Только тут я заметил, как постарел мой верный товарищ за минувшие сутки.

– Что же теперь будет? – спросил Еремей.

– Боюсь, что не будет нас, – честно ответил я.

– Прав был Геннадий, – тихо выдохнул он. – Надо было договариваться с Семеновым.

– Геннадий был прав, – согласился я.

– Надо собрать тараканов и пойти к Геннадию, – сказал вдруг Еремей.

Через пять минут, собрав кого можно и зажав носы, мы двинулись в сторону ванной. Делегация получилась солидная: кроме нас с Еремеем и Нюры, пошли Альберт с супругой, его теща и еще семеро встреченных тараканов. Примкнул к колонне и разбуженный нашим топотом Степан Игнатьич. По дороге ему объяснили, куда идем.

Зашли и за Иосифом, но он идти к Геннадию отказался: лучше, сказал, умру здесь, как собака, а к этому семеновскому прихвостню – не пойду. И, сказав, отвернулся очень гордо. Делать нечего, вышли мы от него, построились в цепочку и след в след прокрались в ванную.

Зашли за ножку, Еремей встал на стреме у косяка (обещал таки свистнуть, если что), а остальные пропозли к Геннадию. Сильно исхудавший изгнанник лежал на спине за тазом с тряпками, раскинув лапки. Мы подползли и встали вокруг.

– Ты чего? – спросил наконец Альберт.

– Не мешай медитировать, путник, – мирно ответил Геннадий, продолжая лежать.

– Чего не мешай? – попробовал уточнить Степан Игнатьич.

Геннадий не ответил, а только скрестил нижние лапки и закатил глаза.

– Слушай, – сказал я тогда, – ты давай быстрее это слово, народ ждет.

Геннадий осторожно расплел лапки и перевернулся.

– Говори, странник, – сухо сказал он.

Тогда я рассказал ему обо всем, что произошло у нас после Второго всетараканьего. Геннадий не перебивал, но смотрел отрешенно. Сообщение о ядовитой струе встретил с завидным хладнокровием. Спрошенный совета, рекомендовал самосозерцание, мантру и укрепление духа путем стойки на усах, после чего опять закатил глаза.

– А договор? – напомнил я, волнуясь. – Помнишь, ты хотел заключить с Семеновым договор?

– С каким Семеновым? – спросил Геннадий.

Мы немного постояли и ушли.

Развязка приближалась неотвратимо. Наутро по вине высунувшегося из-под колонки Терентия узурпатор залил дрянью все зашкафье, плитуса, батареи и трубу под раковиной. К вечеру те из нас, которые еще могли что-либо чувствовать, почувствовали, что дело швах.

Ночью, покинув щель, я вышел на стол. Стол был пуст и огромен, полоска лунного света косо лежала на нем. Меня подташнивало. Бескрайняя черная кухня простиралась вокруг; ручка от дверцы шкафа тускло поблескивала над хлебницей.

И тогда я закричал. На крик отовсюду начали сходить уцелевшие, и сердце мое защемило – разве столько сошлось бы нас раньше? Когда приполз Степан Игнатьич – а он всегда приползал последним – я сказал:

– Разрешите Третий всетараканий съезд считать открытым.

– Разрешаем, – хором, тихо отозвались тараканы.

– Я хочу сказать, – сказал я.

– Скажи, Фома, – подняв лапку, прошептал Еремей.

– Тараканы! – сказал я. – Вопрос сегодня один: договор с Семеновым. Буфета не будет. Скандирующей группы не будет. Антресольные, если хотят автономии, могут ее взять и делать с ней, что хотят. Если плитусные имеют что-нибудь против подраковинных или наоборот – пожалуйста, мы готовы казнить всех. Но сначала надо договориться с Семеновым.

И мы написали ему письмо, а Степан Игнатьич перевел его: он, пока жил за обоями, выучил язык. Вот это письмо, от слова до слова:

«Семенов!

Пишут тебе тараканы. Мы живем здесь давно, и вреда от нас не было никому. Еще ни один человек не был раздавлен, смыт или сожжен тараканом, а если мы иногда едим твой хлеб, то, согласишься, это не стало тебе в убыток. Впрочем, если ты не хочешь есть с нами за одним столом, никто не станет тебя неволить – мы согласны столоваться под плитой.

Мы не знаем, за что ты так ненавидишь нас, за что терпели мы и голод, и индивидуальный террор, но химическое оружие, Семенов! Оно запрещено даже у вас в ООН. Тебя осудят, Семенов – если только какая-нибудь гадина не успеет наложить вето.

Семенов!

Мы хотим мирного сосуществования с различным строем и предлагаем тебе Большой Договор, текст которого прилагается.

Ждем ответа, как соловьи лета.

*Твои тараканы.*



# Приложение

## Большой договор

Руководствуясь интересами мира и сотрудничества, а также желанием нормально поест и пожить, Высокие Договаривающиеся Стороны принимают на себя нижеследующие обязательства.

Жильцы Тараканы:

1. Обязуются не выходить на кухню с 6-00 до 8-30 (в выходные – до 11-00), а также быстро покидать места общего пользования по первому кашлю.
  2. Гарантируют неприкосновенность свежего хлеба и праздничных заказов в течение трех суток со дня приноса.
  3. Как было сказано выше, согласны обедать ниже.
- Встречным образом Жилец Семенов обязуется:
4. Перестать убивать Жильцов Тараканов.
  5. Не стирать со стола, а стряхивать на пол сухой тряпочкой.
  6. По выходным и в дни государственных праздников не выносить помойное ведро, а вытряхивать на пол.

Подписи:

За Семенова – Семенов

За тараканов – Фома Обойный».

Степан Игнатьич писал все в двух экземплярах – писал ночами, на шкафу, при неверном свете луны, и мы притаскивали ему последние крошки, чтобы у лапок Степана Игнатьича хватило сил.

На обсуждение вопроса о том, кто передаст письмо Семенову, многие не пришли, сославшись на головную боль. Кузьма Востроногий передал через соседей отдельно, что отказывается участвовать в мероприятии, потому что Семенов может его неправильно понять. Решено было тянуть жребий из пришедших, и бумажку с крестиком вытащил Альберт.

Мудрый Степан Игнатьич сказал, что это справедливо, потому что у Альберта в щели все равно теща.

Мы сделали Альберту белый флажок и под утро оставили его вместе с письмом дожидаться прихода Семенова.

Описывать дальнейшее меня заставляет только долг летописца.

Едва Альберт, размахивая флажком, двинулся навстречу узурпатору, тот подскочил, издал леденящий душу вопль, взвыл, рванулся к столу и оставил от Альберта мокрое место. Сделав это, Семенов соскреб все, что осталось от нашего парламентаря, текстом Договора и выбросил обоих в мусорное ведро. Потом он обвел кухню дикими глазами и шагнул к подоконнику, на котором стояла штуковина с ядовитой струей внутри.

Мы бежали, бежали...

Четвертые сутки сижу я глубоко в щели и вспоминаю свою жизнь, ибо ничего больше мне не остается.

Родился я давно. Мать моя была скромной трудолюбивой тараканихой, и хотя ни она, ни я не помним моего отца, он несомненно был тараканом скромным и трудолюбивым.

С детства приученный к добыванию крошек, я рано познал голод и холод, изведаль и темноту щелей, и опасность долгих перебежек через кухню, и головокружительные переходы по трубам и карнизу. Я полюбил этот мир, где наградой за лишения дня было мусорное, сияющее в ночи ведро – и любовь. О, любви было много, и в этом, подобно моему неизвестному отцу, я был столь же скромен, сколь трудолюбив. Покойница Нюра могла бы подтвердить это, знай она хоть пятую долю всего.

Я выучился грамоте; прилежно изучал историю; красоты поэзии открылись мне. И сейчас, сидя один в щели, я поддерживаю свой дух строками незабвенного Хитина Плинтусного:

Что остается, когда ничего не осталось?

Капля надежды – и капля воды из-под крана...

Так и я не теряю надежды, что любознательный потомок, шаря по щелям, наткнется на этот манускрипт и прочтет правдивейший рассказ о жестокой судьбе нашей, и вспомнит с благодарностью скромного Фому Обойного, которому, несмотря на скромность, невыносимо хочется есть.

Надо все-таки пройтись вдоль плинтуса – авось чего-нибудь...

На этом месте рукопись обрывается, и, предвидя многочисленные вопросы, я считаю необходимым кое-что объяснить.

Манускрипт, состоящий из нескольких клочков старых обоев, мелко исписанных с обратной стороны непонятными значками, был обнаружен мною во время ремонта новой квартиры. Заинтересовавшись находкой, я в тот же день прекратил ремонт и сел за расшифровку.

Почерк был чрезвычайно неразборчив и, повторяю, мелок, а тараканий язык – чудовищно сложен; работа первооткрывателя египетских иероглифов показалась бы детской шарадой рядом с этой, но я победил, распутав все неясности, кроме одной: автор манускрипта упорно называет моего обменщика Семеновым, хотя тот был Сидоров. Тип, кстати, действительно мерзкий.

Восемь лет продолжался мой труд. Квартира за это время пришла в полное запустение, а сам я полысел, ослеп и, питаясь одними яичницами, вслед за геморроем нажил себе диабет. Жена ушла от меня уже на второй год, а с работы выгнали чуть позже, когда заметили, что я на нее не хожу.

По утрам я бежал в магазин и, если успевал, хватал кефира, сахар, заварку, яиц и батон хлеба. Иногда кефира и яиц не было, потом пропал сахар – тогда я жил впроголодь целые сутки, на чае, а случалось, и на воде из-под крана.

С продуктами стало очень плохо. Вот раньше, бывало... Впрочем, это уже неважно... И потом этот завод. Пока я переводил первую главу, его построили прямо напротив моих окон, и сегодня я уже боюсь открывать форточку. Совершенно нечем дышать. Но перевод закончен, и я ни о чем не жалею.

В редакциях его, правда, не берут, говорят, не удовлетворяет высоким художественным требованиям; я говорю: так таракан же писал! Тем более, говорят – значит, не член Союза.

Впрочем, я не теряю надежды – ничего не пропадает в мире. Кто-нибудь когда-нибудь обязательно наткнется на эту рукопись и узнает, как всё было.

В городе Почесалове достопримечательностей было три: церковь Пресвятой Богородицы девы Марии, камвольно-прядильный комбинат имени Рамона Меркадера и лужа на центральной площади.

История первых двух достопримечательностей более или менее ясна. Церковь, построенная при Алексее Михайловиче, была перестроена при Анне Иоанновне, разграблена при Владимире Ильиче и взорвана при Иосифе Виссарионовиче. После чего, ввиду временной (со времен татаро-монгольского ига) нетрудоспособности почесаловского населения, развалины церкви так и пролежали до Никиты Сергеевича, при котором их наконец приспособили под овощехранилище.

Вторая достопримечательность, камвольно-прядильный комбинат имени Рамона Меркадера, сооружен был после войны и с тех пор бесперебойно выпускал ледорубы на экспорт, соревнуясь за переходящее знамя с кондитерской фабрикой имени Чойбалсана, выпускавшей что-то до такой степени сладкое, что людей, работавших там, за проходную не выпускали вообще.

Что же до третьей достопримечательности, большой, в полтора гектара, лужи посреди города, – разобраться в истории этого вопроса гораздо сложнее: никаких документов относительно времени и обстоятельств ее появления в почесаловских архивах не сохранилось. Да и в областном центре, в городе Глупове, их тоже не нашлось.

Надо заметить, что демократы, в новейшие времена пришедшие к почесаловскому кормилу, неоднократно и с самым загадочным видом кивали на опечатанные комнаты в местном отделении КГБ – но уже давно побиты стекла в КГБ, уже, посрывав печати, энтузиасты гласности повытаскивали из ихних сейфов всё до последнего стакана, а света на тайну почесаловской лужи не пролилось и оттуда.

Вроде как всегда она была; вроде как имманентно присуща этой именно местности. По крайней мере, почетный старожил города Самсон Цырлов, про год рождения которого спорят местные краеведы (сам Самсон Игнатьевич отморозил мозги в Альпах в итальянскую кампанию 1799 года), – так вот, этот самый дедушка утверждает, что ишо в мирное время, до итальянской, то есть, кампании, лужа была. Еще указ вроде читали царицы Екатерины Алексеевны: осушить ту лужу, не позорить ее перед Волтером! – и даже прислали из столицы на сей предмет капитан-исправника, и песка свезли на подводах со всей России, но тут пронесся по Почесалову слух, что в Петербург, проездом от ливонцев к китайцам, нагрязнул маг, превращающий различные субстанции в золото и съестное, – и песка не стало.

Причем, вроде даже и не воровал никто, а просто: вышел утром капитан-исправник на площадь – стоят подводы, нагнулся сапог подтянуть, подтянул, голову поднял – ни подвод, ни песку; опять голову нагнул – сапог нету.

Впечатление было столь сильным, что капитан-исправник, до того не бравший в рот, немедленно напился влѣжку, а потом, опохмелившись, пошел все это искать. Но мужики, глядя честными глазами, разводили честными руками – и умер капитан-исправник здесь же, в Почесалове, в опале и белой горячке, под плеск разливающейся лужи, в царствование уже Павла Петровича.

При Павле Петровиче жизнь почесаловцев быстро упорядочилась: первым делом прислал он с фельдъегерем приказ устроить на центральной площади плац и от заутрени до обеда

ходить по оному на прусский манер, под флейту.

Эта весть повергла почесаловцев в уныние, и ближе к полудню они начали стекаться к площади. На месте будущего плаца, широко разлившись, плескалась лужа.

– М-да... – сказал один почесаловец, почесавшись. – Да еще под флейту...

– А при Катьке-то – поменьше была, – заметил другой насчет лужи.

Постояли они, поплевали в нее, да и разошлись по домам. Согревала их такая чисто почесаловская надежда, что начальственное распоряжение, по местному обычаю, рассосется само собой. Однако же само собой не рассосалось, и через неделю весенний ветерок пронес по городу слово «гауптвахта». Что означало сие, толком никто сказать не мог, но звучало слово так нехорошо и не по-местному, что население, взяв ведра, пошло на всякий случай лужу вычерпывать.

Встав в цепочку, почесаловцы принялись за работу, в чем сильно преуспели – по подсчетам местного дьяка, ведер ими было перетаскано до восьми сотен с лишком, однако лужи все не убывало. Ближе к вечеру почесаловцы сели перекурить, а один шевбутной некурящий интереса ради пошел вдоль цепочки, по которой передавали ведра, и обнаружил, что кончается она аккурат у другого конца лужи. Когда он сообщил об этом курящим, его начали бить, а прибив, разошлись по-тихому, с богом, по домам.

В столицу же было послано с курьером донесение о наводнении, затопившем свежестроенный плац вместе с ходившими по оному, на прусский манер, селянами.

Однако же прочесть этого Павлу Петровичу не довелось, потому что по дороге в Санкт-Петербург курьер заблудился и нашел столицу не сразу, а только спустя три года, ранней весной 1801-го. Опоздал курьер самый чуток. Гусар Зубов взял его за грудки, приподнял над паркетом, рассмотрел и спросил:

– Че надо?

– Донесение к императору, – просипел курьер.

– Пиздец твоему императору, – доверительно сообщил ему гусар Зубов, и курьер с чувством исполненного долга побрел обратно в Почесалов.

При новом государе вопрос о луже временно потерял актуальность: государь воевал, и ему было ни до чего. А самим почесаловцам – не то чтобы совсем не мешала, а так... привыкли. К тому же рельеф дна оказался совсем простой; даже малые дети знали: здесь по щиколотку, тут по колено, там вообще дна нет. Ну, и гуляли себе на здоровье. А вот французы, идучи через Почесалов на Москву, потеряли эскадрон кирасир, до того без потерь прошедший Аустерлиц. Только булькнуло сзади.

Позже, когда здешние сперанские затеяли осушить наконец лужу и соорудить на ее месте нечто по примеру Елисейских полей, местные патриоты вышли к луже с хоругвями и песнопением – и отстояли святое для всех россиян место. Ни черта у сперанских не вышло: Елисейские поля так и остались в Париже, а лужа – в Почесалове.

А уж потом пошло-поехало. Сперанские подались в декабристы, проснулся Герцен – и почесаловцы, поочередно молясь, читая по слогам «Капитал» и взрывая должностных лиц бомбами-самоделками, даже думать забыли о луже. Только регулярно плевали в нее, проходя то в церковь, то на маевку.

Лишь изредка какой-нибудь нетрезвый гражданин, зайдя по грудь там, где безнаказанно бегал ребенком, начинал кричать в ночи леденящим душу голосом. Эти звуки отрывали его земляков от «Капитала» и борща с гусятиной; они внимательно прислушивались к затихающему в ночи крику и философски замечали:

– Вона как.

И кто-нибудь обязательно добавлял насчет лужи:

– А при Николае Палыче – меньше была... Наконец, изведя администрацию терактами, почесаловцы дожили до того светлого дня, когда на край лужи с жутким тарахтением въехала бронемашина и какой-то человечек в кожанке, никому здесь не знакомый, взобравшись на броню и пальнув из маузера в Большую Медведицу, объявил о начале с сей же минуты новой жизни, а с 23 часов – комендантского часа. В связи с чем предложил всем трудоспособным в возрасте от 15 до 75 лет явиться завтра в шесть утра для засыпки позорной лужи и построения на ее месте мемориала Сен-Жюсту.

– А это что за хрен такой? – поинтересовался из толпы один недоверчивый почесаловец и был человечком немедленно пристрелен из маузера. Тут почесаловцы поняли сразу две вещи: первое – что Сен-Жюст никакой не хрен, а второе – что шутки с человечком плохи. Поэтому той же ночью его потихоньку отловили, связали и утопили в луже вместе с маузером и броневином.

Тут началось такое, чего почесаловцы не видали отродясь. Белые и красные принялись по очереди отбивать друг у дружки город и, войдя в него, методично уничтожать население, по мере силы-возможности топившее и тех, и других. Причем с каждый разом процедура утопления становилась все более мучительной, потому что каждый раз перед вынужденным уходом из города и белые, и красные назло врагу, поэскадронно, совместно с лошадьми, в лужу мочились.

Вышло так, что последними из города ушли белые, поэтому историческая ответственность за запах осталась на них, о чем до последнего времени в Почесалове знал каждый пионер. Уже в 89-м побывал здесь напоследок один член политбюро. Два дня морщился, а потом не выдержал, спросил: да что же это у вас, товарищи, запах такой? А ему в ответ хором: да белые в девятнадцатом насали, Кузьма Егорыч! А-а, сказал, ну это другое дело...

Но это все было позже, а тогда понаехало товарищей во френчах – и поставили они возле лужи памятник первому утопленнику за дело рабочих и крестьян, и решили в его честь построить в Почесалове канал – от лужи до Северного Ледовитого океана.

Почесаловцы хотели было спросить: зачем им канал до океана? – но вовремя вспомнили про Сен-Жюста и ничего спрашивать не стали. А утопить всех товарищей во френчах не представилось возможным вот почему: те первым делом провели по земле черту, объявили ее генеральной линией и сообщили почесаловцам, что шаг вправо, шаг влево – считается побег.

Канал почесаловцы строили тридцать лет и три года. А когда почти уж прорыли его, оказалось: проектировал канал уклонист и направление, скотина, дал неверное, и все это время копали не на север, а на восток, к совсем другому океану.

– А вы о чем думали? – сурово спросило у почесаловцев начальство.

– А вот мы и думали: чего это солнце на севере встает? – ответили почесаловцы.

Так что бросили канал копать и начали его закапывать, причем для пущей государственности закопали туда и строителей. Закопали, послали телеграмму товарищу Сталину и сели на берегу лужи орден ждать. Но вместо ордена пришло им из Москвы сообщение, что они вместе со всем советским народом наконец-то осиротели и можно немного расслабиться.

Вскоре в Почесалов приехал из района новый руководитель и сказал: теперь, когда мы этого усатого бандита похоронили, буквально никто не мешает нам эту поганую лужу закопать. А то, сказал, ее уже из космоса видно. Давайте, говорит, навалимся на эту гадость всем миром! Услышав знакомые нотки, почесаловцы тревожно на говорящего посмотрели, но ни маузера, ни кожанки не увидели: шляпа да пиджак на косоворотку. Незнакомых слов человек не произносил, и собою был прост до крайней степени, будто и не начальник он им,

а так, дядя по кузькиной матери.

Детишек с собою на трибуну взял: видите, сказал, этих мальцов? Если не потонут в вашей вонючей луже, то будут жить при коммунизме.

– Не может быть! – не поверили почесаловцы.

– Сукой буду! – ответил начальник. В «Чайку» сел, шофер на газ нажал – волной квартал смыло.

А почесаловцы так обрадовались нарисованной перспективе, что тут же выпили и пошли писать транспарант «Здравствуй, коммунизм!» – чем и пробавлялись до осени. Осенью лужу заштормило, и аккурат к ноябрьским пришла из Москвы телеграмма: доложить об осушении ко дню Конституции.

Встревоженные такой злопамятностью, почесаловцы навели справки, и по справкам оказалось: новый руководитель хоть с виду прост, а в гневе страшен, и уже не одну трибуну башмаком расколошматил. Струхнули тогда почесаловцы да и обсадили лужу по периметру, от греха подальше, кукурузой, чтоб с какой стороны не зайти – все царица полей! А чтобы из космоса ее было не видать, послали трех совхозных умельцев на Байконур. Те вынули из ракеты какую-то штуковину, и из космоса вообще ни хрена видно не стало!

А умельцы, вернувшись с Байконура, месяцев еще пять пропивали какой-то рычажок. Иногда, особенно крепко взяв на грудь, они выходили покурить к луже и, поплеывая в нее, мрачно примечали:

– При Сталине-то – поменьше была...

А вскоре обнаружилось: этот новый руководитель был не руководитель, а позор какой-то! Фантазер он был, перегибщик и волюнтарист, из-за него-то как раз ничего и не получалось! А уж как коллективное руководство началось – тут и дураку стало ясно, что луже конец. Да и куда ж ей стало деться – целый насос в Почесалов привезли, у немцев-реваншистов на нефтепровод и трех диссидентов выменянный! Валютная штука!

Привезли тот насос на берег лужи, оркестр туш сыграл, начальник красную ленточку перерезал, пионеры горшочек с кактусом ему подарили, начальник шляпу снял, брови расправил, рукой махнул: давай, мол! – да и высморкался. А высморкался, смотрит: насоса нет.

И все, кто там стояли, то же самое видят. Нет насоса! Оркестр есть, транспарант есть, пионеров вообще девать некуда, а валютная штука – как во сне привиделась...

Искали ее потом по всей области с собаками, посадили под это дело двух баптистов, трех юристов и четырех сионистов; прокурор орден Ленина получил. А лужа так и пролежала, воняя, посреди города – до самой перестройки. И надоела почесаловцам до такой степени – просто невозможно сказать!

Поэтому нет ничего удивительного в том, что с первыми лучами гласности почесаловское общество пробудилось, встрепелось – и понесло местное начальство по таким кочкам, что отбило у того всякую охоту к сидению. Начальство стало ездить, встречаться с народом и искать возле лужи консенсусы. А народ, как почувствовал, что наверху слабину дали, так словно с цепи сорвался – вынь ему да положи к завтраму, блядь, чего со времен Ивана Калиты недодано!

Сначала, на пробу, в газетах, а потом раздухарились, начали начальство в лужу живьем окунать и по местному телевидению это показывать. А уж райком почесаловский, собственными языками вылизанный, измазали всем, что только под руку попало... А под руку в Почесалове отродясь ничего приличного не попадало, город с незапамятных времен по колено в дерьме лежал.

Памятник утопленнику за дело рабочих и крестьян снесли, а на цоколь начали забираться все кому не лень и речи говорить. А на третий день один такое сказал, столько счастья всем

посулил, что его сразу выбрали городским головой. У некоторой части почесаловцев само название должности вызвало обиду: выходило, что они тоже какая-нибудь часть тела... Но их уговорили.

А уж как выбрали голову, сразу свободы произошло – ешь не хочу! Народ в Почесалове отродясь толком не работал, а тут и на службу приходить перестали: по целым дням ходят вокруг лужи с плакатом «Хочим жить лучше!» – да коммунистов, если под руку попадутся, топят. А рядом кришнаиты танцуют, кооператоры желающих на водных лыжах по луже катают, книжки по тайваньскому сексу продают. Да что секс! Социал-демократическое движение в Почесалове образовалось, господами друг дружку называть начали. «Господа, – говорят, бывало, после хорошенького брифинга, – кто облевал сортир? Нельзя же, господа! Есть же лужа...»

Кстати, насчет лужи новым руководством было сказано прямо: луже в обновленном Почесалове места нет! И открыли наконец общественности глаза: оказывается, это совсем не белые во всем виноваты, а красные! Это они в девятнадцатом в лужу нассали.

И скоро появилось на берегах лужи совместное предприятие по осушению, почесаловско-нидерландское, «Авгий лимитед», и уже через два месяца дало результаты. Генеральный директор с почесаловской стороны выступил по телеку и сказал: предприятие заработало свои первые десять миллионов и приступает к реализации проекта.

«Сколько?» – не поверил ушам ведущий. «Десять миллионов», – скромно повторил генеральный директор и при выходе из студии был схвачен в сумерках полномочными представителями почесаловского народа – и сей же час утоплен.

В общем, он еще легко отделался, потому что остальных всех посадили, а которых не успели посадить, те из Почесалова уехали и до конца жизни мучались без родины, которую без мата вспоминать не могли.

А почесаловцы, утопив мерзавца, заработавшего десять миллионов, обмыли это дело и зажили в полном равенстве.

А поскольку работать было им запаadlo, а совсем без дела сидеть тоскливо, то увлеклись они борьбой исполнительной и законодательной властей. Два года напролет по ночам в ящик смотрели, но на второй год уже в противогазах, потому что запах от лужи сделался совсем невыносимым...

А потом в магазинах кончилась еда. Этому почесаловцы удивились так сильно, что перестали ходить на митинги и смотреть в ящик, а к зиме впали в спячку.

Пока они спали, им пришла из других городов продовольственная помощь, и ее съели при разгрузке рабочие железнодорожной станции.

Почесаловцы спали.

Это может показаться странным – ведь не медведи же, прости господи! Но это, во-первых, как посмотреть, а во-вторых: за столько веков борьбы со стихийным бедствием этим, с лужей, столько было истрачено сил, столько похерено народной смекалки, которой славны меж других народов почесаловцы, что даже удивительно, как же это они раньше не заснули!

Чернели окна, белел под луной снег.

Иногда только от воя окрестных волков просыпался какой-нибудь особо чуткий гражданин, выходил на берег зловонной незамерзающей, подступившей уже к самым домам лужи, и, мочась в нее, бормотал, поживаясь:

– А при коммунистах-то – поменьше была...



# Трын-трава

Максиму Солнцеву

На самом деле все должно было быть не так.

Если бы этот придурок не попросил карту на шестнадцать очках, девятка пришла бы к моим двенадцати, дилер бы сгорел, и всем было бы лучше – и мне, и придурку, а дилеру все равно, потому что деньги не свои.

И я бы ушел из-за стола, и на улице встретил небесной красоты создание, и на весь выигрыш купил бы цветов, и черт знает чем занимался бы с небесным созданием всю ночь – вместо того, чтобы сидеть в «обезьяннике» после того, как, выйдя из казино, послал в даль светлую милиционера, приставшего с проверкой документов.

Короче, вечерок не сложился.

И все-таки, вспоминая ту девятку, приятно думать, что все могло быть совсем по-другому...

Царь Петр Алексеевич третий месяц жил под чужим именем в Амстердаме, изучая точные науки, фортификацию и корабельное ремесло. Не забавы ради он мозолил руки на верфях Ост-индской компании – была у него дальняя мысль по возвращении на родину поставить на уши златоглавую, выписать клизму дворянству, дать пендаля боярам – и, начавши с осушения чухонских болот, сделать Расею мореходной державой с имперскими прибабасами. Чтобы боялись и на много веков вперед вздрагивали при имени.

Крови, знал государь, будет залейся, но как раз крови он не страшился. Привык с малолетства, что без юшки на родине обеда не бывает, а если гульба без смертоубийства, то вроде и вспомнить нечего. А тут целая империя.

Короче, были у Петра Алексеевича большие планы на жизнь. Но однажды... – впрочем, будем точны. Не однажды, а именно вечером пятого октября 1697 года, возвращаясь в посольство, государь проскочил нужный поворот – и еще минут пять, грезя о державе, мерил сапожищами амстердамские каналы, пока не очнулся в совершенно незнакомом месте.

Желая узнать, где он и как пройти до дому, царь заглянул в ближайший кабак – и остановился, пораженный незнакомым запахом, висевшим в помещении. Сладковатый запах этот шел от полудюжины самокруток, тлевших в узловатых моряцких пальцах.

Будучи человеком любознательным, царь прямо шагнул к народу и на плохом немецком попросил дать ему курнуть. Ему дали курнуть, и государь, выпучив глаза еще более, чем это организовала ему природа, в несколько затяжек вытянул весь косяк. Хозяин косяка попробовал было протестовать и даже схватил царя за рукав, но получил по белесой башке русским кулаком и, осев под стол, более в вечеринке не участвовал.

Царь докурил, под одобрительный гул матросни выгреб из карманов горсть монет и потребовал продолжения сеанса – ибо зело хорошо просветило ему голову от того косяка.

А именно: увидел царь город на болотах, мосты над рекой, львов у чугунных цепей, и дворец, и фейерверк над дворцом. Потом по широкой воде поплыли корабли, и уже на середине косяка выяснилось, что плывут те корабли не на чухонских просторах, а в каких-то субтропиках.

К концу первой закрутки вторично взяли Азов. Турки бежали, растворясь в районе кабацкого гальяна. Матросы с уважением прислушивались к ошметкам басурманской речи; иноземных галлюцинаций они не понимали, но масштаб разумели.

Когда, круша инвентарь, царь принялся собственноручно мочить Карла Двенадцатого, хозяин кабака попросил очистить помещение. Не рискуя тревожить детину, просьбу свою он обратил к соотечественникам. Матросы взяли детину под руки и осторожно, чтобы не помешать течению процесса, вывели на воздух. Шедший в беспамятстве бормотал, дергал щекой и вращал глазными яблоками в разные стороны – и один из матросов заметил другому по-голландски, что этот человек напоминает ему божью грозу.

Матрос тоже был хорош.

Так и не выведав у божией грозы адреса, по которому ее можно сдать соотечественникам, гуляки прислонили потерпевшего к парапету и пошли восвояси. Через минуту их путь в темноте пересекла группа иноземцев; иноземцы вертели головами и нервно переговаривались.

Они кого-то искали.

...Обрыскав с посольскими ребятами амстердамские полукружья, Алексашка Меньшиков

царя нашел – тот спал прямо на набережной и был не то чтобы пьян (уж пьяного-то царя Меньшиков видал во всевозможных кондициях), а – нехорош.

Верный мин херц хотел устроить столяру Петру Михайлову выходной – и наутро не велел посольским будить государя, но государь проснулся сам и, посидев немного в размышлении, на работу пошел.

Работал он, однако, без огонька, не зубоскалил, товарищей не подначивал, в рожу кулачищами не лез – словом, был сам не свой. По колокольному сигналу воткнув топор в недотесанное бревно, Петр Алексеевич, отводя глаза, сообщил, что в посольство не пойдет, а пойдет к анатому Рюйшу – посмотреть, как в Европе режут мертвых.

Ни к какому Рюйшу он, разумеется, не пошел, а направился совсем в другую сторону. Встревоженный Алексашка тенью следовал за государем.

Пересекши три канала, царь остановился в сомнении, подергал щекой; повернул за угол; потом вернулся. Подкравшись к государю поближе, Алексашка всмотрелся и похолодел: царь принюхивался! Глаза его были прикрыты, ноздри ходили, как у собаки. Наконец Петр Алексеевич дернул щекой, зрачки блеснули в слабом свете газового рожка – и, нагнувшись, он вошел в какую-то дверь.

Меньшиков переждал на холодке с десяток минут и, перекрестившись, вошел следом.

Гомон оглушил его. Царя Алексашка увидел сразу: сидя среди какого-то сброда, тот курил, но не трубку, крепкий запах которой давно выучило царское посольство, а козью ножку. Сладковатый дым стелился под потолком. Царские глаза, блуждая, дошли до Алексашки.

Врасплох Меньшикова было не застать: он заранее изобразил лицом удивление, и даже руки раскинул: мол, надо же, какая встреча! Но вся сия театра осталась неоцененной: царь за Алексашку даже глазами не зацепился, и второй раз за вечер мин херца пробрало крупными мурашками по спине.

Кошачьим шагом подобрался он к лавке, с пардоном раздвинул сидевших, окликнул государя по имени-отчеству. На имя свое царь отозвался расслабленной улыбкой – и остановил таки взгляд.

– Это я, Алексашка Меньшиков, – сказал вошедший правду чуть ли не первый раз в жизни.

– Вижу, – сказал Петр. Мин херц обрадовался.

– А ты – видишь? – спросил государь, уходя взглядом мин херцу за плечо.

– Что? – озираясь, спросил Алексашка. Государь усмехнулся и наметанным движением – всякое ремесло схватывал он быстро – скрутил косячок. Поднеся к лицу огарок, Петр Алексеич косячок раскурил и рывком протянул его Меньшикову.

– На!

Через пару минут Алексашка тоже видел. Видел ларцы с золотом и камнями различной немерянной ценности, холеных лакеев в шитье, жратву на столах и сочных баб на полатах, и все это имел он задаром как царский фаворит, пока косяк не выгорел.

– Ох ты! – только и сказал Меньшиков, придя в себя.

– То-то и оно, – ответил государь, только что, не сходя с места, переказнивший пол-страны.

Более на верфях Ост-индской компании столяра Петра Михайлова не видели. Никто из посольских ни на какую верфь наутро тоже не пошел, и в другие ремесла также: в приказном порядке все были сведены в кабак. Царь лично раскуривал косяки и вставлял их в окаянные рты.

Посольский дьяк дьявольскую траву курить отказался, чем привел государя в ярость неопишную, был связан и тут же, принародно, подвергнут излишествам. Четыре горящих косяка было вставлено в щербатый рот; бывший столяр лично зажимал дьяку нос пальцами, тренированными на гнутии пятак. Вынужденный вдохнуть в себя содержимое косяка, дьяк вскоре увидел деу Марию и волхвов, причем лежащий в яслях был уже с бородой и тоже покуривал.

С оных пор ничего, кроме травки, дьяк уже не хотел – а царь, будучи человеком систематическим, приступил к опросу испытуемых.

Содержание видений оказалось столь многообразным и поучительным, что царь велел записывать их дословно. В бумагах, частично истлевших, частично тлеющих донныне (Zwollemuseum, 117 единиц хранения), то рукой неизвестной, то рукой самого государя документально зафиксированы виденные в ту осень летающие рыбы, человекогуси в латах, одноглазые пришлецы из космоса и мир во всем мире.

Через месяц дорога от посольства в кабак была разучена россиянами, как «Отче наш». Обратный путь, правда, оказался не в пример длиннее. Так, боярский сын Долгоруков, будучи водорослью, лег в канал и утонул, чем привел государя в задумчивость. Результатом оной задумчивости стал собственноручный государев рескрипт относительно доз и порядка употребления зелья.

Настроено велено было не мешать курево с водкой, потреблять зелье коллективно и по выходе с сеанса связываться веревками, дабы пропажа отдельного человека невозможна была есть. Рескрипт был написан на обороте первых попавшихся под руку государю фортификационных чертежей.

Прочие бумаги и проекты лежали на столах нетронутыми с того дня, как государь заблудился по дороге с верфей Ост-индской компании.

Царский рескрипт был прочитан вслух. Затем собравшиеся помянули боярского сына Долгорукова, выпили за Родину – и под утро гурьбой повалили в зельный кабак.

Пока посольские во главе с Алексашкой практиковались до невозможного, государь погрузился в дальнейшее изучение вопроса. Он допытывал моряков, лично ходил смотреть выгрузку такелажей и торговался на пробу. Вскоре стало ему достоверно известно, что чудная трава сия, при горении дающая легкость и сбывание невиданного, растет в Индии и называется маригуана, что дорожает она после пассатов, когда в те края не доплыть, а в иное время в амстердамском порту, как стемнеет, сбывают ее бесперебойно, а если оптом, то и за бесценок.

Узнал он и немедля проверил на себе, что не токмо трава, а и некоторые грибы приносят знающему забвение от тревог и отрыв от имперской проблематики – и не токмо при курении, а и при натирании в пищу и добавлении в питье.

Государь взялся за дело крепко, как брался он за все, до чего доходили руки. Отложена была тысяча рублей на еду, веселье и транспортные расходы, а на остальные мин херц с ребятами, торгуясь, как цыгане, за неделю взяли в порту до сорока пудов грибов и семьдесят с малым мешков волшебной травы.

Деньги кончились раньше азарта, и пару мешков светлейший князь Меншиков просто прихватил, по-тихому, напоследок, с собою – отчасти по невозможности удержаться, отчасти в воспитательных целях, дабы продавец греблом не щелкал, а наших знал.

Спустя пару дней посольство отбыло из Амстердама, но не в Лондон (даром он уже никому не был нужен, этот Лондон), а напрямик домой. Боярские и дворянские дети, с радостью забившие на фортификацию, точные науки и парусное ремесло, лично грузили в телеги драгоценную поклажу.

На голландщине оставлены были наивернейшие торговые люди с царскими письменными инструкциями.

Родина, как положено, встретила государя заговором – и некоторое время, вместо мирного употребления флоры, государю пришлось рубить головы госслужащим. Но все это уже как бы напоследок: к началу 1699 года дошли у Петра руки до европейских новаций, от которых зело много счастья отечеству приключилось, – ибо вместо походов во все края географии и пожизненного пьянства вперемешку с отрезанием бород государь сосредоточился на сельском хозяйстве.

Но не введением картошки озаботился Петр Алексеевич (сей корнеплод и поныне мало известен россиянам), а пропагандою индийской травы во всех видах.

Поначалу дворянство и боярство курило и нюхало с опаской, но втянулись. Не все, конечно, и не сразу – некоторых приходилось увещевать не на шутку: и ретроградские сусала царь кулаками охаживал самолично, и в нововведенные ассамблеи, бывало, доставляли людей под конвоем. В ассамблеи эти обязаны были являться теперь все уцелевшие от стрелецких казней – и цвет нации, под отеческим присмотром государя, ел и курил индийскую травку, с грибками и без, толченую и горящую, иногда по неделям безвыходно. Да и куда выйдешь в запертые ворота?

Уходить с ассамблей дозволялось только по слову государеву, но у того к началу восемнадцатого века наступили такие мессианские видения, что нарушать их реальностью не дозволялось никому. Пока государь не возвращался из нетей, остальные в сознание тоже не приходили.

Гвардейцы с сундуками зелья обходили столы – и горе было тому, кто пытался воздержаться. Специальные люди следили за ересью, и с воздержантами поступалось по примеру амстердамского дьяка.

Стоявшие на ногах за людей не считались. Шли годы, образуя десятилетия. Москва пропахла дурью насквозь, Петербурга же никакого, как вы понимаете, не было.

Население, сэкономленное на строительстве северной Пальмиры, было брошено на юга, где в бескрайних степях прижилась заветная маригуана не хуже Индии. Да и родная конопля, хотя отдавала немного маслом, настроение улучшала все равно, причем копейки не стоила.

Государь железной рукой вел страну к забвению бед и остаток дней своих положил на составление всяческих рецептов и плепорций. Последняя – «об употреблении поганки бледной толченой отнюдь не чересчур» – была продиктована им уже на смертном одре.

По смерти государя начались, как положено, раздрай и групповщина, но далеко дело не зашло, потому что светлейший князь вовремя роздал раздрайщикам неприкосновенный запас самолучшей травки (еще голландского развеса) – и через пару часов все претенденты на престол себя на этом престоле увидели и утикли. Жизнь пошла своим чередом, и где находится Берёзов, Меншиков так и не узнал.

Вскоре благодарное Отечество воздвигло в Москве памятник покойному государю. Обошлись без иноземцев, сваяли сами: государь безо всякого коня, своими ногами, стоит на змее; во рту косяк, пальцы расставлены буквой V.

Тем временем в Нидерландах история не стояла на месте. Бумаги, оставленные на столах приезжим царем, по безмерной аккуратности амстердамского бургомистра, были снесены в архив и преданы изучению.

Посреди чертежей, интереса не представлявших, найдены были обширные записи на русском. Переводчика нашли не сразу, но орднунг есть орднунг – и через год к каждому царскому листку имелся немецкий текст. Толком прочли этот текст только через одиннадцать

лет, при передаче городского архива новой канцелярии.

Русский государь излагал план государственного строительства. Писал он о необходимости морского господства, о расширении державы и благодати сильной руки во главе оной; о пользе наук и военной дисциплины; о поколениях, которые лягут в топи строек и падут под всевозможными бастионами; о казнях во благо Отечества – и об элизиуме, который ждет уцелевших.

Новый бургомистр был крепкий хозяйственник, элизиумами не интересовался, но забавные казусы любил – и в виде анекдота, в застолье, стал пересказывать скифские фантазии. Многие смеялись, некоторые просили списать слова. Русский трактат быстро стал модным чтением, и наконец слухи о нем достигли ушей молодого штаттгальтера Голландии, как раз искавшего область применения своих несусветных сил.

Заинтригованный пересказом, принц затребовал первоисточник.

Текст взволновал его очень сильно. В бумагах, забытых при отъезде русским гостем, было нечто, на что хотелось потратить жизнь, причем не только свою. Об амстердамской находке была послана в Москву депеша с выражением восторга и восхищения силой государственной мысли брата Петра. По получении депеша была раскурена на ближайшей ассамблее, а впечатлительный принц, казнив для начала половину магистрата, приступил к строительству элизиума во всем мире, начиная с одних, отдельно взятых Нидерландов.

...Прекрасна Россия, маленькая задумчивая страна. Гостеприимная тихая конфедерация с трилистником на знамени издревле манит иностранцев покоем и свободой.

Завоеватели, время от времени заходившие сюда с разных сторон, безо всякого сопротивления отковыривали от матушки куски пространства, но приспособить население к оккупации так и не смогли: мало кто из местных оккупацию замечал, и завоеватели в сильном недоумении останавливались.

Большинству из них пришелся по вкусу здешний старинный обычай не отвлекаться на преобразование мира, а сворачивать косячки и пребывать в нетях, расположила к себе предсказуемая и вполне постижимая славянская душа, понравились здешние налоги; глянулись красавицы, в глазах и ленивых телах которых ждала своего часа гремучая евразийская смесь.

Под мелодичный звон курантов круглосуточно идет здесь жизнь половая и торговая, и красные фонари мерцающим пунктиром освещают вечерние переулки за роскошным храмом, построенным в честь взятия одним здешним древним варваром какой-то Казани. И зачем была ему Казань, многоженцу?

На цветочных развалах за копейки можно купить все, что растет из земли – левкой, гиацинты, розы, глицинии. И, конечно, здешние тюльпаны – гордость москвитов. Народ тут богопочтительный без исступления; церковь ведет себя скромно, ибо еще тот, петровский, принародно прищемленный царскими перстами дьяк заповедал братии не соваться в государственные дела ни при каких обстоятельствах.

Тихая, счастливая провинция Европы, Россия не лезет в геополитику, довольствуясь сельским хозяйством и туризмом. Писателей своих нет, до космоса руки не дошли, да никому и не надо; из больших достижений – только тотальный футбол.

Традиционное уважение россиян к родине своего счастья, Амстердаму, делает необременительной гуманитарную помощь в регионы недавно распавшейся Голландской империи. В результате четырехвекового строительства элизиума там образовалась черная дыра, в которую сколько денег ни вбухай, все впустую. Ни дорог, ни законов – только ржавый ядерный боезапас, мессианская гордость и повальное пьянство с горя.

Россияне не понимают, как можно довести до такого свою страну.

...Если бы тот придурок не попросил карту на шестнадцать очках, все бы кончилось совсем иначе. Но он попросил карту – и вот я сижу в «обезьяннике», без бабок и с фингалом на роже.

Тоже, конечно, вариант. Грех жаловаться. Могло быть хуже.

...Вечером пятого октября 1697 года, в мечтах о будущей империи, государь проскочил поворот на посольство, но спохватился шагов через пятнадцать. Рассмеявшись, он втянул в себя гниловатый воздух канала с еле слышным сладковатым привкусом незнакомого происхождения, развернулся на ать-два, отмерил сапожищами обратный отрезок – и уже через полчаса был в посольстве.

Ночь застала Петра над баллистическими чертежами. Поняв наконец, что траекторий полета ядер голова более не принимает, он отодвинул чертежи – и, легши в постель, немедленно провалился в свой странный привычный сон. Город в чухонских топях, построенный назло шведу, странная птица о двух головах и казни во благо Отечества всю ночь мерещились государю.

Ужо ему.